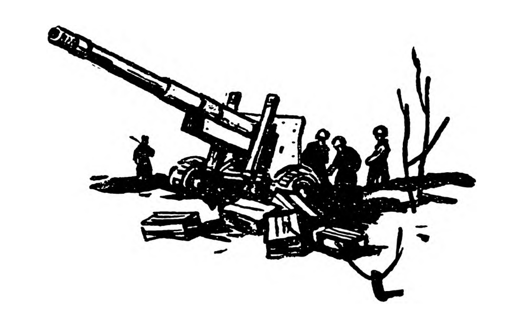
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Военные рассказы и очерки



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА—1960

В сборник Всеволода Иванова «Военные рассказы и очерки» входят произведения о гражданской войне и Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Здесь и ставшая классической повесть «Бронепоезд 14-69», и печатавшиеся в газетах по горячим следам событий, но до сих пор волнующие очерки 1941—1945 гг. («Мое отечество», «Сердце страны», «Час расплаты», «На Курской дуге» и др.), и рассказы о беззаветном мужестве и стойкости советских патриотов («К своим», «Быль о сержанте» и др.), и произведения о далеком прошлом («При Бородине», «Близ старой Смоленской дороги»), в которых писатель как бы устанавливает преемственность героических традиций русского народа. Военные рассказы и очерки Всеволода Иванова переносят читателя из одной исторический эпохи в другую, неизменно вызывая глубокие раздумья об ответственности каждого гражданина за судьбы Родины, за судьбы всего народа.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Как-то в дружеском разговоре прославленный полководец Михаил Васильевич Фрунзе, высказав молодому тогда писателю несколько замечаний по поводу военной стороны его талантливой повести, предложил:

«— ...Хотите в академию?

— В какую академию?

— В военную.

— Помилуйте, Михаил Васильевич! Я же только сельскую школу окончил.

— Подготовим. Зато каких людей вы там встретите, какой найдете изумительно богатый человеческий материал! И уж, конечно, никаких военных ошибок больше делать не будете. — И он добавил улыбаясь: — А окончите академию, глядишь, и звание генерала!

— Да, комбриг или комдив, а писать-то и некогда!

— Военное дело интереснее, — сказал он смеясь».

Предложение Фрунзе, полушутливое, полусерьезное, однако, не было лишено оснований. Молодого писателя звали Всеволод Иванов. В те годы он уже был автором повестей «Партизаны» и «Бронепоезд 14-69». Одним из первых он запечатлел в молодой советской прозе борьбу народа, защищающего с оружием в руках рожденную им в революционных битвах родную Советскую власть. Его влек к себе мир героических дел и подвигов, мир больших страстей, грозного мужества и безмерной отваги. И сам он был мужествен в собственной жизни и дерзко отважен в творчестве.

Сын провинциального учителя в далеком поселке Лебяжьем (ныне Семипалатинской области), Иванов в юности перепробовал профессии матроса, актера бродячего цирка, землекопа и наборщика. Не только любопытство и склонность к приключениям, но и самая обыкновенная борьба с нуждой вела его по ухабистым дорогам жизни. Был красногвардейцем, участвовал в гражданской войне в Сибири и одновременно сам набрал и издал в 1919 году первую книгу своих рассказов. Еще до этого два его рассказа Горький напечатал во втором «Сборнике пролетарских писателей».

В самом начале 1921 года молодой писатель приехал в Петроград. Здесь, в незабываемой обстановке полуголодного быта тех лет

и молодых горячих споров о новой литературе, при свете керосиновой коптилки рождались «Партизанские повести» — буйно забивший родник героической поэзии, один из самобытных истоков, образовавший в слиянии с другими мощную и величественную, как Волга, реку советской литературы.

«Бронепоезд 14-69», вышедший в свет за год до «Чапаева» Д. Фурманова и за два года до «Железного потока» А. Серафимовича, был удачей (и какой смелой удачей!) молодой советской прозы, создававшей героический эпос гражданской войны. В основу повести лег факт, сообщенный сибирской дивизионной красноармейской газетой. В газете коротко говорилось о том, как отряд сибирских партизан, вооруженных только берданками и винтовками, захватил блиндированный бронепоезд белых вместе с его опытной командой. Воображение, жизненный опыт, дерзость художника позволили Всеволоду Иванову создать произведение обобщающей силы, раскрывающее народный характер революционной борьбы.

Прекрасно уловив ее сущность как борьбы народной, молодой тогда писатель не смог еще с достаточной ясностью показать роль партии в руководстве партизанским движением. Но через пять лет в пьесе того же названия вровень с образом партизанского вожака Никиты Вершинина он вывел столь же впечатляющий образ руководителя большевистского подполья председателя ревкома Ильи Пеклеванова. Пьеса обошла театры всей страны и со сцен многих театров мира донесла до зрителей суровую и великую правду об историческом подвиге народа и его социалистических идеалах. Впоследствии писатель не раз возвращался к тексту повести, и в настоящем сборнике читатель найдет ее в том классически отлившемся виде, в каком она входит в золотой фонд нашей литературы.

Всеволод Иванов не поступил в военную академию, но тема вооруженной борьбы, являющейся самым серьезным испытанием и проверкой нравственных сил и характера народа, тема советского человека — солдата будущего навсегда осталась одной из основных в его творчестве. Он, не утаивая, рассказал все о нелегком пути народа и увековечил потрясающие своей самобытностью и яркостью характеры, выкованные в вооруженной борьбе за будущее.

Человек великого здравого смысла и душевной силы сибирский крестьянин Вершинин; совершивший высший подвиг самопожертвования китаец Син Бин-у; обаятельный в своей непосредственности Васька Окорок; герой повести «Голубые пески», полный отчаянной лихости, красивый, необычайно веселый и неуемный балтийский матрос Василий Запус, сделавший свою жизнь легендой, и многие другие герои повестей и рассказов Всеволода Иванова хранят неповторимые черты представителей поколения, завоевавшего для сегодняшних и будущих поколений их историческое будущее.

Широко известен роман «Пархоменко», в котором художник силою искусства воссоздал личность героя гражданской войны во всем обаянии поэтического сердца и непреклонного характера большевика-рабочего, его человечного юмора и великолепной храбрости.

В настоящий сборник вошла лишь часть того, что написано Всеволодом Ивановым о людях, чья воинская доблесть и душевное благородство познавались писателем в героических делах его современников. Но и это дает нам возможность понять и оценить вклад

художника в искусство, зажечься испытываемым им восторгом познания головокружительного героизма и мужества советских людей.

Среди высказываний Всеволода Иванова о своем творчестве есть одно, которое, на наш взгляд, очень точно раскрывает природу таланта художника, пафос его творчества. Говоря о том, что он много ездил по России и видел людей изумительнейших, писатель поведал о выношенном им убеждении: «Они (эти люди — А. М.) свершили поразительные героические дела в недавнем прошлом, и чувствуется, что не остановятся на этом, что и в дальнейшем будут совершать подвиги изумительнейшие!» «И среди этого великого множества людей, — продолжает писатель, — меня привлекали самые маленькие — не по росту, а по общественному положению. Если уж они охвачены не совсем даже понятной им тягой к героизму, к свершению чего-то большего в моменты, когда даже они не очень понимают самих себя, то что же они способны свершить, когда поймут, осознают, увидят свой рост?»

Такого, как назвал его Горький, маленького, но великого нового русского человека Всеволод Иванов и сделал основным героем своих романтически взволнованных книг. Он писал о нем слогом ярким и буйным, как бы взвихренными вольным ветром словами, прокаленными в огне вдохновения, помогая этому человеку осознать самого себя.

В годы Великой Отечественной войны писатель много и упорно работает, спеша отобразить то новое, что открылось ему в рожденном советским строем и воспитанном партией человеке в новых тягчайших испытаниях самой жестокой в истории войны. Неутомимый путешественник в дни мира, писатель и в дни войны предпринимает ряд поездок на фронт. Результатом их явились статьи, рассказы и очерки, которые составляют основное содержание этой книги. В них светится гордость новым человеком, осознавшим себя и смысл своего подвига, — великим в своих поступках и скромным в оценке их. Когда вы будете читать эту книгу, подивитесь мастерству, с каким писатель делает беглые зарисовки рядовых героев сражения за Орел. И порадуйтесь его радостью, вспоминая железное упорство и беззаветную храбрость рядовых советских людей — защитников Москвы, бойцов нового Бородина, победителей Берлина, упрямо ведущих «линию победы», унаследовавших от предков упоение кипучим пылом битвы и «знойную любовь к переднему краю сражения за отчизну».

Героическая действительность великой войны рисовалась писателю и как некий закономерный итог истории родного народа, его военного пути. Так рождается общий замысел современной повести «На Бородинском поле» и двух исторических рассказов о далеком прошлом — «При Бородине» и «Близ старой Смоленской дороги». В этой своеобразной маленькой трилогии воплощена большая мысль о связи воинской славы предков и потомков. В образах кутузовских солдат Марка и его сына Степана Карьиных и конструктора танков Ивана Карьина и его сына лейтенанта Марка Карьина писатель раскрывает мысль о национальном родстве характера русского воина прошлого и настоящего и об интеллектуальном и нравственном обогащении личности в наши дни.

Проступающие как бы в дымке прошлого силуэты героев Бородинского сражения; написанные смелыми, сочными мазками вольные

и мощные характеры сибирских партизан; очерченные графически четко фигуры бойцов и офицеров эпохи грандиозных битв с немецким фашизмом — все эти разноликие образы как бы сливаются в книге в общий образ народа в его историческом движении по трудному пути вооруженной борьбы за независимость и славу своей родины, за осуществление идеалов человечества.

В книгу включены три очерка, рисующие облик фашистской армии — «Они пишут завещания», «Час расплаты», «Там, где судят убийц». Тупое, звериное лицо врага — гитлеровского фашизма, которому гробом обернулась его попытка покорить советскую силу, — обрисовано в них разгневанно и непримиримо. Разоблачение трусливо-слякотных натур завоевателей и их вдохновителей дает возможность еще глубже понять величие основных героев книги, утверждающих своими боевыми деяниями бессмертие родного народа и неистребимую волю к жизни.

В дни войны Всеволод Иванов с полным правом мог сказать, что его «умение писать пригодилось этим полям, этим нивам, окопам, городам, вокруг которых студенты роют рвы и ставят железобетонные надолбы». И он тоже, как мог и умел, защищал свое отечество. Тот, кто раскроет эту книгу, убедится, что горение души писателя сообщает написанному им жар неостывающего чувства. Когда читаешь повести, рассказы, очерки этого писателя, кажется, пылаешь сам страстью и восторгом, ненавистью и любовью, наливается силой сердце и ширится душа. И как отрадно, что эта книга — всего лишь малая часть созданного художником и не исчерпывается ею читательская радость общения с этим пленительным, своеобычным человеком и талантливым мастером самоцветного русского слова.

А. Макаров

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

РАССКАЗЫ

К СВОИМ

Получив приказ, майор собрал уцелевших бойцов и сказал:

— Выход из окружения осуществить небольшими группами. В пять — шесть человек.

Он помолчал, как бы давая возможность вдуматься в грозное величие слов приказа, а затем добавил:

— Задача наша будет состоять из четырех пунктов: а) дойти до цели, в район Воробьевска, б) в дороге наводить панику на врага, в) собирать все сведения о противнике, г) беречься шпионов, а тем более не привести их с собой. Переходы осуществлять ночью. Все. До свиданья, товарищи.

К вечеру остатки соединения, потопив орудия и разбив машины, покинули место боя.

Случилось так, что последней группой уходили те пять человек, которых должен был вести политрук Григорий Матвеевич Мирских. Группа уходила последней потому, что боец-ополченец Мирон Подпасков никак не мог уложить в котомку свое имущество. Уму было непостижимо, откуда только оно появлялось. Валенки лежали в ящике с пулеметными дисками, шапка в свертке с плакатами, полушубок среди медикаментов — и вдобавок оказалось, что хотя зимнего обмундирования не выдавали, Подпасков уже имел его. Наконец он нашел где-то пустой рюкзак, сложил в него зимние вещи, — но и то все не влезло. Он принес второй рюкзак и навьючил его

на своего приятеля Семена Отдужа, хилого, длинного, с голубыми терпеливыми и мечтательными глазами, безмолвно говорящими о постоянной нужде и постоянной вере в то, что нужда эта минует, — и минует по воле односельчанина его, вот этого самого Подпаскова.

— Не тяжело будет нести? — спросил Мирских.

— Зачем тяжело? Ведь это мое, — ответил Подпасков.

Лицо его, широкое, угловатое, покрытое грязным потом (такое лицо народ бесхитростно называет мордой), его переваливающаяся быстрая и хитрая походка, его моргающие глазки, подергивание плечами, словно над ним постоянно моросит дождь и холодная вода льется за воротник, ненужное множество морщин на лице и одежде — все это и при других, менее сложных обстоятельствах могло вызвать раздражение.

Раздражение и бушевало в сердце третьего бойца их группы Гната Нередка. Это был плотный, широкий и крепкий парень лет двадцати пяти с плавными движениями, глядя на которые редкий не скажет: «Какой ловкий солдат». Он действительно был ловок, смышлен, любил исполнять приказания, и ему даже кое-чем нравилась война, пыл сражений, переходы, и как раз по нему были размеры винтовки, а с автоматом он казался еще пригляднее. К тому времени, когда майор произнес последние слова приказа, Гнат Нередка был уже готов к переходу. И вот с ранцем за плечами, с автоматом в руках, с фляжкой воды и аварийным запасом продовольствия он стоял рядом с политруком и чрезвычайно неодобрительно смотрел, как Подпасков суетится со своими вещами. Но раз политрук ничего не говорил Подпаскову, то молчал и Нередка. А он многое мог бы сказать. Он лишь доставал большой чистый и голубой платок, сморкался в него, свертывая его вшестеро, и, спросив разрешения у политрука, закуривал трубочку.

Политрук Мирских поверх головы Подпаскова и Нередка смотрел на место сражения, на эти сгоревшие танки, на эти разбитые снарядами орудия, взорванные блиндажи, грузовики, упавшие в канавы, и на множество немецких и русских трупов, прикрывших собою хлебные поля. Немцы прекратили огонь. Должно быть, они догадывались о маневре русских и теперь перебрасывали войска на фланги, чтобы отрезать дивизии пути отступления.

Солнце, ясное и осеннее, приближалось к закату. Немало людей на этом поле видело его последний раз, и, пожалуй, последний раз видел такое поле и Мирских. Он не часто думал о смерти, но теперь-то, пожалуй, она была близка более, чем когда-либо. Дожди, холодные осенние ночи, длинные переходы, кажется, возобновили его болезнь. Ночью, а в особенности под утро его сильно знобило, а днем мучила испарина и головная боль. Врачу он не желал показаться и потому, что не любил лечиться, и потому, что считал, что есть множество людей более больных, чем он, более нуждающихся во врачебной помощи. Товарищам, которые, глядя на его неестественно алые щеки, посылали его к доктору, он говорил шутливо: «Койки для меня достаточно длинной не найдется». Он действительно был очень высокого роста, но высота его производила благородное впечатление, напоминая собою самую высокую клятву и самый чистый источник одновременно.

Поле битвы казалось ему необычайно красивым и могущественным. Сколько поэтов будущего побывает на нем. Сколько песен будет создано о том, как одна русская дивизия держала это поле в своих руках, в продолжение трех дней сопротивляясь пяти гитлеровским. Сколько слез прольют люди над фильмами, изображающими это сражение. И разве не вспомнят они о том, как после сражения, перед тем как покинуть его, нехитростный русский портной Лубченков, по прозванию Сосулька, маленький, сутуленький, похожий на ковшик, сидел на пенечке и наигрывал что-то на губной гармошке. Ротный баян разбило снарядом вместе с передвижной библиотекой, и он услаждал себя, подыскивая мотив на этой весьма не обильной звуками деревянной, обитой белой жестью игрушке.

— Что вы играете, Лубченков? — спросил политрук.

Лубченков не отвечал, словно спрашивали не его.

— Что вы играете, Сосулька? — спросил его политрук.

— «По Волге-матушке зимой», — ответил тонким голоском Сосулька. — А что, не похоже?

И он засмеялся.

— Если, скажем, сравнить душу человека с пальто, так от этих минометов, товарищ политрук, не только верх отпадет, но и подкладка. Песня — это подкладка.

Катит себе война на огненной колеснице и подкашивает тебе и душу и песню. Так, что ли, сопелочка? — спросил он, дуя в гармошку.

И тотчас же он ответил сам себе песней. Песня получилась. Волга, широкая, зимняя, стлалась перед слушателями. Звенел колокольчик. Ямщик натянул вожжи. Возлюбленная ждала его у окна...

Даже Подпасков почувствовал, что вещи его собраны, и стоял, опираясь на лопату и думая о доме, о детях, о матери, ради которых он четыре года уже работал в городе каменщиком, чтобы получить городскую сноровку, ученье и вернуться в село и быть по крайней мере председателем колхоза. Когда Сосулька окончил песню, Подпасков сказал, указывая на поле:

— Сколько его, хлеба-то, потоптано, а, смотри, не покорено: колос-то выбивается.

Политрук уже привык к иносказательному языку, которым иногда говорили и Подпасков, и Отдуж, и Сосулька. Сейчас он их понял так, что можно двигаться вперед, все готовы. Он отдал приказание. Они пошли.

Перед войной Мирских служил директором музея. Он ценил и уважал свое дело, а главное, обладал природным тонким вкусом. В подвалах районного музея краеведения, среди хлама, он обнаружил картину, которой, по его мнению, коснулась чья-то бессмертная рука. Ученые столицы признали ее работою Даниэля де Вольтерры. Дальнейшие изыскания подтвердили, что картина была написана по рисунку Микеланджело кем-либо из его последователей или учеников.

И сейчас, выйдя через овраг на луг, за которым стоял осенний лес, глядя на клены и дубы, Мирских вспомнил копию картины, что висит у него в третьем зале музея. Несомненно, что чья-то великая кисть коснулась ее так же, как великая кисть осени преобразила лес, что вчера еще был зеленым и однообразным. Словно Даная, во всем совершенстве телесного цвета лежит этот лес на темной постели. Над изголовьем его висит пурпуровый полог. Выше, над самой красавицей, нежное белое облако, из которого, кажется, сыплются золотые монеты. Да, осень, поздняя, злая... Старуху служанку напоминают кустарники — сгорбленная ветром, сидит она у ног Данаи и ловит монеты в свой передник.

Гнат Нередка по-своему понял внимательный взгляд политрука, устремленный на лес. Он сказал, подражая тому военному языку, которым обычно говорил майор:

— Вопрос придется поставить так, товарищ политрук, что большинство бойцов, попавших в лес, будет оказываться в глубине такового.

— Думаете, гитлеровцы будут его прочесывать?

— Обязательно, товарищ политрук, — у них тактика такова. Постольку и предлагаю засесть в кустарниках, на опушке, поскольку ночь еще не настала и пути нам нет.

— Поближе к болоту?

— Так точно. Немец будет искать нас на сухом месте, товарищ политрук. На болоте он боится простуды.

Они срезали две кочки, свалили их вбок и стали под ними копать ямы. Торфяная почва, черная с желтыми прожилками, была легка и удобна в копке, но только приблизительно на глубине метра показалась вода, — выходило, что в ямке придется сидеть скорчившись. Землю сбрасывали в болото. Нередка и Подпасков, как и следовало ожидать, оказались искусными землекопами. Но и Сосулька, этот кое-как, без разбора и изящества, сооруженный человечек бурого цвета, которого даже кожаная куртка и штаны не делали величественным, обращался с лопатой так, что казалось — она для него не тяжелее иглы. Он с почтением проводил Мирских к яме, накрыл кочкой и, смеясь, спросил:

— В плечах не жмет?

Нередка и Мирских, как наиболее рослые, сели в одну ямку, а трое остальных, помельче ростом, в другую. Перед тем как садиться, они съели коробку консервов «Зеленый горошек», по ломтю хлеба толщиной с ладонь — дневную порцию, — запили все это зеленой, с нефтяными пятнами болотной водой и решили заснуть часа на два. Сосулька, который никогда не верил, что противник будет стрелять, но и никогда не удивлялся стрельбе, сказал:

— Какая там проческа, гребенок нету.

И тотчас же после его слов над деревьями пронесся грохот, посыпались сучья, задрожала земля, словно покоробившись, и все они почувствовали в груди короткое и удушливое стеснение, совсем не похожее на то, которое они чувствовали на поле боя. Там множество людей уже

одним тем, что они были вместе, отгоняли это позорное и подлое чувство покорности. Здесь же они были одни, и им казалось, что это на них одних валятся стволы, падает земля, неустанно летят раскаленные и острые куски железа, что это их разрывает воздушная волна.

Мирских всем своим телом ощущал, как он дрожит, — и он не мог сдержать этой дрожи. Но тело, которое сидело скорчившись рядом с ним — тело ловкого солдата Нередка, — дрожало еще сильней. Когда на мгновение огонь прекратился, Мирских, с трудом соединяя губы, проговорил:

— В чем дело, Нередка?

Обычный этот вопрос был как раз тем самым, в котором нуждался Гнат Нередка. Если б Мирских попробовал, как всегда, объяснить то, что происходит, — Нередка по-прежнему дрожал бы и, может быть, дошел до того состояния ужаса, в котором портится самый лучший солдат. А сейчас, стряхнув с себя куски земли, он пришел в себя и ответил обычным, лихим, слегка сипловатым голосом:

— Минометами прекратили проческу, сейчас автоматами начнут, товарищ политрук. Прикажете наблюдать?

— Наблюдайте!

Тут они оба вспомнили, что в кочке сделана щелка. В нее видна часть проселочной дороги, холм, на который от болота поднимаются деревья, и, подальше, полянка. По всем расчетам, немцы должны были выйти со стороны полянки. Повернув вправо голову и чуть привстав, так что голова его упиралась в корни трав, торчащие из перевернутой кочки, Мирских мог увидеть через плечо Нередка часть полянки и кривой дуб на ней. Он поправил автомат, упирающийся в коленку, и положил под себя диск.

— Разрешите автомат, товарищ политрук!

— Зачем?

— Приказано навести панику.

— Панику будем наводить в темноте, а сейчас еще светло.

— Темнеет, товарищ политрук!

Мирских не ответил. В лесу послышался треск автоматов, и Нередка сказал:

— Все так же идут.

— Как «так же»?

— А так, что в три ряда прочесывают. Первым рядом он косит верхушки, вторым берет в свой рост, продольно, а третьим рядом нас топчет.

— Что?! Не понимаю.

— Третьим землю обстреливает, лунки, такие вроде как наши, ищет. Вот мне бы автомат, я б им показал кротовью мою жизнь.

— Сидите спокойно, Нередка.

— Слушаю, товарищ политрук.

Он припал к щели и, не оборачиваясь, шепотом, хотя за треском выстрелов его все равно не было б слышно, кричи он хоть во весь голос, рассказывал о том, что он видел в лесу. Мирских плотно прильнул к его плечу. Сумерки еще не сгустились, а им из темной ямы видны были отчетливо не только стволы деревьев, но и мелькавшие среди них люди. Вначале пробежала группа красноармейцев, спрятавшихся в лесу. Человек десять — пятнадцать скрылись в овражке и столько же осталось лежать на дороге. «Раненые, — прошептал Нередка, — ой, боюсь, добивать будут их, товарищ политрук». Мирских и сам опасался этого, но мысль, высказанная Гнатом, както совсем спутала и отяжелила его. Ему то казалось, что раненые стонут, то чудилось, что они встали и скрылись в поле, то ему казалось, что убежавшие красноармейцы вернулись и унесли их. Но вот он увидел, что на поляну вышли мерным шагом немцы, сверкнули огоньки, выскакивающие из стволов, и даже разобрал слова команды: он знал немецкий язык. «Пройдут влево», — подумал он. И, словно отвечая на его мысль, Гнат сказал:

— Где влево, прямо на них идут.

Точно, немцы шли к раненым. Автоматы замолчали, и сразу же Мирских услышал отчаянный, хриплый и длинный крик:

— Товарищи, родные!

Гитлеровцев было девять. Один из них, опустив с живота автомат, достал револьвер. Раненый, привстав на локтях, повторил свой призыв. Немец выстрелил в него. Раненый упал недвижно. Немец обернулся и сказал что-то другому, шедшему во второй шеренге, но Мирских не понял, что сказал немец. Пристреливший раненого почесал револьвером шею и пошел к следующему раненому.

— Искалеченных бьют... — пробормотал Нередка.

— Искалеченных, — повторил Мирских и громко крикнул: — А вы, что же, не видите, — уже темнота?!

И он, словно с раскату, выскочил из ямки, встал во весь рост и закричал исступленно:

— Тысячи фашистов за это уничтожу! Тысячи таких!

И когда он, весь дрожа от ненависти, стрелял по бегущим фашистам, ему действительно казалось, что он уничтожает тысячи. Выпустив целый диск, он взял нож и бросился вдогонку за убегавшими. Но тут в груди его нестерпимо закололо, он закашлялся, сел на землю и закрыл руками глаза. Когда Нередка, Подпасков и Сосулька вернулись, Мирских сидел на кочке и пил воду. Голове было мучительно больно, в ушах стоял звон, и вода не помогала.

— Вот как разыгрался, будто ракета, — сказал, смеясь, Сосулька, — пятерых вы сняли, товарищ политрук, а остальных мы распугали.

— Где раненые?

— А мы их перевязали и в деревню направили.

— Какие дальнейшие приказания? — спросил Нередка, видя, что политрук молча смотрит на них и ничего не говорит.

— Пошли, — сказал политрук, вставая. — И, кроме того, надо беречь патроны.

— Беда вроде непогоды, — говорил, ухмыляясь, Сосулька после каждого «прочесывания», направленного против них, — раз уж ты начал считаться с природой, сиди и жди.

Рассуждения его были, видимо, чем-то убедительны и смешны для всех, кроме Мирских. Он не понимал Сосульки. Не понимал, почему тот так охотно кривляется, не хочет признавать своей фамилии, а откликается только на прозвище, обидное для всякого иного, а для него, совершенно ясно, очень лестное. Однажды Мирских спросил его:

— Почему вы пошли добровольцем, Сосулька?

— А какая же война без добровольцев? Добровольцы всегда песельники. Они обчество любят, товарищ политрук! Случись в моей области партизаны, я бы туда ушел. Вы как о партизанах рассуждаете, товарищ политрук?

Зак. 454

Мирских, привыкший обобщать, ответил:

— Партизанить стало теперь труднее, чем когда бы то ни было. В прежнее время партизан прятался в лес, как в крепость, а теперь леса прочесываются вдоль и поперек.

— Стало быть, я не гожусь для партизанского дела?

— Надо полагать, годитесь, проверим. Вот патроны вы не бережете, а это не по-партизански!..

— Да они сами стреляют, товарищ политрук. Как увидит фашиста, так и не могут усидеть. Пуля — она женщина нервная. Прикажите отдохнуть, ноги вроде стерлись. Переобуюсь и анекдот расскажу про солдата и попадью.

Анекдотов он знал много и рассказывал их охотно, но, к сожалению, повторялся — и это раздражало Мирских. Впрочем, его сейчас многое раздражало, и раздражение это терзало его, потому что он не мог сдержать себя, сознавая, что сдерживать себя надо. Он ворчал на Сосульку, обрывал его анекдоты, а когда тот заявлял, что он устал и ему надо или отдохнуть, или переобуться, Мирских начинал длинное рассуждение о том, как должен держать себя боец Красной Армии. Он понимал, что рассуждения его плоски и в них нет обычного огня, свойственного ему, но чем глубже понимал он это, тем длиннее делались рассуждения. Кроме того, ему казалось, что Сосулька не так-то уж устает и остановки придумывает для того, чтобы отдохнул именно он — политрук, да и анекдоты, пожалуй, рассказывает, чтобы товарищи не грустили.

Поэтому Мирских во время остановки не садился, а стоял на ногах; стараясь дышать так же ровно, как и его спутники, он только прислонялся слегка к дереву. И так он стоял, задумчивый, высокий, стройный, всегда готовый к поединку, а его товарищи казались секундантами при нем. И в конце концов они завидовали приятной и нежной завистью силе его духа и выносливости.

А в общем, получалось так, что шли они день ото дня все медленнее и медленнее, а в собенности медленно приходилось двигаться по лесу. Дело в том, что после каждого прочесывания гитлеровцы оставляли в лесу «кукушек» — снайперов, снабженных десятидневным запасом продовольствия и патронов, искусно замаскированных на верхушках деревьев. Эти снайперы, в большинстве своем

члены фашистской партии, должны были уничтожать всех, кто проходил по лесу. При следующем прочесывании снайперы менялись. Из-за этого Мирских проводил своих бойцов по лесу всегда между тремя и пятью часами утра, когда снайперы на деревьях, утомленные бессонной ночью, засыпали. Шли босиком, на цыпочках, стараясь не шуметь и не разговаривать; сообщались друг с другом птичьим свистом, хрустом веточек, слабым хлопаньем в ладоши.

А как только приближалось утро, они прятались в ямки. Ямки они научились рыть чрезвычайно быстро и так умело их скрывали, что не раз слышали над своей головой шаги немецких солдат, а однажды и в ямку провалилась нога немецкого солдата. Солдат выругался, вытащил ногу, присел возле норы, вытряхнул землю из сапога и пошел дальше. Когда шаги замерли, Сосулька сказал:

— Так мне его дернуть за сапог в ямку захотелось, ребята, просто сердце чуть не лопнуло. Ведь сапог-то дегтем пахнет. Должно быть, с колхозника какого содрал. В ямку бы мне его, да сапогом по глазам, по глазам, по харе...

Другой раз они долго сидели в болоте, зарывшись головами в корни деревьев, свисавших с крутого берега. Гитлеровцы только что прочесали лес. Было часов семь вечера, ночь еще не наступила. Можно было б идти, кабы не «кукушки». Пятеро потихоньку вылезли из воды, выжали одежду, вернее отрепья одежды, вымененные у крестьян, — и присели на мох, все под прикрытием того же свисающего высокого берега. Перекликнулись две — три «кукушки». Они жадно вслушивались, стараясь угадать, где же они и можно ли их снять. Все затихло в лесу.

Сосулька прошептал:

— Григорий Матвеич, не хочешь побороться для согревания?

Мирских знобило, голова болела, но он согласился. Повозившись слегка с Сосулькой, он быстро запыхался и, выбрав местечко, как ему казалось, потеплее, прилег среди корней. Корни резали тело, как колючая проволока, рот наполняла вязкая горечь, в глазах кололо.

И вдруг, сквозь эту боль, он услышал обрывок хорошей советской песни. Чей-то молодой, сильно срывающийся и, надо полагать, сильно взволнованный голос пел

ее. «Только бреда не хватало...» — подумал с большим неудовольствием Мирских. Но он знал, что бред бывает короткими кусками, а здесь мелодия все расширялась, крепла и делалась сложнее. Он привстал на локте. Сосулька сказал ему шепотом:

— Поют. Патефон, что ли, Григорий Матвеич?

— Поют, — мечтательно сказал Отдуж, — ловко поют. В патефоне куда хуже получается.

Они встали и поползли вверх, цепляясь за корни. Здесь они высунули головы и изумленно стали прислушиваться.

Лес ожил. Слышались шаги, голоса, кто-то бесстрашно лез на деревья, раза три — четыре выстрелили из револьвера, над лесом пронесся испуганный вопль «кукушки». Еще час тому назад казалось, что и воробью не уцелеть в этом лесу — так умело был пристрелян каждый кустик и каждая былинка, а сейчас лес был полон советскими людьми, партизанами; полон до того очевидно, что «кукушки» в ужасе соскакивали с деревьев и бежали куда глаза глядят.

— Не-е!.. — сказал восторженно Отдуж. — Не-е, нашего человека не прострелишь!

Да, лес ожил. И ожил он, как всегда оживает творчество, — с песней. Песня царила над лесом. Песня! Пусть фашисты, вооруженные автоматами и минометами, находились в трех — пяти километрах, все равно, — песня царила над лесом. Конечно, это не была та беззаботная песня, которую мы слышали до войны, — это была другая песня, хотя она пелась на тот же мотив и на те же слова. Эта песня была тяжелая и грозная, как скрижаль, как закон. В этой песне слышался скрежет ненависти, клятва, что если не хватит оружия, — соскрести врага ногтями с нашей земли. Это было навечно скрепленное согласие на борьбу. Да, это была песня, та песня родины, которую нельзя ни победить, ни уничтожить.

Пятеро стояли, затаив дыхание. Песня скрутила их души, как скручивают листок бумажки для зажигания костра. Огонь бежал по их жилам. Они дрожали от радости и восторга.

У Мирских и Отдужа катились из глаз слезы. Мирских плакал потому, что, хотя он никогда не сомневался в конечной победе Коммунистической партии, сейчас он увидел одну из осуществляемых ею побед. Та партия, к

которой он принадлежит сейчас и за идеи которой он в ранней юности сидел в тюрьме и был в ссылке, эта партия стояла рядом с ним и пела, когда он уже настолько физически устал и ослаб, что не может петь. И она будет петь вечно! Пусть даже среди партизан, поющих в этом лесу, нет ни одного партийца, все равно следы их ведут к его партии. Вот почему плакал Мирских, в то время как крестьянин Семен Отдуж плакал потому, что понимал — люди с такой песней не отдадут колхозной земли помещику и после этой войны будут жить еще более справедливо, чем жили до нее. Иначе какая ж ценность людям и их мечтам. Сладостная слава победы уже осияла взлохмаченную, в земле и прелых листьях голову Отдужа.

А Сосулька, тот подыгрывал партизанам на гармошке, плотно прижимая ее к сухим и голодным своим губам.

Гнат же Нередка, одобряя мотив песни и ее воинское содержание, думал в то же время — с какой военной целью раздается эта песня.

Мирон Подпасков, как всегда, ворчал, переваливался с ноги на ногу и ежил плечи, словно над ним моросил дождь. Он тоже был растроган, но растроган по-своему. Ему почему-то пришло в голову, что он стал слабеть умом. Рябой и длинноухий каменщик Герасим Петрович три месяца назад занял у него, в пивнушке, четыре рубля и до сих пор не отдал. Ну, не отдал, так отдаст, черт с ним, а самое обидное то, что вспомнил об этом Мирон только сейчас. «Не хорошо, не по-дружески, — мелькнуло у него в голове, — долг надо отдавать. А вдруг он в этом партизанском отряде, Герасим Петрович-то?» Да, хорошо бы встретиться, взять табачку, покурить и сказать: «Прах с ним, с долгом-то, ради долгов живем, что ли?» И растроганные партизаны дадут пищи — каши, щей, кусок сала, потому что партизаны, как он видел однажды в кинематографе, очень сердобольные люди...

Но партизаны оказались совсем не сердобольными людьми.

Когда их, пятерых, привели перед очи начальника, он принял их, как дезертиров. Особенно подозрительным ему казался почему-то Мирских... Партизанский начальник сидел на пне, ноги его были обернуты одеялом, на голове торчала шапка с ушами. Фонарь «летучая мышь» освещал его короткие руки и бритое молодое лицо с кис-

лым каким-то выражением. Он долго рассматривал документы, фотографии и долго сверял — подходит ли длинный рост Мирских к тому человеку, который изображен на фото, а фотография была из тех, узнать по которой человека, даже стоящего рядом с ней, можно лишь при богатом воображении. Мирских был обижен и отвечал резко, холодно. Начальник отряда, как оказалось впоследствии, районный агент уголовного розыска, задал несколько неожиданных вопросов, среди них были такие, которые указывали, что он был вполне политически грамотный человек.

Должно быть, ответы Мирских удивили начальника, потому что подобные проявленные им знания даже для себя он считал редкими. Допросив всех, он снял одеяло с ног — ноги у него оказались забинтованными, — велел подать носилки. Его положили в носилки, он сделал под козырек, и отряд его двинулся дальше, ведя с собой двух «кукушек», которые от страха перед внезапно появившимися в таком изобилии партизанами слезли с деревьев и сдались в плен.

— Товарищ начальник, — спросил Подпасков, — а насчет нас как же?

— А чего насчет вас?

— Распоряжения никакого не будет?

— Ну, идите, куда идете, — сказал начальник.

Они и пошли.

Все молчали. Только Сосулька пытался что-то подсвистать уходящей песне, да и то у него не получалось. Пройдя минут пятьдесят, Нередка сплюнул и сказал:

— Добрый солдат. Надо думать, выдвинется, в соответствии с тем...

Но тут их догнал верхом на коне пожилой партизан и предложил им вернуться к отряду.

— Я ж говорил, покормят, — воскликнул Сосулька. — Не могут не покормить люди, которые поют.

Начальник опять сидел на пне, и ноги его, как и раньше, были обернуты одеялом. Лицо его было по-прежнему непроницаемо, и по-прежнему равнодушием веяло от тона его вопросов. «Ну и человечина!» — подумал с неудовольствием Мирских. Начальник же голосом допрашивающего обратился к нему:

— Языки иностранные знаете?

«Вот зачем мы ему понадобились», — подумал Мирских и ответил:

— Знаю.

— И немецкий?

— И немецкий, — любезно ответил Мирских.

— Читаете? — тоже любезно сказал начальник.

— Да, — еще более любезно ответил Мирских.

— И пишете? — совсем уже любезнейше спросил начальник и даже улыбнулся.

— И пишу, — ответил Мирских. — У вас папироски нету?

— Как не быть, — ответил начальник и дал всем пятерым по папироске. Затем, указывая на немецкого солдата в короткой меховой куртке и коротких сапогах, сказал: — «Кукушку» надо спешно допросить.

После допроса начальник совсем подобрел. Он выдал еще по папироске и приказал отделить от скудных партизанских запасов на всех пятерых два килограмма хлеба и двести граммов масла. Хлеба им выдали действительно два кило, но масла не оказалось.

— Значит, кончилось, — сказал начальник, задумчиво глядя на Мирских. — А масло у нас было, не подумайте. Вот переводчика у нас нету, это, верно, плохо. Прошлый раз захватили мы караул. У них телефонный аппарат — связь с городом: можно все узнать, будь у меня язык. Я беру трубку, слышу — немец там дышит, а я ему — ни слова. Такая злость взяла, что и выругаться не смог. Нет, неважно у нас было поставлено дело в угрозыске — иностранного языка не изучали.

И он задумчиво посмотрел на Мирских. Лицо Нередка, бывшее до того одобряющим и почти восторженным, приняло вдруг сосредоточенное выражение. Он опасался, что начальник предложит Мирских остаться. Как же это? Ведь распоряжения майора не было. Он быстро составил в голове сводку всех мыслей своих и нашел такую фразу, которая сразу дала бы понять начальнику, что он и Мирских в некоторой степени соседи по приказу.

— Велено идти на восток, товарищ начальник, — сказал Нередка громко, прикладывая руку к шапке. — Счастливо оставаться прикажете?

Начальник понял его. Он улыбнулся и сказал про Нередка, указывая на него глазами Мирских:

— Высший сорт! С таким бойцом дойдете счастливо. Пока!

Километров десять спустя, в поле уже, Мирских сказал, вспоминая начальника отряда:

— Мужественный человек.

— Такой из соломинки дворец выстроит, — сказал Отдуж.

— Шутник, — добавил Сосулька.

И даже Подпасков сказал, хотя ему и хотелось бы оставить эту мысль при себе:

— Такой и в моем колхозе бы пригодился.

А еще километров через пять, когда остановились, чтобы Мирских мог передохнуть, Нередка сказал:

— Добрый солдат. Правда, он нам патронов не дал, так мы на его месте тоже бы не дали.

Препятствие во всяком походе — голод.

Последствия его и стремительны и гнетущи. Крестьяне, к которым они стучались, чтобы утолить голод, понимали их по стуку. С какой-то военной торжественностью они говорили, что хлеба нет, что весь хлеб поотнимали гитлеровцы: «Не верите, проверьте». А один крестьянин сказал, чем и привел в восторг Сосульку:

— Немец сказал: можете торговать оптом и в розницу. А можем мы торговать разве что смертью, да никто и за грош ее не берет. — И, словно прислушиваясь к чему-то, приближения чего они не слышали, он добавил: — Вон она топочет.

И они отошли от хаты, думая: вот последний, полученный ими от партизан хлеб дал им возможность дойти сюда, а кто даст им хлеба теперь?

Из села они спустились в какой-то парк. Они вдыхали запах душистых тополей, и им казалось странным, что село, которое они только что покинули, не пахло ничем. И хотя аллея была суха, но идти было тяжело и топко, словно здесь неделю шли дожди.

Они томились. Они сильно хотели есть. Их утешало несколько, что, когда они нападали на фашистов согласно пункту «б» приказа майора, те тоже были голодны — галеты, найденные при них, были тонки, как бумага, и, пожалуй, столь же питательны. Мир стал убог, жалок и

скуден. Над головами их высилась голубая осенняя пустота, похожая на погребальный убор. У, плохо!..

Первым стал жаловаться на голод Подпасков. Жаловался он своеобразно. Он вспоминал подробно, какую жирную убоину он заготовлял перед праздником. Однажды он кормил двух поросят, и случилось так, что задолго перед рождеством у младшего отнялись ноги и его пришлось прирезать. Нарядили стол, призвали гостей, и, не поверите, поросенок ушел в один вечер. И никому, главное, не было жалко пищи... Тут он, моргая опухшими глазками, показывая исцарапанную в кровь грудь, воскликнул, обращаясь к Мирских:

— Где пища? Куда вы нас привели?

Голод, недосыпание, усталость совсем ослабили Мирских, но, однако же, он не потерял дара речи, а, казалось, стал еще речистее. По-прежнему, когда он говорил, он казался выкованным из того железа, которое было горячо. Слова его входили в человека, как револьвер в кобуру. Он никогда не коверкал слов. Он был чист, как ключ, и в то же время был ключом времени. Он сказал:

— Другой дороги не было. Может быть, вы это поймете позже, Подпасков.

— Я хочу понять сейчас.

— Тогда я хочу попросить вас выслушать меня. То, что вы видите вокруг себя — пожарища, убийства, насилия, — дает вам понятие о том, что мы поступали справедливо. У нас один кров с вами — наша сила. Другого крова и другой родины у нас нет. Упустишь силу, отдашь ее врагу — и не будет крова. Тут уж ничего не поделаешь, раз оказалось, что наши дома стоят у дороги войны.

Сам не замечая того, он говорил замысловато, так, как любили говорить и Подпасков, и Сосулька, и Отдуж. И эта замысловатость, и высокий его голос, сильный и гулкий, несмотря на усталость, делали слова его понятными им.

— Надо исполнять приказ, а не хныкать, — сказал Нередка.

— А если он мне непонятен? — воскликнул Подпасков.

— Чего ж непонятного? — отозвался Нередка. — В приказе всего четыре пункта.

— Да нету главного.

— Какого?

— А где тут пункт, где меня накормят?

Нередка достал свой голубой, сильно полинявший от стирки носовой платок, который он обычно стирал каждый день и сушил на кустике. Свертывая платок, он сказал:

— То, что хлеба нет, то нас не сказнит. А что вот патронов стало мало, то нас сказнит и утрамбует.

И Подпасков смолк, сраженный силой этого довода. Когда они просили хлеба, они редко слышали: «Убирайся к черту!», но, когда они спрашивали у крестьян патроны, часто раздавался этот возглас. Крестьяне так же, как и они, держали при себе последний патрон, и вовсе не для того, чтобы убить себя, — нет. Патрон был совершенно необходим для храбрости. Его берегли больше, чем ломоть хлеба, — даже и тогда, когда человек не ел три дня и предполагает этим ломтем поддержать свои оставшиеся силы.

И чем дальше они шли, тем больше встречалось им людей с одним патроном.

От убитых или бежавших немцев доставались им патроны и винтовки. Но они их не брали с собой, не столько из презрения к оружию врага, а главным образом потому, что согласно приказу они должны были принести свое оружие. Это оружие как бы уменьшало расстояние между ними и тем, далеким еще районом Воробьевска, расположенным на востоке, куда через болота, леса, вытоптанные и сожженные нивы, через опустевшие села, мимо озлобленных и мстительных врагов шли они.

Несколько патронов оставалось еще у Гната Нередка, но больше всего, несомненно, хранилось их у Подпаскова. Две котомки на нем да две на Отдуже весьма ему пригодились. Подпасков, как только уразумел, что патроны дороже хлеба и способны поднимать угасающий дух, стал менять и выпрашивать их у крестьян с удивительным умением. Он сразу угадывал хату, где могли найтись патроны, и умел разжалобить рассказом о своих несчастьях крестьянина, который, вздохнув и утирая слезы, доставал из-под полы две — три обоймы.

Меньше всех имел патронов Сосулька, всегда не больше тройки. «Зато о тройке сколько песен поется», — говорил он, смеясь. Подпаскова сердил этот легкомыслен-

ный смех. Ему казалось, что Мирских должен «произвести увещевание Сосульки», но Мирских слабел все больше, так что половину дня, меняясь, они несли его на носилках. И странное явление — всякий раз, когда Мирских открывал глаза, он останавливал свой взор на Подпаскове. Да и Подпасков смотрел на него пристально, так что Мирских думал: «Картину эту надо расчистить, можно новую увертюру услышать в его душе...» Он путал понятия, но мысль его была правильна, он не хотел, чтобы Подпасков оставался таким, каким он его встретил. И все время мысль эта то ширилась, то уменьшалась, то проясняясь и осмысливаясь, будто под микроскопом, то ускользая, словно поглощенная ночью.

Но постепенное воздействие личности Мирских на Подпаскова уже начало сказываться. Подпасков стал заботиться о своих товарищах, политруку удалось воспитать в нем сознание, что без этого жить нельзя, сам Мирских так был переполнен этой верой, что сумел пробудить ее в других.

Однажды, когда стали меняться и ему надо было взяться за поручни, чтобы нести Мирских, Подпасков достал семь обойм, которые хранились у него, и положил их на горячую, пышущую жаром руку Мирских.

Мирских почувствовал на ладони холод и открыл глаза. Неподвижный взгляд его спрашивал у Подпаскова: «А как же ты, товарищ? Ты же отдал мне последние!» И на этот неподвижный взгляд таким же теплым, неподвижным взглядом отвечал Подпасков: «Ничего, товарищ, я ловкий, я найду!» Мирских сказал, закрывая глаза: «Спасибо, друг!» И тут Подпаскову показалось, что он давно уже копил в себе те мысли, которые теперь увлекли его сердце и увлажнили глаза, — вот он накопил их в себе так много, что он способен теперь думать о товарищах, чем он раньше занимался не с такой уж охотой, будучи способным позаботиться разве что о близких родных.

Утром, когда они залегли в чащу, Подпасков исчез.

Он не возвращался долго, так что Гнат Нередка обеспокоился. Он, пожалуй, один из всех не понимал того перелома, который произошел в душе Подпаскова, но в то же время он один мог не поверить, что Подпасков пропал.

— Хороший боец, — сказал он, — такие навсегда не пропадают. Разве что плохие инструкции получил.

Но никто не давал Подпаскову инструкций. Мирских лежал без памяти, остальные и не видели толком Подпаскова. Нередка подошел к Мирских. Мирских дышал поспешно, точно поднимающийся быстро в гору неумелый пешеход. Нередка смотрел на него, и ему казалось, что Мирских получает увольнительное свидетельство от жизни и теперь отмахивается от него пальцами. И еще казалось ему, что кто-то в отдалении скачет, хотя он и понимал, что всадников поблизости нет.

Гнат Нередка сказал с тоской:

— Большая неувязка. Кто же нами руководить теперь будет?

Тогда Мирских открыл глаза и произнес последнюю речь, самую короткую в его жизни.

— Подпасков принесет вам патроны... — сказал он и сделал пальцами такое движение, словно развязывал узел. Вздохнул и умер.

Трое неподвижно и пристально вглядывались в него, словно узнав о нем что-то необычайно важное и огромное, что нельзя покинуть. Они стояли, объятые этим чувством, которое можно было б назвать тоской расставания. Сначала им показалось, что ими утеряна навсегда дорога на восток. Но затем каждый стал думать о Мирских по-своему, — не расставаясь все же с общим и сроднившим их горем. Мирских лежал под кустарником. Веточка, которую он всколыхнул своим последним дыханием, еще качалась.

Нередка сказал:

— Так как мы удостоились присутствовать при такой героической смерти, когда политрук Мирских вел нас на восток, не имея компаса, то я в силу обстоятельств беру на себя командование.

— Ну, что ж... — только и мог сказать Сосулька и вынул из кармана губную гармошку.

Гармошка теперь казалась ему вздорной игрушкой, не достойной жить в такие великие дни, и он хотел бросить ее. Нередка как командир понял его, хотя раньше, часа за два до смерти Мирских, ему бы и в голову не пришло так думать. Он взял за руку Сосульку и сказал:

— Зачем бросать инструмент? Приказываю тебе при

погребении сыграть товарищу марш. Пока не подошел оркестр и взамен холма не поставили памятник...

И вот над останками политрука Григория Матвеевича Мирских в поле, возле ракиты, поднялся низенький холм и надпись на обструганной жерди, над которой была прибита выплетенная из лозы звезда: «Политрук Н-ского полка Г. М. Мирских. Погиб геройской смертью за цветущую жизнь. Товарищи, уничтожайте фашизм!»

Когда составляли эту надпись, вернулся Подпасков. Он нес ящик с патронами. Он бросил этот ящик возле могильного холма, и все проникновенно посмотрели друг на друга, и всем подумалось, что вот этот ящик с патронами и есть тот вечный и нетленный памятник, который воздвигли на могиле политрука Мирских.

И, отдав честь мертвецу, Нередка сказал всем остальным:

— Приказываю согласно пунктов, шагай на восток!

Их осталось четверо.

Дорога стала еще более извилистой и топкой. К тому же пошли дожди. Гитлеровцы сжимали вокруг них кольцо теснее и теснее, заботы увеличивались, а усталости было так много, что им казалось, будто они идут уже годы по этим болотам, лесам, валежнику.

О политруке Мирских стали забывать.

Подпасков забыл о нем с той древней философией крестьянина, которая жизнь взвешивала тем — отмучился или еще мучается человек. «Да, отмучился хороший человек, мой брат», — думал Подпасков, поплакав, — и это была его человеческая скорбь. Так он мог думать об отце, когда тот умер, так он думал об умершем брате, погибшем лет пятнадцать тому назад от бандитской руки. Погоревал, поплакал — и принялся за недоделанную ими работу в хозяйстве.

Сосулька с тем великолепием порыва, который отличает всех поэтов и музыкантов, сыграл на могиле политрука марш, трогательный и протяжный, сочинил песенку, в которой вместе с покойным политруком как бы взобрался на высокую гору, откуда видна вся правда... Потом стал рассказывать анекдоты оставшимся товарищам, так как и этим трем необходимы были утешение и шутка.

Гнат Нередка забыл Мирских потому, что теперь советоваться об «идейном насыщении» было не с кем и оттого это «идейное насыщение» стало невыносимо труд-

ным и занимало все его мысли. Приходилось из самого себя черпать воинственную гордость и решимость вести войну более чем когда бы то ни было смело и неуклонно. Помимо этих трудностей, он — это было всем известно — любил пищу и физические упражнения. Упражнений было много, а пища отсутствовала. И об этом тоже стоило подумать. Он и думал.

Чаще всех, пожалуй, вспоминал политрука Мирских тот человек, с которым политрук меньше всего разговаривал, но который был понятен ему больше всех других, так как Семена Отдужа политрук считал мужиком пылким, восторженным и решительным, но из-за слабости здоровья и долго терзавшей его нужды потерявшим веру в свою решительность. Так оно и было. То, что друг его Подпасков, необычайно практичный, который даже из деревни-то ушел с Семеном за год до сильнейшего неурожая, крестьянин, постоянно думавший только о себе и о своем хозяйстве, теперь думает лишь о других и, больше того, заботится о Сосульке, песельнике, шутнике и вообще человеке пустом и вздорном, казалось Семену величайшим чудом, вызванным волей и решимостью политрука Мирских. Зависимость от Подпаскова, иногда казавшаяся Семену тяжеловатой и непонятной, была теперь и понятна и почетна. Вот почему Семен хотел возможно больше знать о политруке. Но все его товарищи знали о нем так же мало, как и он, так как познакомились с ним только перед походом, а сам политрук говорил о себе неохотно. Знали только, что он был в царской тюрьме, в ссылке, да перед вступлением в ополчение заведовал музеем, где висели картины, написанные красками.

«Почему картины? — думал Семен. — Что в них?» Живопись, картины он путал с кинематографом, а в кино он бывал редко, так как ему казалось, что там люди чересчур много двигаются и мало говорят, а вернее сказать, мало рассуждают вслух, а рассуждения людей Семен считал наиболее важным делом в человеческой жизни. Жена, которую Семен очень любил и рассуждениями которой очень дорожил, посетила, когда была на съезде колхозников, вместе с другими музей — Оружейную палату в Кремле. Она видела там царские короны, сплошь из золота, с камнями, много ножей разного размера, но сколько ни вспоминал Семен ее рассказы, о картинах она как-то не упоминала, что же касается корон, то это и тогда казалось

Семену пустячным делом, а теперь, когда он подержал на голове своей каску, тем более. Хорошая шапка должна быть легка, тепла так, чтобы при случае ее можно было положить под голову и заснуть на ней. «Нет, надо самому сходить в музей, — говорил сам себе Семен, шагая болотом и отмахиваясь от последних осенних и оттого крайне надоедливых комаров, — жена — баба приличная, но чего-то недоглядела».

— Шагай, шагай, — хриплым, надсаженным голосом восклицал через силу Гнат Нередка, смотря искоса на отставшего Семена.

— Шагаю, — отвечал Семен, — прямо в музей.

Но Гнат Нередка не понимал, в какой музей может шагать Семен. Так как Семен никогда не шутил, то Гнату думалось, что в голове у Семена не совсем ладно, и он говорил:

— Как приедем, так в околоток сходи, попроси хины.

До Воробьевска, по прямой, оставалось едва ли двадцать километров. Но эта дорога по прямой была так забита фашистскими солдатами и их орудиями, что обходить их надо было километров полтораста, не меньше, и полтораста километров сплошь болотами, сырой землей, тяжелой и холодной, где не зажжешь костра, не закуришь, где в каждом чмокании, с которым вытаскиваешь ногу из земли, как бы слышится насмешка врага.

Они стояли на краю оврага, в который надо было спускаться, так как приблизился рассвет. Овраг, скудный, общипанный, дышал на них сыростью и отвратительной, надоедливой прелью.

— Волчий овраг, — сказал Подпасков.

— Да и волки-то в нем с голодухи передохли, — добавил Сосулька, и это была его последняя шутка в тот день.

На востоке, там, где маячили лучи рассвета, слышались редкие раскаты, точно кто катал голыши. Там рокотали советские орудия. Этот отдаленный, но решительный голос давал четверым право на жизнь, но в то же время вызывал головокружение, потому что перед ними вставала обходная дорога — все полтораста километров болотами.

Перед тем как подойти к оврагу, они обошли деревню и теперь стояли к ней спиной. Но они помнили все очер-

тания ее: голубоватая, с черным, как головешка, выгоном и с тремя испуганными дымками из труб, она вызывала в сердце у них томление и надежду. И сейчас они думали — не вернуться ли к ней, не найдется ли в ней добрая душа.

Пролетел самолет со свастикой на крыльях. Они легли, выругавшись. Когда они встали, деревня, казалось, приблизилась к ним, и овраг был еще отвратительнее, чем прежде. Они смотрели исподлобья на его бока, испокон века испещренные вымоинами, на дно, покрытое искристыми валунами, и на крылья его, покрытые кривыми дубами, среди которых так превосходно красться.

И все же они не повернулись бы к деревне, кабы не крик курицы, сообщающей о том, что она снесла новое яйцо. А им хотелось есть, и думали они также о том, что жизнь не остановишь. Этот крик курицы, слабый и чуть различимый, как испарение, разом повернул к деревне их лица. Искус был велик. Он вызывался жаждой жизни.

Принимая во внимание их слабость, они шли искусно и быстро, делая иногда в минуту шесть или семь шагов.

По мере того как они приближались к деревне, она становилась перед ними во всем опустошении войны, искромсанная, искрошенная. Спинной хребет села — магазины — был искривлен пожаром; рамы без стекол; надворные постройки без дверей. Три трупа смердили в канаве. Неподалеку, в школе, они услышали голоса, перекликающиеся на чужом языке, — и они остановились.

— Давайте мне все патроны! — сказал вдруг Нередка.

Они послушно передали патроны, не спросив, для чего они понадобились ему. Но Гнат сам объяснил своим замысловатым слогом:

— Приказываю искать помощи, поскольку все мы исключительно скомканы недоеданием. В случае вашего непоявления беру деревню под обстрел. И прошу не искажать моего приказа.

Он приказывал им искать помощи у крестьян, а сам становился в резерв, если кто-либо выдаст. Сказав это, он сделал под козырек и свернул в огород, а они двинулись вдоль плетня.

Они долго колебались, прежде чем заглянуть через плетень во двор и слабым голосом крикнуть: «Батько!» Двор не очень отличался от прочих. Так же, как и в других дворах, плодовые деревья в нем обломали немцы, так

же, как и всюду, были сорваны двери и выбиты окна и так же долго не получали они ответа на свой призыв к доброте отца-кормильца.

Наконец дверь распахнулась. Короткобородый крестьянин, в проседи весь, сверкнув, словно ножом, глазами, вдруг посторонился и сипло сказал:

— Входите!

За столом в хате, против печи, вороша угли и с незакуренной папироской во рту, сидел второй крестьянин, помоложе. Он был в солдатской одежде, но босой. Взор его сверкнул с той же силой, что и у отца, так что взором, казалось, он мог опрокинуть человека, как буря лодку.

— Побираетесь и пробираетесь? — спросил крестьянин постарше.

Подпасков, к которому перешло командование, пожелал внести в отношения свои с крестьянами точность и определенность. Если предашь, черт с тобой, но чтоб сразу. И тут же он подумал, — как же все-таки они ослабли, раз забыли обменяться с Гнатом условным знаком. Ну, каким образом Нередка поймет, куда прийти на выручку. Но даже и не зная того правила, что философское слово нуждается в долго создаваемой оправе, как бриллиант или рубин, а деревенская мысль величественна сама по себе, словно валун среди долины, Подпасков сказал грузно и тяжело, будто выкатывая валун:

— Поесть дашь, батько?

Крестьянин молча подошел к печи. Второй крестьянин передал ему горшок. На дне его лежали остатки солдатской каши, видимо из пшена, принесенного сыном. Трое мгновенно съели всю кашу, и, когда обнажилось дно, они переглянулись.

— Ну, теперь пойдемте.

И он привел их в погреб.

Погреб был тоже без двери, погребная яма — пуста, гнилая солома устилала пол. Крестьянин остановился посредине, опустил голову и развел руками, и, поглядев на этот жест, на узкие его плечи, Семен Отдуж подумал: «Не выдаст». Крестьянин сказал:

— А завтра Иван отвезет... Он на ту сторону хочет. Ну пускай его, раз хочет... пускай везет... Сын мой, сынку...

Голос у него был опустошен горем, и только голод и

усталость мешали Подпаскову понять это горе. Сосулька уже спал, уткнувшись в гнилую солому, а Семен Отдуж, никак не желая огорчать друга, когда крестьянин ушел, все же осмелился сказать, впрочем так и не договорив фразы:

— Никак того нельзя...

— Что никак нельзя? — грубо, как всегда говоря с Семеном, спросил Подпасков, привстав на локте и зорко всматриваясь во двор.

— Никак нельзя так о нем думать.

— Как же надо? Научи... Оправдываешь, что тебя предали. Иуду оправдываешь!

У ворот слышались чужие голоса, стукнул приклад, о стену хаты разбили бутылку — и словно что сверкнуло и резнуло им по сердцу. Немцы дружно захохотали. Подпасков прикрыл соломой Сосульку и шепотом сказал Отдужу: «Ложись, прикрою». Отдуж тоже шепотом ответил: «Я тонкий, давай тебя». Подпасков толкнул его в бок и зашипел: «Ложись, приказываю». Отдуж лег. Дышать было трудно, и спать уже не хотелось.

— Девок ищут, — сказал чуть слышно Отдуж.

— Не девок, а нас, — ответил Подпасков.

— Чего нас искать, мы спим, — сказал, просыпаясь на мгновение, Сосулька. Резко повернувшись на другой бок, он опять уснул.

Подпасков вздохнул.

— Вот уж верно, дуракам счастье.

— Он не дурак, — сказал Семен.

Подпасков вытряс из головы солому.

— Ушли. Вставай. Да ушли, тебе говорят!

Голоса немцев действительно слышались едва-едва. Через двор, охая, прошел пожилой крестьянин, и Подпасков сказал:

— Ой, чую я, продаст. Только чего он задерживается, интересуюсь.

Сосулька, опять проснувшись на мгновение, сказал:

— Интересовался парень девкой, а она ему двойню да исполнительный лист.

Подпасков засмеялся, и ему, тотчас же после смеха, захотелось спать. «Спи!» — сказал он строго Отдужу, и тот лег. Подпасков прикрыл его еще соломой, зарылся сам и заснул.

Проснулись они от стрельбы зениток. Солнце стояло высоко. И казалось — выше и более горячие, чем солнце, летели над землей советские бомбардировщики. Сердца троих наполнились гордостью, а больше всех был преисполнен гордостью Подпасков. Он сидел на гнилой соломе, охватив колена руками, думал о том, что надо бы вырыть на всякий случай ямку, и в то же время говорил сам себе: «А плюю я на вас, людоеды». Ему было приятно так думать. Он подмигивал сам себе мокрым умиленным глазом и бормотал вслух: «Эк тебя подмело», — и это надо было понять, что он умеет и способен исполнить любой приказ командира. То, что он стал теперь другим, подлинным человеком, совершенно не доходило до его сознания, и то, что он глазами, полными слез, глядит на небо, где летят советские бомбардировщики, казалось ему не переломом в его душе, а точным исполнением приказа. Он подтверждал это, бормоча: «Что же, раз есть приказ, мы дадим подмогу». На одну секунду мелькнула мысль о доме, но те мысли, с которыми он пошел в ополчение, то есть получить медаль, выйти в председатели колхоза, — казались ему теперь пустыми и нелепыми. Он думал о жене, но хотел увидеть ее лицо лишь тогда, когда ему разрешит родина.

— Семен, слышишь?

— Слышу, — растроганным голосом ответил Семен, и Подпаскову было удивительно приятно понять, что у Семена те же мысли, а может быть, даже крупнее и трогательнее, чем у него. Но долг командира, каким себя сейчас чувствовал Подпасков, не разрешал ему долго «кукситься».

— Я о другом, Семен. Поручаю тебе — приведешь из-под ракиты Гната. А я пока вырою ямку, и будет в той ямке лежать один человек, на всякий запасный случай.

— Слушаюсь, товарищ командир!

— Если не способен привести, так и говори. Я пойду.

— Приведу, Мирон Ефимыч!

— Смотри, доверяем жизнь, Семен.

— Уж что-что, а доверие я понимаю, Мирон Ефимыч!

И Семен, шепча что-то про себя, ушел.

Подпасков и Сосулька взяли лопаты. В углу стояла полуразвалившаяся бочка из-под огурцов. Они решили вы-

рыть ямку под этой бочкой, а землю сбросить в погреб. Рыть было трудно, так как земля слежалась и в ней было много щебня. Рыли они без перерыва часа два, и к тому времени вернулся Отдуж.

— Приказано антервалом идти! — сказал он, вбегая в клуню. — Дай лопату, надо ямку пошире, а то Гнат будет ругаться.

Действительно, после интервала минут в пятнадцать пришел Гнат Нередка. Он осмотрел ямку и проговорил недовольно:

— Кошке в этой ямке сидеть, а не бойцу Красной Армии, — и, оглядев всех, как бы этим принимая вновь командование, он добавил: — Приказ вышел в силу того, что нас теперь четверо, и согласно пункту один должен быть в резерве. Семен, садись в яму, жди...

Семен послушно сел в яму. На яму надвинули бочку. Нередка достал из кармана клочок бумаги.

— Надо домой, кому хочется, написать. Порубят немцы, один уцелеет, передаст. Также и рапорт. Подпасков, говори адрес и что писать.

— Пиши, — сказал протяжным голосом Подпасков. — Дорогая жена и детки. Пишу вам из отряда в немецком окружении, где мы сражаемся под руководством товарища Гната Нередки. Во всяком случае, фашисты будут уничтожены, враг будет разбит, и победа будет за нами. С получением сего я буду мертвый, и пусть дети подрастут и сражаются с лютым врагом за ту цветущую жизнь...

— Хватит, — сказал Нередка, — бумаги иначе на всех недостанет. Сосулька, каков твой адрес?

— А ты припиши мой адрес в то, Подпасково письмо. У него жена исполнительная, она моим напишет, а бумаги еще прикурки на три тогда останется.

— Это верно, — сказал Гнат, приписывая к письму Подпаскова адрес Сосульки. — И табаку вровень, и бумаги тоже. Полезай, Сосулька, в яму, письмо будет писать Семен.

В разных они сиживали ямках, но эта, в погребе, оказалась самой душной и самой тяжелой. Но они сидели безропотно, каждый свой срок, который указывал им Нередка. На краю лежали три записки с адресами, а как только садился сменный в ямку, трое оставшихся по-

вторяли ему, сами не замечая того, все, что они уже говорили сидевшему перед ним в ямке.

Солнце скрылось. Упала роса. Поднялась луна. С севера подул холодный ветер и показались тучи. Пришла опять очередь Сосульки сидеть в яме.

— Под солнцем человек выше, а под луной подлее, — сказал он, надвигая на себя бочку. — Если тот батька нас выдаст, я его подкурю, ребята, так, что он вместе с хатой сгорит.

— Молчи, идут, — проговорил Гнат. — Письма не забудь. Все согласно пункту.

— Будьте покойны, ребята. Прощайте.

— Прощай, — сказали они шепотом.

Вошел крестьянин. В руке он держал краюху.

— Коней у нас немцы поотнимали, так Иван их у немцев отнял, — сказал он просто и не спеша, протягивая им краюху. — Пойдем до коней, а то как бы немцы не хватились.

В темноте глаза его казались еще более тоскливыми, а голос резал сердце. Однако они сдерживали себя и старались не верить ему.

— На ту сторону сын хочет, — сказал крестьянин. — Ну, что ж. Хочет, так пусть...

И он проводил их за огород.

Пара коней, запряженных в бричку, стояла у плетня. Иван соскочил с сиденья, поправил чересседельник, не столько для надобности, сколько чтобы скрыть слезы, затем поцеловал отца, и отец сказал троим:

— Садитесь. А то немцы догадаются.

— Да они ж все равно догадаются, — сказал сын горестно. — Не уцелеть тебе, батька!

— А, пускай!

Гнат Нередка спросил у крестьянина помоложе:

— Чего ж отец с нами не едет?

— Да нельзя. Параска больна. Как оставишь?

— Нельзя оставить, — подтвердил пожилой крестьянин.

Подпасков и Отдуж сидели в бричке. Нередка стоял, опустив голову.

— Обождь приказа, — сказал он.

Подпасков думал о том же, о чем думали остальные. Теперь уже не было сомнений, и крестьянину они все верили.

Они торопливо оглядываются: на дне брички лежат четыре немецкие винтовки с патронами, да и бричка, по-видимому, досталась Ивану не даром, так как весь передок ее обрызган кровью. Ясно, что опасения их были напрасными, и предчувствие недоброго появилось в них из-за усталости и измучившего их голода.

И что же? Раньше получалось так, что они оставляли Сосульку на жизнь, спасали его, а теперь выходит, что оставляют его на смерть.

— Приказываю поправку, — сказал Нередка, и, круто повернувшись, он вернулся в клуню.

Подпасков объяснил пожилому крестьянину:

— Четвертого решили с собой взять.

— Да я знал, что он там сидит, — сказал крестьянин. — Мы так только полагали, что он не хочет или оставлен для вашего дела.

Четверо уселись в бричку.

— Прощай, Иван, — сказал отец.

— Прощай, батька, — ответил сын.

Нередка озабоченно посмотрел в лицо Ивана. Это было красивое, честное и гордое лицо. И он спешил к бою. Он хотел защищать родину.

— Двигай, — сказал Нередка.

Бричка вошла в лес. Она пробиралась такими топкими и непроходимыми местами, что, как ни хотелось четырем спать, они не могли не любоваться на ловкость Ивана.

— Да никакого дива тут нет, — сказал Иван. — Мы сюда постоянно за сеном ездим, каждый метр знаем. А вы бы отдохнули пока. До Воробьевска езды часов шесть.

Они и уснули.

Иван сидел, смотрел на дорогу и не видел ее. Кони шли сами. Иван думал об отце, о больной сестре и о том, что эти голодные, оборванные люди напомнили ему о долге перед родиной, о необходимости защищать ее и что при взгляде на них в нем окрепла решимость уйти из дому, «на ту сторону». Он гордился тем, что они доверились ему с первого взгляда, и он решил отплатить им тем же, не покидать их никогда. От света луны он казался еще более стройным, красивым и верным. Если б

в эти минуты проснулся кто-нибудь из четырех, он бы непременно подумал, что Иван очень походит сейчас на политрука Мирских, и ему могло б даже, под призрачным светом луны, показаться, что деревенский парень исчез, передав вожжи Мирских, и политрук правит теперь бричкой.

Ну что ж, ведь их теперь было действительно вновь пятеро!

2 декабря 1941 года

БЫЛЬ О СЕРЖАНТЕ

Эту быль о сержанте Морозове рассказали мне бойцы полка, где служит Морозов, и партизаны, встретившие его на пути. Случилось это в начале 1942 года, когда полк был расколот противником на части и меньшая его часть, где тогда находилось полковое знамя, остановилась в так называемом Парусном холмовье. Полк продолжал упрямо пробиваться к своему знамени. Немецкие танки, сопровождаемые автоматчиками, занимали узкий перешеек, отделявший основные силы полка от подразделения, которым командовал лейтенант Потапов и где, как я уже говорил, находилось полковое знамя...

Но предварительно надо сказать несколько слов о Василии Морозове.

Василий происходил из села Крицы, расположенного неподалеку от Парусного холмовья. Отца, сестру он не видал с начала войны. Вот теперь, когда полк перебросили в холмовье, Василий рассчитывал увидеть родных... Вместо этого как раз накануне боя он узнал, что его больной отец и сестра, не пожелавшая оставить отца, попали к немцам. «Что ж, колхоз им коня не мог дать? — думал со злостью Морозов. — И соседи с конями есть! Скажем, заведующая почтовым отделением — Смирнова Надя!..»

...Мобилизованный, он шел на станцию. Надя?! Желтый свет лампы льется из ее окна. Она разбирает полученные письма... еще мирные.... Подняла голову. Видит? Не видит! Любит? Не любит!.. Где там спрашивать, когда за все встречи от смущенья и пяти слов не сказал. Да и

что случалось при встречах? Поле. Кустарник. Пруд. Полдень. Тележка, в ней баулы. Конь... Здравствуйте, прощайте... Вот теперь бы встретить, он бы сказал!.. Но где теперь встретишь?

Красноармейцы, те, что не стреляли, вызваны к редкому березняку, покрывавшему спину высокого холма, где расположились позиции подразделения лейтенанта Потапова.

Сырой, серый и длинный день словно еще удлинялся в этом полосатом и кочковатом холмовье, где остановилось подразделение.

Послышался простуженный и хриплый голос лейтенанта:

— Развернуть знамя полка. Старший сержант Морозов, к древку.

Знамя полка, освобожденное от чехла, повисло под теплыми каплями мелкого дождя.

Жидкая осенняя земля чавкала под сапогами сержанта. Он встал рядом с древком и глядел на командира подразделения, который медленно, с бледно-серым лицом, поднимался на холм вдоль коротенькой линии выстроившихся красноармейцев.

Теплый дождь сменился холодным ветром. Непригожие тучи, темные, длинные, показывающие по краям своим белую подкладку, грозили чуть ли не снегом. Лейтенант со злостью взглянул на тучи, и по этому взгляду было понятно, что он принял на себя всю вину за грозящую боевому знамени полка опасность.

Широкое бледное лицо лейтенанта с его всегда опущенным ртом приблизилось к молодому, несколько рыхлому лицу сержанта.

— Старший сержант Василий Морозов!

— Слушаю, товарищ лейтенант.

Сержант выпрямился, ловя мысль командира сквозь две бессонные ночи, грузную усталость, сплетающую тело, тоску по родным и желтому свету лампы, льющемуся из окна почтового отделения.

— Старший сержант Морозов! Если не ошибаюсь, окрестности занимаемой нами позиции вам широко известны, поскольку вы родом из данной местности?

Сержант ответил утвердительно. Он добавил, что пройдет здесь ночью с закрытыми глазами.

Лейтенант провел ладонью по широкому опущенному

рту, и Морозову подумалось, что лейтенанту стыдно плакать при всех, глазами, и он плачет ртом...

— Старший сержант Морозов, вам известна боевая история нашего полкового знамени?

И на этот вопрос сержант ответил утвердительно.

— Повторите ее вкратце.

Дыхание из груди лейтенанта вырывалось с хрипом и хлюпаньем, словно работал насос для откачки воды при сильной течи корабля.

И тогда сержант, повернувшись лицом к знамени и глядя на его багровое полотнище и золотые буквы, которые, казалось, отражались на всех лицах и во всех глазах, сказал низким, старательным и в то же время вдохновенным голосом:

— Еще в суровый девятнадцатый год, товарищи, шли в бой под этим знаменем защитники нашей родины. Бойцы полка с честью пронесли знамя по многим фронтам, вплоть до снегов Финляндии. В новых боях за отчизну пробитое пулями боевое знамя все время находилось с передовыми подразделениями полка, вдохновляя людей на подвиги...

Он говорил слова, которые много раз повторял бойцам на теоретической подготовке. Бойцы превосходно помнили эти слова, знали их так же, как знали винтовку. Но бой заставляет пересмотреть многое из наших знаний! А сила убеждения изменяет наши знания иной раз еще больше, чем бой!.. Во всяком случае, то, что сейчас говорил Морозов, многое изменило и возвысило в сердцах этих людей, защищающих дальние подступы к городу Ленина, как изменило и лицо сержанта, хотя он и не чувствовал этого. Лицо его, еще недавно такое рыхлое, нерешительное, смущенное, стало сокрушительно упорным и приобрело какой-то странный цвет. Да, все видели, что он признавал сейчас самым важным и самым необходимым спасти полковую святыню во что бы то ни стало, каким бы то ни было путем...

Морозов окончил свое краткое слово.

Подразделение пребывало в торжественном молчании.

Лейтенант, вполне удовлетворенный и речью сержанта и своим выбором, дышал ровно. Он сказал:

— Морозов, возьмешь красноармейцев Гусева и Королькова и проберешься через болота ползком, как хочешь... Знамя передашь в штаб и скажешь, что мы при-

няли на себя удар гитлеровцев, пока ты относил знамя. Но помни, Морозов: погибнет знамя — погибнет полк. Согласно уставу — расформируют! Погибнет и твоя честь и честь полка.

— Не погибнет, товарищ лейтенант!

— Так что — сроки тебе малые, а кроме того, лично ты, Морозов, не должен умирать.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант.

— Полк по рации извещен, что ты идешь передать знамя.

— Будет передано, товарищ лейтенант.

Лейтенант крайне медленно снял с древка полотнище, поцеловал его и передал сержанту. Затем, указывая на пустое древко, воткнутое в землю, сказал:

— А мы будем биться возле этого древка до тех пор, пока есть последний патрон и кровь в жилах. Понятно? Жму руку, Морозов!

Морозов пожал руку лейтенанту, причем тот долго держал ее в своей.

После этого Морозов пошел по небольшому кругу красноармейцев, пожимая всем руки, а затем, отойдя вместе с лейтенантом в сторону, сбросил гимнастерку и начал обертывать тяжелое шелковое полотнище вокруг своего туловища. Лейтенант сказал:

— Вот и на солдата ты теперь не похож, Морозов. Растолстел. Какого села?

— Села Крицы.

— Родные в селе?

— Встретил третьего дня земляка. Говорит — остались. Отец — болен, а сестра с ним.

— Если посчитаешь возможным, зайди. Они дадут правильную информацию.

— Чего правильней. Прощайте, товарищ лейтенант.

Они подумали и не спеша обнялись. Лейтенант спросил, холост ли Морозов. Сержант ответил утвердительно. Тогда лейтенант вздохнул и сказал:

— Что холост, то одобряю. Хотя, с другой стороны, и холостой много думает, да женатый вдвое того... Ну, прощай еще раз, Морозов. Мою жену увидишь... детей...

И лейтенант вытер ладонью широкий свой рот.

Долго мерещилось Морозову лицо лейтенанта, его небритые щеки, заросшие твердым волосом, впалые глаза, и этот пригорок с твердыми кочками, и все это полоса-

тое от поваленных берез кочковатое холмовье под длинными и словно наполненными болезненным соком тучами...

Они вышли или, вернее, выползли из холмовья.

Морозов полз впереди. За собой он слышал легкое дыхание Королькова, лесника. Гусев дышал так, словно того и гляди вскипит, как самовар.

Корольков был длинный, сухой, с белесыми усами, похожими на сосульки, да и все его лицо какое-то ледяное, застывшее. Сына его убили в начале войны. Корольков пошел добровольцем и не уставал рваться в самые рискованные предприятия. «Сын сокрушает, кличет, — говорил он в таких случаях, — мне за сына надо идти, он из меня искру высекает». И с Морозовым пойти он вызвался сам, хотя и не весьма доверял сержанту как ходоку, считая себя опытнее.

Гусев — румяный, круглый, с нежным лицом, которое, казалось, никакая война не выдубит. У Гусева нет, подобно Королькову, личных счетов с немцами. Он обрадовался, когда его призвали, потому что ему давно хотелось, как он выражался, «дать себе подвиг для родины», а в мирной обстановке случая для подвига не представлялось. Да и какой может быть случай для подвига, когда служишь электромонтером на хорошей железнодорожной станции первоклассной магистрали?

К вечеру сильно похолодало, и все полагали, что земля подмерзнет, но земля хлюпала, как и днем. Руки и ноги увязали в слизистой и маслянистой жиже. Ночь была темна, и если б не компас с самосветящимися стрелками, сбились бы с пути непременно.

К рассвету проползли те трудные десять километров, где больше всего было немцев. Выползли точно к назначенному месту. Увидали озеро, рыжие камыши и синеватый туман над ними. Справа, в тучах, вставало солнце. Морозов объяснил спутникам, что если идти вправо, так можно обогнуть озеро по болотам и выйти на шоссе, а если влево — дорога будет легче, но тут пойдут деревни, а в деревнях немцы. Его мнение — идти вокруг деревень: и людей встретишь, расспросишь о событиях, о месторасположении полка, да и вообще шоссе тут ближе. Гу-

сев немедленно согласился с ним, а Корольков словно обрадовался возможности поспорить.

— Немец тут нас в деревне и караулит. Разве он в болота полезет? Он там угорит сразу. Мы там из него, коли попадется, всю душу выжмем. Не-е, надо идти болотом...

Морозова раздражала самоуверенность Королькова, и сержант приказал:

— Идти в направлении деревень.

Сделали несколько шагов. Корольков спросил:

— Ты к своей?

— Чего к своей? — не понял Морозов.

— К своей деревне, что ли, тянешь?

Морозов разозлился:

— А хоть бы и к своей. Ты что, оспариваешь приказание?

— Чего мне оспаривать, я человек болотный, — криво улыбаясь, сказал Корольков. — Я чего понимаю?

Морозов хотел было прикрикнуть, но раньше того он понял, как надо прекратить начинающуюся между ними неприязнь. Он сказал:

— Гарантирую тебе вооружение — автоматы и три десятка уничтоженных фашистов в придачу.

Лицо Королькова словно бы качнулось и мгновенно преобразилось. Улыбка загуляла по его губам. Шаг стал торжественнее.

— Вот мы теперь втроем и попразднуем встречу с гитлеровцами.

Зашли в деревню. Порожней, неправдоподобно пустой была она. Только в одном доме они нашли мяукающую кошку да в другом застали слепого старика. Корольков опять почувствовал недоверие к сержанту и сказал:

— Вот тебе и обвооружение. Нет, надо было идти болотом.

Морозов спросил у старика:

— Немцы есть?

— Были вчера, а нонче как будто их здесь нету. Да ведь я слепой.

Выходя из лачужки, Морозов обернулся к старику.

— А про село Крицы, дед, не слыхал?

— Село Крицы будет через три деревни. Как минуешь

Осьмушкино да пройдешь Доезжалово, попадет тебе такая роща, сынок...

— Я спрашиваю, как у них там положение?

— Положенье что ж? Положенье у всех такое, что лучше в гроб. В Осьмушкине осталось шесть дворов, в Доезжалове три, а в Крицах небось и одного нету.

Отправились в Осьмушкино. Неподалеку от села завернули в хуторок. Пожилая женщина высунулась из окна и крикнула им:

— Чего ходите? Немцы ездят как раз по этой дороге.

— Мимо хутора? — спросил обрадованно Корольков.

— То-то что и есть — мимо хутора. Заходите покушать.

Морозов сказал:

— Не, нам вооруженье требуется. Мы все нашим оставили, а теперь видим — без вооруженья скучно.

— Да заходите ж.

Зашли. Женщина угостила их кашей, показала троих ребят, сидевших в погребе. Была она тревожна — боялась за детей и за двух коров, из-за которых не покинула хуторка... Она даже пива своей варки налила им по большой кружке.

— Порежут фашисты. И коров моих порежут, и детей. Куда мне деваться? Они все время завертывают ко мне, да днем, вишь, торопятся... а как ночь придет, порежут.

— Чего им не порезать, — сказал Корольков спокойно, — у них на нас жалости нету. Товарищ сержант, — обратился он к Морозову, — здесь бой принимаем али на дороге?

— Ишь ты, не терпится! — воскликнула в страхе пожилая женщина, а Морозов, утешая ее, сказал:

— Отправились.

И пошли они дальше.

Миновали стороной Осьмушкино, от которого осталось действительно несколько изб, и вышли на широкий проселок, окаймленный березами, чисто вымытыми дождем.

По дороге в тощей повозке ехал еще более тощий старик, понукая серую и маленькую лошаденку. Попросили старика, чтобы подвез.

— А садитесь, — сказал вяло старик, — мне что.

И разговориться не успели — видят: навстречу три повозки, и в них битком набито немцами.

— Хорошая встреча, — воскликнул Корольков.

— Кабы свободны мы были, — сказал Морозов, — а то ухлопают, кому знамя достанется?

— Еще посмотрим, кого кто ухлопает.

Между тем старик, видимо привыкший уже к боям, поспешно свернул в березы. Немецкие повозки тоже остановились. Морозов решил, что единственный выход — брать на хитрость. Сержант с винтовкой наперевес бросился вперед, крича:

— Взвод, за мной! Сдавайся, немец!

Несколько гитлеровцев бросились бежать, но человек восемь залегли и открыли огонь.

Залег и Морозов.

Выстрелом разбило карабин у Королькова и ранило его в руку. Гусев стал перевязывать приятеля, а Морозов, разозлившись, схватил гранату и встал... Немцы бросились бежать. Морозов — за ними, кидая гранаты. Он бежал за ними метров двести.

Когда он вернулся, Корольков стоял на ногах, прислонившись к березе и придерживая правой рукой разбитую левую. Морозов, чувствуя себя виноватым, сказал:

— Зря мы сюда направились. Надо бы тебя послушать, Корольков.

И тут только он разглядел лицо Королькова. Оно, несмотря на рану, вызванную ею боль и бледность, наполнено было таким торжеством, что Морозов не мог не подивоваться. Корольков сказал:

— Почет событию. Разве мы в болоте могли бы их столько уложить? В честь сына... Пойдем.

И они пошли мимо убитых фашистов.

Корольков сказал:

— Ну, ребята, большой у меня нынче домашний праздник, в толстый колокол звоню. Не грех бы выпить чарочку простого. — И добавил: — Теперь вы без меня пойдете, а я уж как-нибудь к нашим вернусь. Прости, товарищ сержант, если чем обидел.

— Бог простит, — ответил сержант шутливо, и они обнялись.

Корольков повернул к подразделению, а Морозов и Гусев направились лесом дальше, на восток.

К полудню небо, как и вчера, огрузло тучами. На листья посыпался дождь.

То и дело вспоминая подробности схватки, ранение Королькова и его удивительный характер, они лезли через поваленные и гнилые деревья с опавшей корой, переходили поляны, кочки...

Птицы без обычной боязни нехотя поднимались из кустов, понимая, что людям теперь не до охоты.

Поздней ночью они вышли к Доезжалову.

Точнее сказать, Морозов только смутно был уверен, что перед ним Доезжалово. Ночью все села похожи одно на другое, и если на пашне, утомившись, делаешь огрех, обойдешь сохою участочек, то где в ночи в военное время загрязненному, затоптанному усталостью правильно определить направление?

Они стояли долго. Мелкий дождь сыпался на них. Хотелось сесть, уснуть.

— Приказывай, товарищ начальник, — решился наконец вымолвить Гусев.

Они осторожно — насколько можно быть осторожным при таком утомлении — двинулись вперед в темноте.

Колодец — и колодец вроде бы из доезжаловских...

Приблизились...

Немецкий часовой, не окликнув их даже, пустил очередь из автомата.

Они ответили.

Задребезжали стекла, послышались крики. Выстрелы немцев стихли. Опять шум дождя, едкое безмолвие деревни.

— Что-то немец больно нервный в этих местах, — сказал сержант, неуверенно делая шаг вперед.

— Отопрел. Ему ленинградский климат отсек окорока. Разрешите, товарищ сержант, проверить обстановку.

— Не торопись. Происшествий впереди будет много.

Они шли, переговариваясь шепотом. И вдруг из высокой и словно бы складчатой тьмы услышали вопрос:

— Ктой-та? Наши?

— Ваши, — ответил, радостно смеясь, Морозов. — А ты кто?

— А я Савелий.

— Ну, иди ближе, Савелий.

Совсем маленький, куда ниже Гусева, человечек обо-

значился возле них. Швыркая носом, он ощупал их и сказал весело:

— Двое. А страху-то на врага напустили, как сотня.

— С чего это немец-то у вас такой нервный? — повторил Гусев. — Боится чего, что ль?

— Боится. Бают, на него наша сила идет крупная. Наступление предстоит. Вот и есть у нас предложение осветить путь.

— Какое село? — спросил Морозов.

— Село наше Доезжалово, а здесь, в сараях, пшеница. Немцы грузовики, вишь, подали. Хотят увезти. А наше предложение такое: сжечь ту пшеницу дотла, пока немцы не вернулись.

— И село ваше спалят дотла, дядя Савелий.

— А пускай палят. Все равно, рано ли, поздно ли, сгорим. Но, поскольку мы во множестве...

— Давай жечь! — воскликнул торопливо Гусев. — Давай, давай, дядя Савелий!

Морозов подумал-подумал и приказал сжечь.

Из брошенных грузовиков добыли бензин, мальчики, невесть откуда вынырнувшие, притащили солому и доски. Склад обложили, и Морозов поднес спичку. Несмотря на дождь, пламя принялось дружно.

— Ну и денек, — сказал, широко зевая, Морозов.

— Не так брюхо набили, как голову, — отозвался Гусев все так же торопливо глухим голосом. — Не знаю, как ты и донесешь свое порученье, товарищ сержант, если такое каждый день.

— Донесем. Дядя Савелий, а если нам до приезда немца соснуть? У тебя не найдется такого скрытого места?

Дядя Савелий сказал, что такое место найдется, и они пошли, причем Гусев все время раздражал Морозова, так что он даже подумал: «И чего привязался, как грыжа?» Гусев все спрашивал: сумеет ли один дойти Морозов, легкий ли дальше путь и найдутся ли провожатые? Морозов хотел спросить: «Да что ты, струсил? Вернуться или спрятаться где-нибудь хочешь?» — но, объясняя болтовню Гусева ранением, неимоверной усталостью и большими событиями дня, промолчал.

Легли. Сон пузырем надул глаза, и заснули они мгновенно.

А утром оказалось, что Гусев заснул тем сном, от которого не пробуждаются.

Раненный в живот навылет, он напряг все силы, чтобы дойти до погреба.

Морозов скорбно глядел в неподвижное маленькое лицо Гусева и спрашивал себя: «Так ли я поступал? Верно ли? Туда ли я их вел? И сам туда ли иду? И дойду ли?» И он отвечал себе: «Должен дойти. А что смерть? Придет и мой раз, да не в этот раз».

Он шел теперь один.

Когда он чувствовал, что дальше идти не может, он забирался под ель и, прикрывшись бархатными ее ветвями, закрывал глаза, прислонившись спиной к стволу. Ему было тяжко и хотелось плакать, и во сне он плакал с ревом, как можно плакать только в детстве. И, проснувшись, он чувствовал благодетельную перемену состояния.

Он выходил на тропинку и устремлялся дальше.

И наконец он вышел.

Пологий холм спускался к реке, которая обозначала свой поворот многочисленной ольхой. Между соснами, где стоял Морозов, и ольховником простиралось поле плохо выкопанной картошки. У ног Морозова лежала канава, наполненная до краев водой; у канавы низкий межевой столбик с цифрами «325». Морозов пошел от столбика, повторяя про себя: «Триста двадцать пять...» Но едва ли он досчитал до ста, как остановился.

Девушка, торопливо собиравшая картошку в корзину, выпрямилась, чтобы передохнуть.

— Надя?! Надя!

Она, прижимая к груди корзину, бросилась к Морозову.

— Вася? Откуда?

— А оттуда, откуда и все, — ответил он. — Да пойдемте в сосны: за мной, кажись, гонятся.

Он взглянул на мелкую картошку и опомнился.

— Не надо в сосны. Идите собирайте картошку.

— Вася!

— И дотрагиваться не надо. Они с собаками, кажись, ищут. Еще собака унюхает. Один вопрос. Как мои?

— Живы. — Она указала на картошку: — Для них.

— Сожгли?

— В поле живем, в землянке...

— Видел, что сожгли. Я шел... мимо...

— Разбили вас, Вася?

— Досада фашистов загложет, что они нас не разбили. Оба мои здоровы?

— Отцу получше, а Саша здорова. Поправится отец, мы пойдем.

— Адрес мой прежний, на тот же полк. Пишите. До свидания.

Сосны закрыли его.

Девушка вспомнила его костистое лицо, широкие и в то же время наполненные какой-то странной, слепой недоверчивостью глаза, вспомнила, что давно собиралась лично сказать многое, в чем признавалась его сестре; сказать, что восхищается им... Девушка догнала его, когда он, сутулясь, переходил лесную дорогу.

Она положила ему руки на плечи.

— Вот так, — сказала она. — Мы стояли рядом. Теперь для каждой овчарки ясно: у нас один след.

— Зачем?

— Так нужно. Вы домой?

— Нет. Я шел мимо, Надя.

— Вася, вы шли домой. Я верю, что ваш полк не разбили. Тогда вам дали отпуск.

— В военное-то время?

— Ну, вы исполняли какое-то поручение и выкроили день, чтобы навестить родных?..

На лице его показалось мучительное сомнение. Он сомневался в ней? Да. Она не могла ошибиться. Но почему сомневается?

Она испуганно заглянула ему в глаза.

— Вася! Вам не надо зайти домой? Разве вам не разрешено?

Он подумал и сказал:

— Разрешено.

— Идемте. Вы отдохнете день, другой... — И она спросила прямо: — Чего вы опасаетесь?

— За мной гонятся... с собаками. Я овчарок наведу на отца, сестру... на вас...

— Ну, мы скажем — за грибами ходили, спрячем вас, Вася.

— Меня нельзя спрятать, — сказал он, упрямо качая головой. — Я шел к отцу... верно. А теперь... не пойду.

— Да чего такое?

— С собаками... опасаюсь...

— Вы мне доверяете или нет?

Он схватил ее за руку и потащил за собой в чащу.

Под ноги подвертывались стволы, чавкало болото, затем — мох, какая-то яма... Он толкнул ее туда... Тогда только она расслышала собачий лай, свистки, и ей даже почудился топот. Яма была узкая. Их плечи и туловища сблизились, и, несмотря на то, что они всем своим телом ловили звуки в лесу, они чувствовали теплоту, исходящую друг от друга.

Теплота эта, медленная, медовая, вязкая, мало-помалу уносила с собой ту смуту, которая перед тем наполнила их тела. Они уже не с такой страстностью прислушивались к звукам погони. Им казалось даже, что звуки эти утихли, ушли в сторону...

Их теперь, пожалуй, больше беспокоила та внезапная перемена ощущений, которая произошла сейчас в них. Они испытывали друг к другу высшую степень симпатии. Щурясь, они глядели на струйки света, пробивавшегося в яму сквозь хворост, прикрывавший ее, ощущали запах мокрого мха на дне ямы. А еще приятнее сознавать, что не только тебе одному радостно соседство другого, но и этот другой полон радости.

Шум леса исчезал перед шумом их сердец.

Они с удивлением глядели в глаза друг другу. Они чувствовали, что вот сейчас, с этой минуты, они навсегда принадлежат друг другу и могут, как желают, распорядиться друг другом. Разве не поразительно и мощно подобное чувство, а в особенности для тех, кто впервые испытывает его?

В такой сладкой и поневоле беспечной неподвижности они сидели долго, пока над лесом не пронесся порыв ветра, указывающий на приближение сумерек. Преследователи не нашли следов Морозова. Дождь стер их.

Они вышли из ямы, движениями рук и ног выгоняя из мышц и сухожилий ломоту от неподвижного сидения.

— Как бы тебе, Вася, не простудиться, — сказала она с заботливостью совсем близкого человека. — Да ты и голоден небось. Пойдем, покушаешь. Мы вчера отца твоего побаловали: пирог из картошки испекли, еще остался...

— Пирог — это хорошо, — сказал он, счастливо смеясь

и держа ее руки в своих. — Ух, Надя, давно я пирогов не пробовал

Он приблизил ее руки к своим щекам и сказал, поглаживая ими лицо:

— Так, значит, поживем вместе?

— Поживем, Вася.

Тут он опустил ее руки и схватился за грудь. Лицо его исказилось, словно он вложил в грудь раскаленный камень.

— Ты что, Вася, болен?

— Здоров.

— А грудь?

— И грудь... ничего. — Он наклонился к ее лицу, так как был выше ее. — Ты, Надя, иди... А я... тоже пойду.

— Куда? — Она теперь уже не выражала недоумения, а сердилась. — Куда ты пойдешь? Тебе надо увидать отца, сестру. У тебя что, задание есть какое?

На лице его опять мелькнуло сомнение.

Она повторила вопрос.

— Да, — ответил он.

— Так что же такое? — спросила она.

И виновато он ответил:

— Не могу сказать точно...

— Чего ты боишься, Василий?

Он опять подумал и ответил многозначительно:

— Заснуть.

— Ну и что же? Если опасность — разбудим.

— Боюсь заснуть... — повторил он, и ей показалось, что в ответе этом есть что-то такое, что ей не уловить, и это раздражало ее.

— Боишься проспать. Что? — И она сказала решительно: — Тогда идем вместе...

Он покачал головой.

— Почему нельзя?

— Нельзя.

Она всплеснула руками.

— Господи, Василий... Я хочу, чтоб ты мне сказал...

— А я и сказал...

Она взглянула ему в глаза и поняла, что он действительно сказал все, что мог.

Она опустила руки древним крестьянским жестом, выражавшим отчаяние.

— Ну что ж... иди, Василий. — И уже тихо вслед, про себя, добавила: — Немного пожито, а все прожито.

Он увидел на небольшом пригорочке трех гитлеровцев. Старший из них был, по-видимому, офицер. Ему захотелось приманить офицера. Он издал приглушенный крик, который, по его мнению, должен был походить на немецкий.

Офицер поднял бинокль и, осторожно шагая по росистой траве, пошел вперед. Морозов подумал, что здесь бы у него с Корольковым непременно получился спор: кому бить первому?

Корольков считал себя снайпером, но и Морозов был стрелком не последним. Морозов сказал бы, что он бьет за унижение своей невесты, которую вынужден был оставить, даже не открывшись ей — из осторожности, — куда он идет и что он несет. Он бьет за своего отца и сестру, которые, покинув сожженную гитлеровцами деревню, живут, как звери, в земляной норе, а к тому же отец болен ревматизмом. Он не зашел к отцу проститься, так как не знал, кто там вокруг. Он должен, должен во что бы то ни стало, как давший слово, донести знамя... На все это Корольков ответил бы, что да, мысли у сержанта правильные, но у него, Королькова, немцы убили сына, и он, так сказать, вместе со своим сыном обязан стрелять первым, и он никак не уступит своего права сержанту потому, что сержант бьет хорошо, но он, Корольков, лучший снайпер роты... И тут спор и прекратит Гусев, который просто предложит ударить всем вместе.

Так вот, Морозов ударил за всех вместе!

Офицер упал мгновенно.

Упал, взмахнув руками в предсмертном хриплом вопле, но дивное дело — упавши, ползет все-таки к своим, которые залегли.

Морозов ударил еще.

Офицер вздрогнул — но ползет.

Морозов еще выстрелил.

Офицер ползет.

— Ага, тебе хочется уползти, фашистская шкура! Еще.

Он бил по ползущему до тех пор, пока чуть ли не все патроны высадил. Наконец опомнился и притаился.

Немцы подняли головы. Он — в эти головы.

Метил хорошо парень.

Когда Морозов подбежал к трупу офицера, то оказалось, что он весь продырявлен. Морозов присмотрелся. От пояса офицера к солдатам тянулась длинная веревка. Гитлеровцы, выходит, шли по кочкам, связавшись, как ходят по ледникам альпинисты. И, значит, когда офицер упал, солдаты тащили его к себе мертвого...

— У-ух ты. Приказаний ждали. От мертвого?

Морозов протяжно и размышляюще вздохнул.

— Как сон. Что-то позавоевался я. Этак, того гляди, и к нашим не дойдешь. Надо осторожней, Морозов. — И добавил: — Ну, я волнуюсь — ясно с чего. А немец — узнать бы... — с чего это волнуется? Веревкой, вишь, связывается.

Ему суждено было узнать, отчего так нервничали и волновались немцы!

Но прежде того он долго крался среди опасностей и страхов много километров, все время испытывая тягчайшую и мучительнейшую усталость.

Он пробирался в обход неприятеля по глухой, презлой и пречерной чаще леса. Каждый шаг — это значит преодолевай либо топь, либо вязкий гнилой валежник, либо сплетенные острые травы.

Каждое мгновение, словно петлей, задерживало ноги, но он шел. Гитлеровцы, вооруженные пулеметами и автоматами, патрулировали все шоссейные и проселочные дороги.

Он не знал — в отдалении находится его полк или идет где-то близко...

Временами его знобило, трясло. В особенности мучителен был озноб под утро, когда сырость наполняла все вокруг. Он прыгал, стараясь согреться, потому что сумрак еще не позволял идти.

И тогда-то находило самое страшное. Ему хотелось закрыть глаза и лечь, чтобы совсем не вставать. Наступит тот сладостный и длинный покой, какого никому не доводилось встречать.

Сон, сон, сон... Вот сейчас-то, как только появится солнце, снизойдет к тебе и сон. Мягкий, длинный, похо-

жий на теплое течение широкой летней реки, синей-пресиней. Она понесет тебя без плеска вдоль отмелей с мелким и сухим песком.

«Днем надо спать, а идти ночью...» — шептал ему полусонный бред. «Нет. Сейчас надо идти. Днем. И всегда идти!..» — «Но ведь ночь невыносимо холодна, и, в сущности, ты, сержант, не спал уже...» — «Нет! Я спал. А если засну сейчас, днем, я уже никогда не проснусь. Меня найдут немцы...» — «Ты боишься смерти? Вздор! Ты ее никогда не боялся».

И он говорил сам себе, почти в бреду, во весь голос:

— Мне приказано не умирать. Нельзя мне умирать! Ни в коем случае... И спать нельзя! Надо идти.

Нельзя!

И он стискивал зубы, раскрывая глаза с усилием, как раскрывают ворота весной, когда тяжелый и темный снег еще не превратился в лужи.

Ему нельзя умирать!

Это он повторял ежеминутно.

Усталость шептала ему, что весь путь его наполнен случайностями. Случайно он встретил невесту. Случайно вышел и к селу Доезжалову и к своему колхозу. Случайно встретились немцы. И случайно убили Гусева. Случайно ранили Королькова. Так же случайно могут ранить и даже убить его...

Нет, его не убьют.

Ему нельзя умирать!

Он ощупывал знамя на груди и, шатаясь, почти падая, шел дальше.

Когда ему не хватало сил, он шел, опираясь на стволы сосен, от одной сосны к другой. Кора их была разная, то шершавая, то гладкая. Множество хрупких, часто меняющих форму теней — голубых, розовых — скользило у него под ногами. Что это такое? Почему?

Ему нельзя умирать. Ни в коем случае.

И он шел, падая, вставая, волоча за собой автомат, патроны, сумку с остатками пищи. Нельзя!

Иногда из густого леса он выходил на поляну, наполненную сильным светом. Он останавливался, протирал глаза. «Отдохнуть?» Но сейчас же, вспомнив о немцах и о знамени, которое он должен донести, шел дальше.

Он встретил нескольких человек. Трое из них были солдаты.

Его вид ужаснул их, и они точно ответили на все его вопросы. Они указали ему, где, как им кажется, стоит 84-й.

И тогда он опять пошел вперед.

Его уже меньше мучили мысли, рыхлые, как прах, который ветер поднимает и опускает, творя сухой и едкий туман...

Нет, он поступил правильно!

Тяжело, но правильно!

Прошел мимо отца, невесты, сестренки...

Кто знает — расчувствовавшись, разве он не мог им сказать, куда и что он несет? Мог. Он любил прихвастнуть.

Тяжело, но иначе нельзя!

Да и наконец, разве это не в их интересах? Разве им было б слаще, если бы его арестовали немцы, нашли бы знамя?! Родных его повесили бы тоже!

И он старался придумать для Нади то, что не успел сказать, что утешило б ее: произведен, мол, в капитаны и несу устное важное сообщение в штаб! И боюсь забыть от радости и жара твоего присутствия.

Он падал, вставал, опять падал, полз — и уже теперь не по километру, а только по метру в час двигался он вперед!

Он падал чаще и чаще. Впрочем, ему не казалось, что он падает, просто шаги несколько неуверенны, да оно и понятно: в него стреляют, его уже ранили в правый бок, контузили в плечо...

Нет, ни в коем случае ему нельзя умирать. Таков приказ.

И он выполнит его во что бы то ни стало.

Главные силы полка, пробиваясь к рубежу, намеченному приказом, вели бой.

Бой был тяжелый. Артиллерия выдалбливала проход в немецкой обороне. Полк устремлялся туда, но немецкий огонь был так силен, что полк ложился. Так повторялось несколько раз. И несколько раз приходил в ярость командир полка, хотя он и понимал, что перед таким огнем нельзя не лечь. Черт — и тот лег бы перед таким огнем!

Командиру полка доложили, что из подразделения лейтенанта Потапова пришел старший сержант Морозов.

— Привести сержанта!

И его привели.

Он стоял перед командиром, весь покрытый пылью и запекшейся кровью. Одна рука его была неумело перевязана. Голова его тряслась, глаза слипались...

— В чем дело? — спросил командир.

Морозов доложил:

— Боевое знамя полка находится при мне, товарищ подполковник. Приказ выполнен.

Командир от изумления отступил на шаг, вглядываясь в этого измученного, еле стоящего на ногах солдата. Командиру даже показалось, что солдат бредит: такие у него воспаленные глаза и дрожащие губы...

Командир приказал:

— Развернуть знамя!

И старший сержант Морозов дрожащими руками стал развертывать знамя, побуревшее от его пота, потемневшее от его крови.

— Древко! — приказал командир. — Подать древко!

Появилось древко.

И тогда, не обращая внимания на усталость сержанта, — да и он сам не обращал на нее внимания — подполковник приказал ему поднять развернутое знамя и пойти вперед. И сообщить об этом всему полку.

Сообщили.

Старший сержант Морозов шел.

Ветер колыхал знамя.

Ветер был чуть заметный, но Морозову казалось, что ветер разрывает его на части. Тем не менее Морозов шел.

И полк шел вперед.

Шел, не обращая внимания на огонь противника, шел, готовый взять любые препятствия, шел отчаянно.

Шел и брал танки и орудия. Шел так, что командир армии, узнав о подвиге 84-го пехотного, сказал, прикрывая шуткой свою радость (он был очень сдержан):

— Что-то нынче гитлеровские гости уезжают спозаранку!

И вот старший сержант Морозов стоит на холме, таком знакомом, покрытом кочками, которые все еще кажутся твердыми, словно закремневшими. Перед ним расстилается полосатое кочковатое холмовье, и низкие тучи,

словно приняв на себя зарок идти только на этой высоте, несутся над лесом. Как будто ничто не изменилось. Даже древко от знамени, воткнутое лейтенантом, стоит по-прежнему.

Нет, не по-прежнему.

Нет лейтенанта Потапова. Нет его подразделения. Усыпав бесчисленными трупами неприятельских солдат и остовами танков все холмовье, подразделение лейтенанта до последней капли крови стойко защищало дальние подступы к городу Ленина, защищало честь своего полка.

Полк выстроился по холму, и под холмом, и по всему кочковатому холмовью и отдает честь героям.

И у знамени, которое держит старший сержант Морозов, стоит подполковник и говорит пламенную речь в честь погибших героев.

Стоит Морозов и глядит вдаль, за лес. Там находится землянка, где его ждут отец, сестра и, может быть, невеста. Да, ждут непременно! Теперь туда можно пойти и рассказать, как и почему это случилось, что он не зашел домой, а свернул в лес и тем самым обидел отца, сестру, невесту. Но они люди, и притом наши люди. Они поймут, если разъяснить им. А может быть, даже и сами догадались раньше того... Они ведь понимают, что природа войны строго запрещает слабодушие, и тем более если ты стоишь у знамени...

Он смотрел вверх, на лесные вершины, над которыми стремились тучи. Туда, вперед надо идти теперь, вперед. Ведь он теперь узнал, почему гитлеровцы нервничали и даже связывались веревочкой, как альпинисты, когда шли по ленинградским кочкам. Они узнали, что русские перешли в наступление, о-ого!..

Сердце его ныло. Он мог хоть сейчас отрапортовать, что дойдет туда, куда нужно. Он знал это. Но его сердце ныло оттого, что ему хотелось наступать немедленно, сейчас. Он ждал приказа.

— Слушай, полк!.. — раздался знакомый, уже подлинно ратный голос командира.

И сердце у старшего сержанта Морозова перестало ныть.

Оно услышало приказ.

Полку, под славным его знаменем, приказано продолжать наступление.

1943

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Сержант Сергей Животенков, командир орудийного расчета, до войны был преподавателем русского языка в средней школе.

Многим из нас, привыкшим к исполняемому сегодня делу, кажется иногда, что дело, которое мы исполняли до этого, мы любили меньше.

Подобная мысль возникла в голове сержанта Животенкова, и обстоятельства, при которых она возникла, были следующие.

Ранней весной, когда перелески изобиловали снегом, а в поле под лучами свежего ветреного утра появились уже цветочки, противотанковый артиллерийский полк, шедший на запад, вдруг поворотил к югу и стал пересекать длинное село, едва ли не самое длинное во всей Смоленщине. Видно, что немцы и жгли-то его, и взрывали, и растаскивали на блиндажи, а оно все стоит и стоит, упрямо поблескивая на солнце своими рыжевато-бурыми соломенными крышами.

Вот школа. Кирпичное здание ее разрушено наполовину. Нет физического кабинета, библиотеки, общего зала. Но во второй половине, если постараться, можно еще работать.

Начальник связи, далеко высовываясь из машины, подъехал к батарее. Он передал приказание полковника: «Задержаться в селе на полчаса... дальнейшие приказания получите дополнительно!..» И тотчас же замолкли моторы, прекратился грубый лязг тракторных гусениц — и все услышали легкий шум ветвей, колеблемых весенним ветром, шелестящий шепот ручейков, струящихся

из-под снега... Что-то простое, деревенское полилось всем в сердце...

Животенков вспомнил весенние испытания, которые он проводил у себя в школе, там, в Тамбовской области. Они всегда сильно волновали его. Ведь узнаешь, что тебе удалось сделать за зиму!..

Дверь в здание школы открыта, вернее, сорвана с петель. Он вошел. Во втором этаже слышались голоса. Он поднялся по лестнице, на которой лежали груды затвердевшего синеватого снега.

Несколько мальчиков усердно рылись в большом ворохе чего-то рыхлого, пепельно-серого. Несмотря на весенний ветер, шатавший разбитые рамы, кислый и прогорклый запах наполнял комнату. Мальчики услышали характерный стук солдатских сапог, но голов не подняли. Население у фронта всячески старается удалить войну из памяти...

— Учебники ищете? — спросил сержант.

— На курево! — ответил мальчик постарше, не догадываясь, что перед ним учитель. — Научились, хватит... — И он добавил изощреннейшее ругательство.

— Эвон фашисты как постарались, — сказал второй, уродливо кривя лицо, — луну, звезды скорее найдешь тут, а не книгу!

Протухлый, отвратительный запах в комнате, тощие лица детей цвета ржаного хлеба, их хриплые голоса — все это в душе сержанта подняло высокую волну простого и безыскусственного сострадания.

Тоном опытного учителя он сказал:

— Будет врать, ребята. Вы давно не учились, и понятно, что скучаете по книге. Где ваши учителя? Та-ак... Выходит что же? Двоих, вроде, убили в партизанах, третья ушла с нашей армией. Печальное дело, но не унывайте. Мы пришли и отсюда уже не уйдем. А пока... — Он посмотрел на часы. — Семь утра. Так вот, ровно через три дня, в семь утра, я даю вам урок русского языка. Понятно?.. Полк? Ну, будет ли здесь стоять мой полк или уйдет — это вас не касается, поскольку военная тайна. А я лично приду. Урок будет по теме — героический эпос «Слово о полку Игореве».

Животенков превосходно изучил особенности войны, разбираясь в них с легкостью, как в падежах. Например, по двум — трем фразам, брошенным начальником связи,

Животенков понял, что полк простоит в селе не полчаса, а добрую неделю. Но сколько сержант ни был догадлив и наблюдателен, он не мог, разумеется, узнать намерения противника. А эти намерения проявились часа два спустя после того, как он, вкатив орудие под навес, лег отдохнуть в избе на соломе, которую уже успел расстелить «второй номер»...

Командир батареи скомандовал выступление, и Животенков опять зашагал по ржавой, угрюмой, неподатливой грязи. «Вот тебе и догадлив! — думал он с досадой.— Вот тебе и урок!» Собой он был крепок, широкогруд, с дюжими щеками, работал споро, окапывался, например, в полминуты, но вот окапываться мыслями куда труднеи!

Орудие сержанта Животенкова установили в леске, в полутораста метрах от деревни Большое Кропотово. Впрочем — какая там деревня?! Три отвратительные трубы, уцелевшие ненароком, да отвратительно разрытые погреба, где немцы искали не то припрятанные крестьянские пожитки, не то картофель. От деревни несло дымом. Изредка налетавший дождичек обмывал темные сучья деревьев... Тоска!

К вечеру из-за деревни показались два танка и за ними несколько грузовиков. Гитлеровцы! Сержант подпустил танки меньше чем на сто метров и приказал открыть огонь по грузовикам. Он хотел разрушенными машинами закрыть дорогу танкам, которые пожелали бы отступить. Дело в том, что по обеим сторонам проселка были крутые песчаные балки... Расчет получился и хороший и нехороший. Грузовики перекувырнулись, загорелись, началась паника... но вот танки он не успел подбить, и те прямой наводкой начали обстреливать его орудие. Поблизости разорвался снаряд, попал осколок в замок. От соседнего орудия, спасибо, послали артиллерийского мастера. Он сообщил, что с левого фланга приближается еще полтора десятка танков.

Горячее произошло дело!

Словно подчиняясь какому-то непреодолимому валу, который их гнал сюда, на двух линиях проселочной дороги, в районе Большого Кропотова, появились и шли на батарею то тяжелые, то легкие танки. За три дня, в течение которых билась с ними батарея, их вышло сюда не менее пятидесяти. Батарея подбила и сожгла одиннадцать, а орудие сержанта Животенкова — заклинив-

шийся в замок осколок давно изъяли — уничтожило не менее трех! Черный дым шел из машин, из аварийных люков выскакивали немецкие танкисты... Они не бежали — они ползли к орудиям, бросали гранаты, обстреливали батареи из автоматов. Горячее, повторяю, было дело. Убило наводчика, тяжело ранило «второй номер», связисту батареи пробило голову... Дым. Огонь. Дым. Огонь. И не разберешь, где день, где ночь!

Ночи стояли холодные, длинные, темные. Надо подносить снаряды, надо покормить расчет, а тут отовсюду — смерть, холодный дождь, и над промокшими ногами бесчисленные обнажившиеся корни деревьев. Из жерла вылетают пылающие красным трассирующие болванки — и странно чувствовать, что тебе нестерпимо зябко, а рядом летит столько огня!

И как медленно прибывает вода в реке от тающего весной снега, так и мысли прибывали и прибывали в голове Животенкова. Да, холодно, тяжко, иную минуту просто хочется заплакать от боли и страданий, от голода и жажды сна, но почему же все это совершающееся вокруг держит в состоянии непрерывного воодушевления и вызывает в душе непрестанное стремление действовать — стрелять, уничтожать танки, искать их, тщательнейше замаскированные, самому маскироваться, менять позиции, выкатывать орудие, заряжать его — и стрелять, стрелять, стрелять?!

Что это такое? Как это назвать? Кто, как привил ему это, что́ пылает внутри него ярче трассирующего снаряда, что́ гонит его к непрерывной деятельности, что́ не дает заснуть, что́ делает его годным на все, что потребуют командиры и нечаянности, неизбежные в военной обстановке?

Вторые сутки. Уже сон то и дело машет крыльями над глазами, а он: «Прицел сколько? Шестнадцать! Перелет! Уменьшить на два деления! Правильно!» И чего ж тут неправильного, когда танк начинает метаться, как уклейка, выброшенная рыбаком на траву!

Третьи сутки. Фашисты подвозят в кустарники орудия, по-видимому самоходные. Крадутся пехотинцы... «Ребята, прикрываем железную дорогу Ржев — Вязьма, понятно?» Летят кумачовые искры, стальные болванки впиваются в глубокий снег. Снег, издали слышно, шипит, и

пар поднимается над кустарниками... А сон распускает над глазами что-то пленительное... ух!.. уснуть бы!..

Животенков выпрямляется, трет снегом лицо и старается думать о чем-нибудь постороннем. Но — мысль одна: «Любишь все это, любо защищать родину. Может быть, в военном деле твое призвание. Значит, вернешься к учительскому столу, и станет тебе скучно...»

Уже приближается исход третьих суток, когда должен он пойти в школу и рассказать детям, усталым от войны, о князе — отважном Игоре.

Стоит сержант на опушке леса. Перед ним поле, широкое русское поле. Еще не совсем стаяли снега, но много уже видно темной, напитанной водой земли, а кое-где уже ползет травка. На эту травку смотришь пристально, и кажется, что она двигается на снег и зеленые лучи рассеиваются по нему...

Была ранняя весна. Солнце сияло нестерпимо. Князь Игорь выехал на опушку леса. Он приподнял красный свой щит и, заслонившись им от солнца, глядел вперед, туда, где за русскими холмами простирались степи половецкие. Пальцы его сжимают серебряное копье, которое сверкает на солнце, как те сосульки, что свисают ранней весной с крыш. На сердце его и холодно и светло. Ух, далеки и опасны дороги! Страшна и угрюма земля половецкая! Опасен и коварен враг! Но что поделаешь — земля русская зовет, и надо не гнушаться битвы, а о тех, кто гнушается, — думать мерзко. Вперед, друзья, вперед, за землю русскую, за русскую волю, за весну русскую.

...Хотя Животенкова и контузило слегка в плечо, он тем не менее помог вкатить орудие под тот же навес. И по-прежнему, с той и другой стороны орудия, валялась помятая мокрая солома и те же чистенькие воробьи, слегка распустив крылышки, прыгали по ней. Но в голове сержанта не было прежней ясности. Возбуждение улеглось, и голову наполнял какой-то скрытый и неприятный шум. Пройтись разве по улице села? Может статься, развеет?

Он сказал, указывая на замок:

— Надо его... чтобы никаких разрывов в металле... Начинайте. Работы тут, — он взглянул на часы, показывающие без четверти семь, — часа на три, начинайте. Я вернусь через сорок пять минут.

— Товарищ сержант, да ведь вы, почесть, трое суток не спали. Мы хоть вздремывали. Вы ложитесь, а мы его подчистим и тоже ляжем. Ложитесь, а то у вас такой сон в глазах, щипцами не вынешь.

— И то лягу, — сказал сержант, — вы и без меня... невелика хитрость оттереть ржавчину.

Сержант шагнул. Но, вместо того чтобы идти в избу, он пошел на улицу. Бойцы объяснили его уход тем, что ему надоело трое суток воздерживаться и он желает выпить перед сном водки. И, позавидовав счастью сержанта, они принялись очищать и залечивать рану, нанесенную орудию.

Тем временем сержант вошел в класс, где три дня тому назад он дал обещание школьникам.

Они ждали его. Комната была убрана, выметена и даже, кажется, вымыта. Возле окна возвышался стол учителя, табурет, а рядом — классная доска. Правда, все это было расщеплено и кололось, как плавники у рыб, но кто обратит внимание на это! Ученики сидели за партами, и их было вполне достаточно, чтобы создавалось впечатление нормального урока.

Учитель положил перед собой записную книжку, в которой были лишь одни пометки о количестве снарядов, им принятых, кроки местности, где развертывалось орудие, да еще перечисление белья, сданного им в полковую прачечную.

— Все готово, — сказал он, — приступаем. Вам известно, что такое героический эпос и что такое «Слово о полку Игореве»? Нет? Забыли? Ну что ж, фашисты — одно, учение — другое. Будем восстанавливать знания.

Он начал было объяснять смысл и значение для нас героического эпоса прошлого — славы нашей родины. И опять ему представилось: поле, весенние коричневые, словно подернутые лаком, веточки кустарников, нерастаявший снег, кони, звенящие удилами, красные щиты, всадники и впереди них задумчивый человек — Игорь Святославич, Новгород-Северский князь. Целью его похода...

...Теплая всасывающая струя воздуха опустилась на него. Ему было крайне приятно смотреть на детей, видеть их изменившиеся лица, как бы поглощающие знание, однако под этой теплой струей, льющейся на него откуда-то сверху, он словно осел, стал меньше, углубился во что-то безрассудное... он закрыл глаза и заснул.

Когда он открыл глаза, он даже и не подумал, что спал. Просто сквозь разбитую раму дунул теплый ветер, и сержант на одно мгновение прикрыл веки. Странно только, что ноют локти и затекла кисть руки, к которой, должно быть, он прижал голову, да и ноги свело...

Он строго посмотрел на ребят.

Лица их были по-прежнему внимательны и даже, пожалуй, еще более внимательны, чем в начале урока.

— Будем продолжать урок, — сказал он и, перед тем как продолжать, взглянул на часы. Удивительное дело! Часы показывали без десяти десять. Что, он забыл их завести? Но тогда бы они остановились! Он приложил их к уху. Часы шли исправно, как всегда. Он взглянул опять в лица ребят. — Я, кажись, задремал, ребята?

— Нет, нет! — ответили ребята в голос.

Голова его была теперь ясна. Речь текла плавно. И он испытывал редчайшее удовольствие от урока. Оказалось, что он любит то и другое! И войну за отечество, и рассказы ребятам о том, чем жило и чем живет его отечество. Оказалось, что сердце сержанта Животенкова обширно и может вместить многое — много любви!

Хрестоматии «Русская литература» он, разумеется, не имел, не имели ее и ребята, поэтому вполне извинительно, что он не так уже точно цитировал подлинник и перевод. Точность он заменил пылом, и ребята вполне удовлетворились этим. После того как он закончил урок, он проверил их. Они отлично усвоили пройденное и спросили, когда он назначит следующий урок.

— Скажу по секрету, в ближайшие часы выступаем дальше, на запад, — проговорил сержант, — так что урока от меня вскорости не предвидится. Но мы заложили фундамент, и, будьте уверены, он не распадется. Сколько дней прошло с того момента, как вошла в село Советская власть? Пять. А уж был один урок! Так поверьте, что через несколько дней к вам приедут и настоящий учитель, и книги, и тетради. До свиданья, ребята!

И все же он возвращался к своему орудию в недоумении. Спал он или не спал? И если спал, то сколько? Неужели же школьники так страстно хотели учиться, что сидели и ждали урока, неподвижные, два долгих, утомительных часа? Два часа не шелохнувшись. Уж что-что, а детскую психологию он знал. Во время войны, да весной, да при выбитых рамах. Невозможно!

Он вошел под навес. Орудие было в исправности. Часовой у орудия подтвердил это.

— Сколько ж они работали? — спросил сержант.

— А часа два с лишком, може, и три, докончили, одним словом, да и пошли спать, товарищ сержант. Солнце-то ведь высоко, а как опустится, пойдем, сказывают, дальше.

Сержант взглянул туда, куда он не догадался взглянуть, — на солнце.

Огромное, сверкающее, резкое, оно стояло действительно высоко в бездонном, казалось, всепоглощающем небе. Оттуда оно как бы говорило человеку: ну разве не прекрасна жизнь, разве не прекрасна весна и разве не поразительно прекрасна борьба за все это: за солнце, за тебя, за меня, за жизнь!

И тут только сержант Животенков понял, почему ребята не ушли из класса, когда он спал. Они знали, где и как он провел эти три дня и три ночи, и, охраняя его сон, продолжавшийся два с лишним часа, они тем самым охраняли и уважали и свое будущее, и свое настоящее, и свое прошлое.

— Одобряю! — сказал сержант Животенков и улыбнулся улыбкой, едва ли не самой широкой за всю его жизнь.

1943

НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

I

В первых числах октября 1941 года, в ярко выбеленной комнате оливкового особняка на Новинском, в Москве, важный и пожилой артиллерийский офицер, проницательно щуря чернильно-синие глаза, говорил молодому лейтенанту:

— Хочется на Бородинское поле? Мысль похвальная. При вашей похвальной патриотической мысли, вдумчиво оценив обстановку, поймете, что судьба сражения за Москву, развивающегося на пространстве трех тысяч километров, решается не на Бородинском поле. Там — эпизод. Впрочем, увидите.

Офицер добавил, что ему приятно познакомиться: он некогда удостоился чести слушать лекции Ивана Карьина, отца лейтенанта. Проницательность и матовый блеск чернильно-синих глаз раздражали.

А про себя Марк думал: эпизод ли? Бородино ли? Неважно! Другое важно — попасть на фронт и умереть с *честью*. Он так в уме и подчеркнул: с *честью*. Он не труслив — нет, зачем же? Терзает иное: что́ в современной войне важнее — храбрым быть или дисциплинированным? Позорна и трусость, и своеволие — знаю! Трусости не замечал. Своеволие? Измучило!.. И, если нельзя его подавить, растоптать, — не лучше ли умереть с честью?

Но все дело в том, думал он, что вспыльчивость, ужасная, неудержимая, почти болезненная, хотя он физически здоровее дуба, — дикое своеволие загубит его раньше, чем он возьмется за дело, которое и является его честью!

В двадцать четыре года погибнуть перед битвой? Из-за чего? Из-за того только...

Он не знал, из-за чего!

II

Природа одарила Марка Карьина способностями, вдобавок вычеканив, правда без особого старания, образец физической крепости. Отец, виднейший теоретик и практик танкостроения, бесконечно любивший сына, помог Марку усовершенствовать его природные дарования. Школа развила остальное... казалось бы, живи да радуйся!

Рано Марк стал вскипать, не зная себе удержу. Слегка наклонив большой лоб, повитый темными волосами, вечером принимавшими фиолетовый оттенок, расставив крепкие ноги в больших разношенных и будто чугунных сапогах, он сдавленным голосом вызывающе ворчал:

— Надо по порядку, зачем ты меня «тыкаешь»?

Вопрос был нелепый, тупой, и было в нем что-то страшное. Многие, чтобы освободиться от гнетущего чувства неловкости, лезли драться. Марк, казалось, того и ждал: кулак у него был сокрушающий, каменный, а драться ему было и приятно и стыдно. Он стыдился отца.

Любя и уважая отца, Марк находил странное удовольствие в сопротивлении ему.

Отец мечтал, что Марк продолжит его дело. Марк же выбирал профессию, где поменьше столкновений с людьми и побольше простора. Когда вы думаете об уединении, вы естественно сразу же вспоминаете пустыню. «Песок да скалы, — думал Марк, — над чем тут сомневаться?» Но в песок и скалы он желал ехать с тем, чтобы не подчиняться им, а их подчинить себе! С трудом окончил он Лесотехнический институт и скрылся в пустыне, в тайге, в чаще. Рубил, сплавлял, кормил комара, дрался с медведями, тонул, падал с деревьев, разбиваясь почти насмерть, и вдруг явился к отцу, вывезенный несколькими «лесовиками», которые отстаивали необходимость постройки на Каме бумажно-целлюлозного комбината. У профессора Ивана Карьина другая специальность, но в Совнаркоме и плановых организациях у него друзья и знакомые, понимающие в любой специальности, способные защитить и отстоять свое понимание. «Старик обра-

дуется, — сказали Марку «лесовики», — сын в разум вошел: поможет».

«Лесовики» недолюбливали Марка, да выхода другого не было: строительство комбината никак не умещалось в план.

Приехали.

А знаменитый профессор Иван Карьин, теоретик и практик громадных и неуязвимых машин, умирал.

III

Он давно страдал несколькими болезнями и, знаток медицины, хотя и не врач, понимал, что исход каждой из них смертелен. И, однако, привыкнув к мысли о смерти, он умирал с легкой усмешкой на морщинистых старых губах. Уже лежа в смертной постели, он без спешки и, казалось, без напряжения доканчивал свои работы, давал советы молодым конструкторам и каждый раз, просыпаясь на рассвете, брал свой дневник, чтобы записать события вчерашнего дня.

— Подвожу, Марк, итоги,— сказал он, увидав сына.— Хотел тебя вызвать, а ты сам. Твои каковы итоги?

Марк смотрел на длинное лицо, покрытое тонкой и серо-желтой кожей, с подпалинами табачного цвета на висках, слушал короткое дыхание, и ему было стыдно, что он избегал отца.

— Ты прав, Марк... Всякий должен выбирать ранец по плечу. — И он добавил со своей обычной многозначительностью: — Велико ли занятие отстоять проект комбината, а попомни, в какую тебе это заслугу поставят позже. У меня — труднее: танки — капризные дамы... — И, побоявшись, что сын обидится на поучение, сказал: — Твою просьбу... помогу... Перед «итогом» похлопочу и обещаю самый верный успех... Но с моей стороны тоже... будет просьба.

Выбирая слова, старик долго шевелил потрескавшимися, сухими губами:

— В дневнике... Фирсов упоминается... Личное. Лишнее. Еще напечатают, вздумай они дневники издавать...

Он закрыл глаза. Несколько минут лежал неподвижно. Затем прежняя легонькая, как пух, улыбка осветила его лицо.

— Собирался дать факту новое освещение... Фирсову... не собрался. Тогда лучше вырвать...

...Просматривая дневник отца, Марк нашел про Фирсова. Он вспомнил легонькую, напоминавшую Анатоля Франса, улыбочку отца и задумался. Что он знал такое о жизни, чего не знал Марк? Чем он был выше?

Поддаваясь очарованию этой неумершей улыбки, Марк подумал: «Да уж так ли виновен отец?»

Сущность дела заключалась в следующем.

Лет восемнадцать тому назад двое молодых ученых Иван Карьин и Федор Фирсов, не видевшиеся несколько лет, уговорились отдохнуть вместе на берегу моря, у подножия потухшего древнего вулкана Черная Гора — «Карадаг», в селении Коктебель.

Фирсов приехал с женой и трехлетней дочкой. Друзья поселились рядом, в одном доме. Начались купанья, прогулки по песчаному берегу, обеды под полотняным навесом, содрогающимся от ударов волн о берег.

Жена Фирсова, желая угодить мужу, — Карьин казался ей холодным и самонадеянным — обращалась с ним по-братски, если мало сказать — дружески. Она балагурила, пела с ним песни, будила по утрам, уговаривала больше кушать, даже заботилась об его одежде. Вначале Фирсов одобрял, а через неделю — две заревновал. К несчастью, застенчивость и страх незнакомого ему раньше чувства ревности помешали ему сразу объясниться с женой. Та истолковала его ревность своеобразно. Подобно Гермионе в «Зимней сказке», она, подумав, что муж сердится на нее за то, что она мало обращает внимания на его друга, удвоила нежности. Фирсов совсем надулся, придравшись к какому-то вздору. Супруги ссорились.

Жена сгоряча пожаловалась Карьину на сумасбродство мужа. Мы часто говорим, что старость любит поучать. Молодежи, пожалуй, поучительный тон доставляет больше удовольствия, чем старикам. Иван Карьин предстал перед Фирсовым строгий, надменный. Он сказал, что возмутительно из-за глупой ревности рвать такую ценную дружбу, как их, а также оскорблять невинную женщину. «Надо понимать, что идеи прогрессируют очень медленно и, значит, нуждаются в постоянной поддержке.

Таковы, например, идеи взаимоуважения...» Фирсов своеобразно принял ученую эту тираду. Он ответил презрительным знаком. Как хотите, а ученые так не разговаривают, да еще по этическому вопросу! Они расстались навсегда.

С той поры какая-то докучливая одурь овладела Фирсовым. Мало того, что он упрекал жену в изменах ему в Коктебеле, он даже придумал обстоятельства, при которых она будто бы встречалась и ранее с Иваном, и женитьба эта, мол... словом, обычный ревнивый бред, который, как пламя, чаще всего освещает гримасы вашего лица, но иногда и опаляет всю жизнь. Случилось последнее. Жена не нашла сил сносить несправедливость. Она, взяв дочку, тайком покинула мужа.

Прошла неделя, другая... в начале четвертой Фирсов написал Ивану Карьину, прося указать адрес жены. Короткий ответ гласил, что «поскольку Иван Карьин ее не избирал, то Иван Карьин и не знает, где его избранница».

Да и действительно Карьин не знал, что сталось с нею. Впрочем, он обладал завидным даром не изнурять себя излишними хлопотами. Когда лет десять — двенадцать спустя бывшая жена его друга написала известному конструктору, автору книги «Танк», просьбу о содействии ее дочери, Карьин запнулся и не без усилий вспомнил ее. Однако, когда его просили помочь, он помогал охотно. Помог и здесь. Но с женой друга встретиться не высказал желания и в дневнике, который он вел аккуратно, уделил «драме юности» семь строчек. Ему и в голову не пришло, что он косвенно виновен в неудачно сложившейся жизни своего так много обещавшего друга, вскоре после их ссоры умершего...

«Да так ли уж отец виноват? — переспросил сам себя Марк, прочтя еще раз страницы дневника, относящиеся к событиям в Коктебеле. — Кто знает и кто скажет правду? И в чем она? И как и что можно исправить, если в самом деле произошла ошибка? Ведь это было так давно...»

И однако, несмотря на все отговорки, воображение продолжало работать. Не будучи завершителем отцовского дела в области вооружений, Марк хотел в области нравственной быть ему равным, а то и выше его... Он поступил так, как завещал отец: вырвал из дневника стра-

ницы, относящиеся к истории с Фирсовым, но из своего сердца он их вырвать не хотел, да если б и хотел, то не смог бы.

Без труда он нашел адрес жены покойного Фирсова. Ответ пришел через полтора месяца и не с Украины, где она учительствовала в последнее время, а из Ногинска, под Москвой, с ткацкой фабрики, от Настасьи, дочери покойного Фирсова. Мать умерла несколько лет тому назад. Дочь живет хорошо — впрочем, в подробности она не пускалась, — и если ему хочется узнать что-либо о покойной, она сообщит... Почерк ее показался ему хмурым, несчастным.

Умерла! Уже одно это слово говорило ему, что жизненные сплетения труднее распутать, чем сеть, застрявшую в корягах. И, однако же, он страстно возжелал распутать то, что не распутал его отец. Девушка несчастна! Не он ли обязан сделать ее счастливой? Он представлял дружбу... любовь наконец!.. Пламень, которого недоставало его отцу и которого у него, Марка, в излишке, он соединит с пламенем, унаследованным ею. Встречи с другими девушками, бывшие у него раньше, ласковые слова, им и ему сказанные, — лишь предвестники очаровательного будущего, которому суждено начаться после встреч с нею...

Встречи же не было. Соответственно духу его современников он желал встать перед нею человеком высшего нравственного уровня. Он со дня на день откладывал поездку в Ногинск. Переписывались. Тем временем сажал на солонцах лес, хлопотал о добавочных ассигнованиях уже строящемуся комбинату, останавливал соснами пески, засыпающие хлебородный район. Началась советско-финская война. Он записался добровольцем. Его направили в школу лейтенантов артиллерии. Он окончил ее как раз перед самым заключением мира.

«Судьба, — сказал сам себе Марк. — И вообще такому пустоплету не место в мире...» Однако, несмотря на мрачный тон размышлений, подобных этим, Марк в своем деле преуспевал, сам не понимая почему. Фраза, сказанная о нем в наркомате, услышь он ее, многое бы разъяснила ему: «Человек мрачный, но работник первоклассный». В начале же Отечественной войны авторитет Марка поднялся еще выше. Он сразу же получил назначение в комбинат на Каме и опять-таки не понимал почему.

Но он не спешил в комбинат. Он ждал повестки. Он запасной, он артиллерийский офицер и должен находиться на войне! Не дождавшись вызова, он направился к областному комиссару. Тот ему: «Когда будет потребность, вызову». Марк наговорил дерзостей, снялся с учета и уехал в тот же день в Москву. В наркомат, разумеется, он не явился: «Не до бумажного производства теперь, да и вообще хорошо бы поменьше бумажек...» Он пришел к известному генералу, другу отца, и получил рекомендательное письмо в оливковый особняк на Новинском...

IV

Высоко сжатое поле, солома почти по колено. Неужели — комбайном? Здесь — на Бородинском поле? А почему бы не быть комбайну на Бородинском поле? Правда, машина, видимо, попалась изношенная — много огрехов, хватала как попало, но, возможно, беда не в машине, а в комбайнере, который боялся немецких штурмовиков и больше глядел на небо, чем на убираемое поле. Двенадцатое октября. Немцы приближаются.

Небо сердитое, бледное. Облака похожи на морщины. Все просырело так, что упадет две — три капли, и какая-то слизь с чесночным запахом наполняет воздух, рот, ест глаза.

Торчащие клочья побуревшей соломы, тронутой первыми заморозками; мокрые заплаканные осины; золотом покрылся дуб, много берез и там, подальше, в поле, обелиск с узловатым куполом... Э, да не до того! После рассмотрим купола.

В землянку он спускался боком, плечом вперед, задевая костистой и мускулистой спиной о наспех, криво сбитые стенки.

Возле поставленных один на другой пустых и гулких ящиков из-под консервов сидели двое: подполковник Хованский, резкоскулый, с узкими глазами, с длинными седыми баками, и врач Бондарин, с наружностью врачебно-внушительной и утомленной. Профессию его Марк определил тотчас же: «Мыслящий рецепт», а про Хованского решил: «Лубяная душа, глиняные глаза, тупые руки» — и сразу ошибся. Хованский — сообразительный, хитрый. В ответ на рапорт Марка подполковник, рисуясь, приподнялся и сказал:

— Хованский, Бондарин. Учились вместе в университете, с той поры дорожки едины и — спорим. Судьба одобряет споры, сталкивая нас...

Рассуждая так, он точил о скользкий и темный камень бритву с черепаховой ручкой. Намылил часть широкой щеки, взглянул в зеркало, будто озабоченный: его ли лицо там? В то же время он присматривался к Марку, что стоял у порога, расставив ноги в чугунных сапогах, наклонив голову со свисающими на лоб черными волосами.

«Горяч конь, — думал Хованский. — Умно править — далеко увезет! А силища-то, силища! Вот тебе и наследственность: профессор-то был тоще щепки. А взгляд, тьфу, спаси господи, не сглазить бы... — Хованский, как и многие долго воевавшие, был суеверен. — Огонь — взгляд! Куда бы мне его? На вторую батарею? Там политрук — магистр философии, наводчики — из студентов. Туда Гегеля надо посылать. На первую?.. Нет, пошлю на третью: покойный Матвеев горяч был, да и его пыла не хватало. А этот — угодит. Этот непременно угодит! И дело третьей предстоит горячей некуда. Пошлю на третью!» Вслух же он говорил, быстро водя бритвой по щеке:

— Спорщики! Судьбы людские решаем. Сидим напролет ночи, а расставшись, три шага не отойдя, наговорим друг о друге такое, что, кажись, и минуты нельзя вместе пробыть.

Хованский мнителен, и ему нравится расспрашивать о лечении и профилактике. Это не значит, конечно, что он боится боя. «Бой — одно, болезнь — другое». Часто он беседует с Бондариным еще и потому, что тот — единственный из всех врачей — находит у подполковника рак печени. В бондаринские диагнозы Хованский верит, но лекарства его принимает с осторожностью: «Практика у него слабая, но знания — ого!» Лекарства, выходит по Хованскому, надо относить к практике, и он немножко прав — Бондарин много лет неудачно экспериментирует.

Бондарину в Хованском нравится ум, совершенство человеческого организма, который, несмотря на сокрушительную болезнь, силою воли — чудовищной, сказочной — заставляет себя трудиться, бороться, преодолевать несчастья и оставаться бодрым, размышляющим. Хованский в противоположность многим военным скры-

ген — не делится душевными волнениями. В сердце его, несомненно, какая-то семейная драма, но он предпочитает о ней не говорить. У Бондарина — несчастье с медициной, а дома — полная и счастливая чаша, и ему хочется узнать: какие же бывают семейные несчастья? Хочется, разумеется, и помочь! Вот и сейчас, рассуждая с подполковником о семейной драме профессора Фирсова, дочь которого Настасьюшка из Ногинска попала на рытье укреплений, а оттуда в стоящий рядом его медсанбат, он, пробираясь между всеми хитросплетениями чужой жизни, мечтал копануть и в душе Хованского. Хованский и здесь увильнул, ловко переводя разговор на свои служебные успехи, что всегда раздражало Бондарина: по службе ему не везло. Поэтому Бондарин зол, насупился и не скрывает этого.

Марк не понравился ему с первого взгляда. Самоуверен, нагл — что за поза для офицера! — невероятно здоров физически, презирает, само собой, медицину и будет испуганно визжать на операционном столе, когда ему станут удалять какую-нибудь бородавку. Отраженно злит и Хованский. Бондарин не отвечает на его вопрос: каким образом медицина способна гарантировать спасение от нелепой смерти на войне? «Тампоном Бондарина», работой, которую он сейчас, несмотря на смертельные бои с врагом, ведет!.. И, как всегда, Бондарин слегка преувеличивает, но ему не привыкать стать. Считая себя великим диагностом, он чаще всего ошибается в диагнозе. Считая, что умный способен изучить все и быть мастером в любом деле, он три года изучал теорию словесности и научился писать плохие стихи.

В землянке чадит керосином подпрыгивающая от канонады коптилка, пахнет свежеиспеченным черным хлебом и мокрым полушубком Хованского, брошенным в углу. Вошел писарь, и Хованский опять возвращается к мыслям о лейтенанте Матвееве, командире третьей батареи.

— Бондарин, вы знаете меня? Дед — кантонист, прадед — крепостной, убит под Севастополем! Не скрою, были в нашем роду и духовные. Дядя служил дьяконом. Но где? В гвардии Семеновском полку! Весь мой род — кадровое солдатство, привыкшее к войне. Сам я ранен одиннадцать раз...

— Одиннадцать раз и три контузии, — подчеркнуто

говорит Бондарин: дескать, желаете хвастаться — пожалуйста!

— Одиннадцать раз. Но Хованские на рану сросчивы! Значит, смерть видал во всех образцах. В самых неприглядных! Храбрейшие валялись у ней в ногах, вымаливали минуточку, еще секундочку жизни! Видал — в шелках, в бархатах, равно как и нагую, наглую, и все же не могу примириться, когда умирают такие, как Матвеев. Не могу!

Он стукнул кулаком о консервный ящик. Коптилка, сделанная из гильзы артиллерийского снаряда, подскочила и покачнулась. Врач поставил ее на место и поправил фитиль. Хованский раскрыл маленький овальный чемоданчик, достал флягу, налил чарку, протянул врачу. Тот отказался. Тогда Хованский, не угощая Марка, а только кончиком глаза наблюдая за ним, выпил, сплюнул и понюхал корку черного хлеба, лежащую на мокром полушубке.

— Куда, Бондарин? Обождите, выйдем вместе.

Хованский, упершись локтями в ящик, положил широкую голову на длинные и твердые, как колья, руки с толстыми, словно вожжи, жилами.

— Дмитрий Ильич, как вы относитесь к опере?

— Изредка бываю.

— Я не об этом, а о факте вашего отношения к оперной, равно и к симфонической музыке. Что вы скажете, лейтенант?

Голос — небрежный, насмешливый, будто дразнит этот лубяной голос.

— Ни разу не был в опере, товарищ подполковник. И вообще к искусству отношусь хладнокровно, исключая кровных коней.

Подполковник повернул к нему большую голову со сверкающими азиатскими глазками и подумал: «Ну да и мы не из пены морской родились, а из земли. Мы вас научим любить музыку». Он взял карандаш и провел им над головой.

— Слушайте!..

Он высоко, под потолок, поднял карандаш. Молчание воцарилось в землянке.

Наверху кто-то огромный и сверкающий жевал железными челюстями железо. Затем послышались такие звуки, словно лопались металлические пузыри. Запахло

раскаленным металлом. Унылый, отдающий в костях звук, вопиющий об одиночестве, о смерти, поднялся и замер. Его сменила торопливая акающая бестолочь, вопящая о чьем-то неистовстве, исступлении...

Хованский опустил карандаш. И звуки, словно подчиняясь дирижерской палочке, неожиданно притихли. Коптилка качалась едва-едва.

— Что же вы услышали, Дмитрий Ильич?

— Канонаду, Анатолий Павлыч. Канонаду начинающегося столкновения за Бородино.

— Частности прочли?

— Прочел: мне предстоит много работы. Разрешите уйти?

— Слушайте! Начинается атака...

— Откуда вы взяли — атака? Я, слава богу, не маленький, слышу. Подготовка артиллерийская и та не началась, а он — атака!

Опять загремело, заухало, заохало.

Хованский, сыпя артиллерийскими терминами, высоким голосом стал выкрикивать итоги действий, которые он считал в громе боя. Лицо горело вдохновением.

Марк невольно залюбовался этим рослым офицером, разбирающимся в звуках войны, как в своей записной книжке.

— Резюмирую: атака с фланга была поручена батальону капитана Дашуна. Шляпа! Слышите? Ра-ра-ра!.. Наши отступили. Противник в прочной круговой обороне отражает атаки с любого направления. А? — Он указал, куда стрелять, сколько выпустить снарядов, а затем продолжал, обращаясь к Бондарину: — Слышите?! Немцы перегруппировывают свои огневые средства, тянут их на меня, снимают с фронта. Ух, приободрился капитан Дашун! Смотрите, лоб вытирает. Лоб вытирает, а?!

Он вытер лоб, как, несомненно, вытирал его капитан Дашун. Всякому другому — но не Марку — подполковник мог показаться пьяным или рехнувшимся. Марк же понимал, что такое яростная и вершинная страсть.

— Рождается новая решимость биться! Дашун оставляет на фланге одну роту, она ведет — слышите?.. — огонь. С двумя другими капитан крадется к опорному

немецкому пункту с фланга. Использован танковый десант, не так ли? Слышите? Браво, капитан, браввиссимо! Три танка и следовавшие за ними сибиряки... это они так четко, ровно стреляют!.. Бондарин, берите трубку и узнайте результат атаки капитана Дашуна. Атаки!..

— Не было атаки, — упрямо твердил Бондарин.

— Была. Берите трубку на «Орел»!

Бондарин спросил. Кладя трубку, сообщил — не без почтения:

— Ваша правда. Подразделения капитана Дашуна ворвались в населенный пункт и ликвидировали немецкий гарнизон.

— Умею я читать партитуру, Бондарин?

— Опыт.

— Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо! Спорить мне с тобой некогда: сейчас немцы на меня всю свою злость обрушат. Надо пойти к ребятам. Пойдем, Бондарин?

— Я к себе, в медсанбат.

Они вышли из землянки.

Подполковник угадал. Гул орудий заметно приближался к позициям полка. Правильный, огромный, с едва уловимыми пролетами тишины, он сжимал сердце и наполнял чернотою жилы. Подбежал Никифоров, комиссар полка:

— Товарищ подполковник, противник сосредоточил против нашего полка все свои огневые средства!

— При известных условиях есть возможность их уничтожить, — ответил Хованский.

Он вплотную приблизился к Марку.

— Каково здоровье, лейтенант, как сможете?

— Сможется, товарищ подполковник, — отозвался Марк. — Прошу дать место в бою.

— Назначаю командиром третьей батареи, лейтенант! Вместо убитого Матвеева. О твоем отце слышал. Нешаткий был мужчина, окончательный! Поживем изрядно и мы. Ухожу и приветствую. На всякий случай передаю тебе тайну музыки: основой действия боя должно быть стремление атаковать во что бы то ни стало. И атаковать... как? Со-о-окрушительно-о!

V

Хованский ушел давно. Марк ждал, когда же появится обещанный командир, который его поведет и представит третьей батарее.

Рощица содрогалась от разрывов. Выглянуло солнце. Запахло прелыми березовыми листьями, грибами, мокрой землей, навозом. Где-то, у коновязи, после каждого разрыва почесывалась лошадь, тонко звякало железо, точно соединялись вязальные иглы. Вдоль рощи летело несколько ворон.

Врач, сидевший на поваленной березе и прочищавший веточкой мундштук, разглядывая на нем отверстие, сказал:

— Видали — вороны? Бой — боем, Бородино — Бородином, а жизнь все-таки говорит: пускаю вас до своей милости. То есть пусть двигаются по реке льдины, сбиваются, образуют заторы, но под льдинами идет, как всегда, существование живых особей. Плывут рыбы, ворочаются рачки...

— А человек на опасной льдине все же наверху.

Медсанбат врача Бондарина с юга подъезжал к Можайску. Принесли увечного: в работах по рытью укреплений плотнику бревном перебило ногу. Одна из девушек, работавших подле, наскоро перевязала плотника. Бондарин, увидав перевязку, изумился мастерству. Он приказал привести к нему девушку. Это оказалась Анастасия Фирсова, жительница Ногинска, комсомолка, бывшая еще недавно ткачихой. «Медобразования не получала! Перевязку сделала согласно санминимума». Бондарин сказал: «Дар у вас, гражданка» — и пригласил ее к себе в медсанбат дружинницей. Девушка согласилась, но поставила условие: взять и подругу — Тоню Владычеву.

Ум Бондарина, пытливый, трудолюбивый, неустанный, отставал от таланта только на один шаг, но какой это мучительно тяжелый шаг! Бондарин всю жизнь свою открывал, искал, посылал «заявки» и всегда опаздывал. Молодой или пожилой профессор только что, оказывается, пришел к таким же выводам: именно этим способом излечивается именно эта болезнь! Возьмем малярию. Бондарину современные методы лечения малярии кажутся нерадикальными. Он уезжает в ужасные места,

где комаров больше воздуха. Здесь, среди поколений, в крови своей носящих иммунитет, он найдет такое лекарство, которое... короче говоря, его, больного, насильно увезли из глухого уголка Ленкорани. Лекарство он обнаружил, но на другой день после того, как его открыл ныне всем известный доктор Фабусов, открыл, не выходя из удобной лаборатории большого города. Тем не менее Бондарин радовался своим открытиям. Однако же разум есть разум. Порадуешься зря один раз, порадуешься другой, да и устанешь. Приблизительно в двадцатый раз бессмысленной своей радости Бондарин усомнился в своих талантах. Он стал раздражителен, работы, им исполняемые, не отличались уже тщательностью.

В семье он был счастлив, и была она у него большая, удачная. Старший сын, химик, профессорствовал; первая дочь заведовала психиатрической больницей; вторая — видный специалист по туберкулезу; младший — печатает стихи. Бондарин говаривал: «Моя семья — самое лучшее мое открытие», и на глазах его показывались слезы, а так как ему было уже под шестьдесят, то слезы объяснялись любовью к семье. Гитлеровцы идут? Неужели Бондарин, сын народа, весь выкипел и выцвел? И подумалось ему: «Покажем ловкость!» Все прошлые труды казались ему теперь рожденными преждевременно. Пусть под шестьдесят, но он покажет проворство на пользу людям. Мысли творческие словно бы укисали, выбраживали. Он ждал вдохновения. Встреча с Настасьюшкой принесла его. Перевязка, ею сделанная, навела на мысль — и на такую новую, что от волнения зарябило, забилось сердце. «Батюшки, так ведь это и есть «тампон Бондарина»!

Благодарный за намек, лишенный зависти и преклоняющийся пред талантом, он всячески помогал Настасьюшке. В какие-нибудь две недели она узнала то, чего не узнаешь иной раз и в три года, но и дарование ее было не простое, а, так сказать, с зарницами. Одна беда — при виде книг, которых, к счастью, у врача оказалось мало, лицо ее тупело и превращалось в пустырь. На войне не до расспросов. Все же Бондарин с отеческой пытливостью захотел узнать о прошлом Настасьюшки. Она и передай, что говорила ей мать. И, кстати, уже рассказала о переписке с Марком. «Лесной человек, удивительный»,— сказала она, будучи и сама не менее удивительной.

Поле, рощица, овражек, какой-нибудь захудалый са-

дик, даже огород — умиляли и радовали ее несказанно. «Мне бы — знахаркой, — говорила она, широко раскрывая голубые и бойкие глаза, — я б тогда смерть, как лиса, со следу сбила, меня бы до кореньев допустить». Все времена года, все птицы и звери, все, что цвело и веселилось, было близко ей. Соловьи и осины, подберезовики и кроты, дубы и пескари, закаты, восходы, росы, ветра — все, все щекотало ее сердце.

Идет мимо нее красноармеец. В коротеньких сапогах, открывавших ее кругленькие икры, в юбочке хаки, в гимнастерке и пилотке, воззрилась она на березовую рощицу. Говорит солдату:

— Наберегли, накопили, нахозяйствовали, а он — кто?.. Враг! Ему, наезжему, красоту такую отдать?!

Боец смотрит на лес. Думает о родных местах, вспоминает самые веселые дни. Ага! Свадебная гулянка. Зима, поближе к концу — время свадеб. И тут вот роща словно собралась на свадьбу. Невесты березы в талии обтянуты белым шелком с черными вышивками. Золотой газ реет над ними. В густом скопидомном золоте стволы сосен, ярки их иссиня-зеленые иглы, среди игл разбросаны шишки.

— Наезжать наезжают многие, — скажет красноармеец — пензенский или уральский крестьянин. — Да каково-то им придется уезжать? Мы нашу красоту грабить не позволим. Сила не тесто, Расея не квашня, понаскребем такое — вспухнут! Дай время.

— И я так думаю. Подвооружимся, соберемся, и будет ему плохо.

— А что ж? Не кто-нибудь — Советская Расея! Вот она какая — просторная.

Настасьюшка с восторгом передает этот разговор, подкрасив его слегка: фантазия — не ложь, фантазия — правда, да только попрытче. И летит та девичья фантазия по линии, добираясь до самых смертных окопчиков, забрызганных кровью, замощенных патронными да снарядными гильзами. Летит такая прекрасная, что всякому хочется с нею встретиться!

Говорят: «Хвали бесстрашно, перехвалить через край нельзя». Но кто знает наш народ, поймет, что это не так. Привыкший к едкому слову, он и в принятии похвалы и в отдаче ее — осторожен. Оно и лучше. В кремне огня не видать. Величайшим тактом Настасьюшки было то,

что веру в победу, веру в то, что неудачи временны, она сумела облечь в эти скромные и прекрасные описания русской природы. Поэтому и похвалы ее казались естественными, и вера ее — правдивой. Душе становился понятен глубокий смысл жизни. Сродно птице летать, рыбе плавать, а русскому быть красивым в минуты опасности!

VI

Между землянок со вздрагивающими трубами показалась фигура комиссара. Марк устремился туда. Когда он вернулся, Бондарин сидел по-прежнему, положив тонкие руки на колени, такие острые, словно напоказ. Среди рыжечьких волосиков тыльной части руки как пали несколько капелек с березы, так и лежат.

— Командира ищете? Зря. Он вас найдет. Насчет боя не беспокойтесь, бой сегодня не кончится. Война тоже. Прежде при Бородине бились день, теперь будем биться дней десять, двадцать... Курите?..

— Нет, благодарю вас. Разрешите узнать?

— Смотря что.

— Сколько лет подполковнику?

— Сорок три.

— О! Седой уже.

— Бывает... суть не в седине...

Он, нервно стуча мундштуком о ноготь, торопливо, точно наотмашь рубя, спросил:

— А вы, лейтеначт, и не подозреваете, что перед вашим приходом мы с подполковником имели рассуждения о вас лично?

— В списке пополнения моя фамилия значится, — сдержанно ответил Марк. И он хмуро добавил: — Благодарю вас за внимание, товарищ.

— ...Иван Карьин — имя известное... — без внимания к собеседнику, а будто рассуждая сам с собой, продолжал врач. — Машина много раз выручала в бою. Спрашиваю подполковника: «Не сын ли случайно?» Звоним в штаб. Угадал: сын.

— Я признателен весьма... Во время боя, да еще при Бородине... моя личность...

— В данном случае вы были не личностью, лейтенант, а канвою при другой личности, — сказал Бондарин.

Воспользовавшись тем, что лейтенант плохо слушает его, а разглядывает приближающегося к ним капитана Елисеева, врач внимательно осмотрел Марка. При первом взгляде он кажется дурно сложенным, косолапым, разметанным, при втором — находишь некую, допустим, лесную изящность, а при третьем — третий взгляд уже женский — влюбишься.

— Капитан, вы меня ищете? — заговорил быстро врач, суя танкисту портсигар. — Курите, курите, я только что. Докурился до глупых мыслей, до головной боли! Каков подъемчик перестрелки, а? С минуты на минуту самолеты появятся. Вы незнакомы? Лейтенант Карьин! Капитан Елисеев, сосед наш и выручатель!.. Вы ко мне, капитан?

Молоденький, только что умывшийся и весь прибранный, как оптический аппарат, капитан Елисеев, несомненно, всем нравился, и, несомненно, он знал это, и это нравилось ему. Взгляд его больших маслянистых и словно бы намокших глаз остановился на Марке — и Марку понравился этот взгляд, на что капитан ответил еще более ласковым взглядом, не без оттенка превосходства.

Но тут капитан вспомнил что-то.

— Карьин?.. Ох, боже ж ты мой, боже! Карьин? По верхней башне вижу — Карьин! Его голова! Сын Ивана?..

— Сын, — отозвался Марк, и ему никогда еще не было так приятно выговорить это слово.

Сильные и горячие руки охватили его. Капитан отскочил и, размахивая руками так, точно желая расколыхать всю вселенную, воззвал:

— Карьин! Сын! У тебя на мне долгу понаросло много. Получишь в любое время и в любом количестве! Благодаря тебе, может, тысячи русских жизней спасено.

— Это не я. Это — отец. Я ни при чем, товарищ капитан.

— Не скажи! Плоть есть плоть. Верно, дорогой доктор? Ты угадал, Дмитрий Ильич, я искал тебя, не спорю. Но, найдя тебя вместе с Карьиным, имею желание встречи вдвойне. Ты вознаградишь встретившихся: водкой и закусками, ха-ха? Мои машины ремонтируют. Есть полтора часа. Насущная необходимость ехать к нему в медсанбат, а, Карьин? К врачу?

Марк сказал:

— К сожалению... извините... мне надо на батарею. Я бы рад... в другой раз...

В ту же минуту появился давно ожидаемый командир, и Марк ушел.

Капитан Елисеев поглядел ему вслед:

— Предмет не бьющийся, не курящийся, не пьющийся, а?

— Вроде, — отозвался врач. — Он произвел на меня тягостное впечатление.

— Ну? А на меня — наоборот. Он... Он стоит сверх чего-то! Он живет громко, вроде меня. А отдыхая, опирается на тучи! Так, доктор?

— Вы, капитан, действительно опираетесь на тучи, а он...

— Не обижай Карьина, доктор. И вот что: я опираюсь на тучу, но на какую? Не на грозовую ли, Дмитрий Ильич?

— Вы о Настасьюшке?

— О ней. Чего скрывать? Фашиста бью, воюю — и в любом случае, самом распропогибельном, о ней думаю. Куда, на какую полку класть такое отношение?

— На полку любви.

— Не нравится мне это слово: любовь. Фокусник мышей своих и тех любит. Настало для меня время отгадать это слово. Страсть? Чувство?

— Аффект?

— Вот-вот, его еще недоставало. Аффект! Знаешь, какое слово, Дмитрий Ильич? «Всклонюся я другу, недругу: убери от меня ты подалее, не клади ты мне это словушко». Так у нас поется. И — названо оно: страдание! И опирается оно точно о грозовую... эвона, легка на помине, корыстится!

И он указал на север.

Оттуда, охватив уже четверть неба, поднималась тяжелая и обвислая, как мокрый мешок, грозовая туча.

VII

Отец его редко рассуждал о религии. Когда бабка, зажигая накануне праздника лампадку, жаловалась, что «к деревянному маслу не подступишься», отец говорил о некоем собирательном крестьянине Иване Сидорове, который «дорогонько платит за поиски правды, понеже в чем правды нет, в том и добра мало». В детстве Марк часто слышал об этом Иване Сидорове. Он казался похо-

жим на седого водовоза, по утрам медленно ввозившего во двор их домика зеленую бочку воды. Водовоз отчаянно, бабьим голосом, ругался, и Марк представлял, что вот так Иван Сидоров ругается, ища правду, и похожа та правда на подпрыгивающую в колеях зеленую бочку.

С детства запомнилось крепко: отец доставал старинную книгу в кожаном переплете с мягко звякающими медными застежками. «Здесь не религия, сударыня,— говорил он матери, — а красота». И Марк знал, что в этом отец не кривит душой. Красота — древние слова, розовые птицы, печально-радостный узор, пение, золотое, гладкое, легкое. На всю жизнь запомнился звучный колокольный голос отца, читающего древние сказания.

И оттуда шло это: «И бысть ему скорбь велия».

Тем временем третья батарея поднималась на холм, опускалась, выкатилась на берег реки, вдоль которого набиты мшистые сваи, тявкнула оттуда; обогнула излучину; промчалась мимо какой-то церковушки с тремя главами, со следами пулеметных очередей; и опять выкатилась к реке. Река теперь была другая и по размеру и по цвету. Узкая, в лозняке, насмешливо голубая, веселая, будто нет и не будет ей дела до войны, и неважно ей, что килем вверх торчит тут у берега катер.

Да, грузен труд артиллериста, тяжелы пушки, глубоки грязи, грозен и беспощаден враг, которого жди за каждым кустиком. Светловолосый, как в песне, Ванюшка Воропаев, крановщик с Уралмаша, сказал очень метко:

— На войне, товарищ лейтенант, угодником стать легко, а вот праведником попробуй.

Это значит — угодить просто. А знать правду войны, ее музыку, ее ритм — куда труднее.

И, стоя по колена в грязи, когда мутная, как кисель, холодная вода текла за голенища сапог, а проклятое орудие никак не вкатывалось на пригорок, а тягач глох, Марк думал: «О, как прав Воропаев, как прав! И ему легко, ибо он все-таки уже праведник, а я? Он-то ведь угадал уже музыку войны. И не он один. Вот он присматривается к орудию и сейчас так повернет его, что оно само вкатится. А я?»

Праведники? Хорошее слово, все объясняющее! О войне, ее смысле они говорят редко. О враге говорят теми же словами, какими на Руси испокон веков обзывают палачей, катов. Пленных провожают недобрым взором:

«Вожжи нужны, а то бы на осину». Все думы — возле орудия. И кажется, что помимо снаряда летит еще рядом с ним кусок их воли. На всякое затруднение, даже беду, уже готов выход. Прищуришься и глядишь согласно приказу, в ноль-ноль столько-то батарея на позиции и ведет огонь.

И, разумеется, далось это умение не сразу, но вот как далось, кто обучил и приладил, допытаться невозможно. Матвеев? Да, Матвеев, но до него был Петренко, а там — Самсонов, и десятки сержантов, старшин, рядовых — ловких, умных, ладных...

У Марка с батарейцами сразу установились правильные взаимоотношения. Они нравились Марку. А батарейцы рады были своему новому командиру. И похоже, что у всех чувство одинаковое — большая лодка, много сильных гребцов, у руля знающий, а главное — смекалистый. И этот смекалистый сам над собой чувствует сметку подполковника... Эх, всю бы жизнь так прожить: в отваге, в сметке, в ладу!

Бойчее себя чувствовал также и оттого, что с каждым часом понимал их больше и больше. В редкие передышки, чаще всего после еды, он присаживался к ним, слушая их разговор. Сперва он казался беспорядочным и даже бессмысленным, но вскоре стал обнаруживаться высочайший смысл.

Разговор обычно начинал сержант Никита Редлов, тридцатилетний мужчина с тяжелой челюстью и предобрым лицом. На сцену одновременно появлялись какой-то племенной рыжий бык в тонну весом, которого колхоз менял на ветряк, и вражда двух колхозов из-за неправильно срубленной сосны на кладбище. Редлов служил тогда в каком-то «Земельном управлении» и ездил, как он говорил, «ликвидировать этот сосново-бычий конфликт».

— Я им говорю: «Ну, чего блеете, мужики? Ловчей вас людей в области нету, а вы быка обменять не в состоянии». Тут они кричат: «Да зачем они у нас сосну срубили!» — «Постойте, говорю, давайте разложим событие на основные части». — «Это тебя, сукин сын, надо разложить да выпороть, а не нас!» — кричат, будто не понимают, а самим все очень хорошо известно.

— Кропотовцы-то? Село умнейшее! — подхватывает наводчик Стремушкин, бывший плотник, тощий, белесый

и самый говорливейший на батарее. — Я, товарищи, все области прошел и в Кропотове был три раза, а однажды в осень рубил им колхозный коровник — богатейшее здание...

— Так это ты, Стремушкин, сосну-то на кладбище срубил?

— Я знаю, кто рубил, — внезапно входит в разговор татарин Батуллин. — Я зимой катал им валенки, ух, теплый село, жирный народ, веселый...

Собрались люди с разных концов страны — а страна маханула и в Азию, и в Европу, и уперлась одним крылом в Америку даже, — и у каждого своя профессия: крановщик, плотник, пимокат, трубопроводчик, тракторист, огородник, тончайший знаток ягодных растений, печатник. Но, оказывается, все они бывали в Кропотове и, мало того, знают его наизусть! А велико ли село, сотня домов!

Неужели так-таки все и бывали? Не врут ли? Да и существует ли вообще это село Кропотово, племенной бык в тонну, ветряк и пень от нечаянно срубленной сосны на сельском кладбище? Почему удвинули это село дальше, в уральские степи, почему оно оказалось самым нужнейшим, что каждый из них побывал там? И почему там такие ловкие, умные, богатые и щедрые жители и такие простые дети? Мечта, созданная дружбой? Идиллия, порожденная войной?

Это сомнение возникло, когда Марк впервые услышал и разобрался, что дело с быком и сосной происходит именно в Кропотове, в уральских степях. Позднее, после двух — трех разговоров, сомнение исчезло — и объяснить и возникновение его и исчезновение было крайне трудно, да и нужно ли! Марк попробовал прервать их беседу о Кропотове вопросом:

— Редлов, вам известно, что мы стоим на Бородине?

— А как же, товарищ лейтенант? Политрук объяснял, а в Можайск приезжал профессор. Читал лекцию. Кутузов, Багратион, редуты. Что ж! Земля хорошая, противник и лезет.

— А мне, товарищи, — заговорил скороговоркой Стремушкин, — мне сюда идти было боязно. Это Бородино я в школе учил. Учитель сердитый орет на нас: «Чтоб от корня до корня мне подать». А оно длинное. И стоят на

нем, товарищи, богатыри. Ну как не смутиться?.. А пришел, гляжу: вдругорядь тот же народ стоит. Я тоже встал.

— Вдругорядь! — отозвался светловолосый крановщик. — А я вперворядь его вижу и скажу: парализовать хочет...

И он затейливо выругался.

— На «нее» и в щель взглянуть жутко, — отозвался кто-то.

«Она» — это смерть. О «ней» говорят редко и без насмешки. И обычно, когда скажут о «ней» что-нибудь, то разговор прервется и возобновляется о другом, обычно опять вспоминают о Кропотове.

Однажды молчание продолжалось дольше, чем обычно. А затем произошло совершенно неожиданное. Воропаев, светловолосый крановщик, вытер узловатые руки о штаны, пригладил усы и, простодушно глядя в хмурое лицо Марка, спросил:

— Разрешите обратиться с вопросом, товарищ лейтенант?

— Прошу вас, — сказал Марк.

— Настасья Федоровна Фирсова родственница вам придется, товарищ лейтенант, или — кроме знакомая — ничего?

Спросил он небрежно, словно бы походя.

— Знакомая, — сказал Марк с усилием. — Постой, Воропаев! Да разве она здесь?

— Ну, а вы будто и не знаете, товарищ лейтенант? Хозяйка! Все поле в ее руках. Смерть не страшна, а умирать противно, не то бы ранам радовался, потому — она лечит. Полевая терапия, товарищ лейтенант!..

Отступление, ужасающие бои, неудачи — и дружба, господство возвышенного, вера в себя, в отечество... Хорошо!

Праведники? Несомненно, праведники! Люди, шагающие с правдой и мечтой в душе. Люди из Кропотова...

VIII

— Сожалел небось, Марк Иванович, что тайгу да зверей оставляешь? Кто в лесу жил, знает: дерево, не говоря о звере, и то привыкает к тебе. Отходишь от него, ветру нет, а оно колышет-машет ветками, и на зенитках,

приглядись, роса. А солнце полуденное. Как это в лесотехнике-то называется, Марк Иваныч?

— Сентиментальность, Настасья Федоровна, — ответил Марк.

— Ну, кто меня так зовет? Зовут меня Настасьюшкой, будто няню. Да и по словам я старушка ведь, Марк Иваныч?

И она думает: «Не такой он, каким нашел его Бондарин, который, будь ему воля, запретил бы ей совсем встречаться с Марком. Давали парню ноши не по плечу — легкие, он и заскучал и подумал, что мир в ладонь. И стал он выбирать ношу потяжелее, и наткнулся на «ошибку с Фирсовым». Парень смелый, решительный, дай ему эту ношу — донес бы, не согнулся, да на ту беду вторая ноша: война. И уж две-то ноши: фирсовскую, непонятную, и вторую — военную, ему не унести! Значит, надо парню помочь сбросить ту, надуманную ношу — фирсовскую. Пусть себе, с богом, несет военную ношу — лишь бы донес. А донесет! Собой крепок, буен во хмелю небось, но душой и разумом чист. Жалко такого отпускать, да какая же с ним дружба? Медведь с ним дружи!»

— Я давно собирался увидать вас, Настасьюшка, — говорит Марк в напряжении. — И приехал бы, считай себя достойным встречи.

— Чем же один человек может быть перед другим недостойным, Марк Иваныч?

— Мой отец украл у вашей матери...

— Ах, Марк Иваныч! Откуда у вас эта муть? Чем ваш отец мог обездолить мою маму? Вы не думайте плохо о мамином счастье, Марк Иваныч. Да и о моем тоже. Мама моя вышла за другого, за бухгалтера, жили они хорошо, и бухгалтер был очень доволен, что вот она — с профессором разошлась, а с ним живет. И меня он любил. У ней от него двое сыновей было, они сейчас в Ногинске; один учится, другой на фабрике, где и я работала. На фабрике мне было хорошо, Марк Иваныч. Интересно. Траву ведь ткешь! Ткешь себе, и чудится, что целое поле превращаешь в кружева, в коленкор или в бумазею. Жалованье получишь, конфет купишь или варенья... Нет, я своей жизнью была довольна, Марк Иваныч. Я семилетку, слава богу, кончила, и теперь меня

Дмитрий Ильич на сестру милосердия готовит, сдам экзамен, на фельдшерицу учиться буду...

Марку подумалось, что разговор идет неправильно: не о том он мечтал, когда рисовал встречу с ней. И он сказал:

— Не сохранилось ли, Настасьюшка, в вашей памяти... это очень важно для меня!.. беседы с матерью... и ваш вывод: в той ссоре наших отцов — кто виноват?

Настасьюшка ответила совершенно безмятежно:

— Да кто их знает, голубчик! Не нам их судить. Все трое покойники. Раз так случилось, что поделаешь?

— Сделать многое можно,— горячо заговорил Марк,— и мы, дети наших отцов... взяв на себя все, что осталось от прошлого...

— О прошлом-то, Марк Иваныч, как раз больше всего и врут: оно ведь не встанет опровергать. И я так думаю, что взяли мы от прошлого только хорошее, в первую очередь жизнь. Вот стоим мы с вами на Бородине, а сколько о нем песен пето...

Еще более поспешно, боясь утерять мысли, Марк сказал:

— Да, да! Но о Бородине после. Дневников, записок у вашей матери не осталось? По запискам раскроем: в чем же дело, почему сломали жизни?

— Какие жизни, Марк Иваныч? Мамаша жила хорошо, отец помер — вольно ему было два литра после рыбной ловли пить, я... Да вы на меня гляньте: чем же я несчастна?

Марк напряженно вглядывался в нее. Черты лица ее мелкие, и вообще она вся какая-то мозаичная. Розовые уши ее немножко велики, она понимает это и убирает их под платочек, кокетливо улыбаясь и поправляя шинель, падающую с плеч, тем движением, каким цыганки поправляют шаль. Назвать ее несчастной? Почему же? Тогда чем же Марк способен ей помочь? Но почему же ему хочется говорить о помощи ей?

— Не-ет, разве я несчастная, Марк Иваныч? Я поднимусь высоко. Есть такие, которые считают, что человек не должен выше их носа подниматься. И начнут тебе свет застить. Тех я оттолкну! Я добрая, но отталкивать умею. Свету мне хочется, Марк Иваныч!

— Законное желание.

Она повела плечами. За этими плечами лесок, а за

ним поле. Темные воронки дыма стелются по нему. Из серой ямы неба пикируют самолеты. Сыплется на поле пулеметный град. Снарядом повалило дерево. Лохматое, плетенное из веточек, воронье гнездо упало с вершины и застряло, катясь, в колее дороги. Раненый, идущий по колее, перед тем как войти в палатку врача, смущенно очищает грязь с сапог о гнездо.

Марк уходил мелким, лесным шагом, высоко приподнимая ноги. Большие следы его сапог четко отпечатывались на обочине. Рыжая вода заполняла эти следы... Так ли она поступила? Правильно ли, что так быстро сняла с его плеч «фирсовскую» ношу? Она не налгала, нет — она несколько пофантазировала на тему о своем стремлении «повелевать». И относительно книг она не лгала — Лермонтова, например, она любит больше, чем Пушкина. Но ведь о своем счастье она не лгала? Да, она скоро будет счастлива... с кем?.. с ним?.. Не потому ли «отваживала», что любит другого? Нет, нет, как так можно думать?!

— Настасьюшка, Настасьюшка, что задумалась? Он — интересный, да? Интереснее капитана?

— Какого капитана, Тоня?

— Господи! Да капитана Елисеева.

— Стыдилась бы!.. Копеечные мысли!.. И вдобавок где! — на Бородинском поле!.. Мало работаешь, идем...

IX

В землянке мало перемен. Мозолит глаз коптилка, телефон с засаленным от долгого употребления шнуром, папка с приказами, испещренная отметками красно-синим карандашом, закапанная чернилами. По-прежнему вздрагивает коптилка от взрывов, и по-прежнему знамя, стоящее в углу, в клеенчатом чехле, слегка отделяется от стены; тогда кажется, что кто-то хочет его вынести, но, раздумав, ставит обратно. По-прежнему в землянке Хованский и Бондарин. Широкоголовый, недвижный, словно одеревенев, сидит за ящиками из-под консервов Хованский, прислушиваясь к чему-то такому, что слышит он один. Красные его руки оттягивают ремни портупеи. Во всех движениях его серьезная и умная многозначительность, и Марк не думает о нем: «философ музыкальной баллистики». Он думает другое, еще неясное, но, должно быть, очень хорошее...

— Лейтенант Карьин явился по вашему приказанию, товарищ подполковник.

— Садитесь, лейтенант.

И опять безмолвие; пристальное безмолвие, наблюдающее за силой и движением врагов, необозримые ряды которых теснятся на древнем русском поле... Странно, но после разговора с Настасьюшкой Марк стал чувствовать себя гораздо свободнее, даже к Бондарину нет прежнего, несколько презрительного отношения. Неужели придется заменить «мыслящий рецепт» — «мыслящим врачом»? — думает он, с улыбкой глядя на Бондарина.

— Как на батарее, лейтенант?

— Все в порядке, товарищ подполковник. Со снарядами есть неувязка, но снабженцы обещали...

— Снаряды привезли. Психическое состояние бойцов?

— В Москву врага не пустим.

Хованский взялся за телефон.

— Нет! Не отдавать ни в коем случае! — вскрикнул он, бросая трубку.

И он опять повернул лицо к Марку. Лицо это показалось Марку усталым, больным, измученным бессонницей сражения. Утешал Бондарин. Бурное волнение пылало на его лице. Он, видимо, страстно желал устремиться в разговор и сразить в нем кого-то:

— А, Марк Иваныч! Попали вы на именины войны. Стремление отбросить, покорить врага достигло наивысшего накала. Я это стремление ощущаю более резко, чем всегда. Я вижу, как всегда: ко мне все нити сражения, вернее, перерезанные нервы. Но они еще трепещут, и я вижу много. Многое, голубчик! «Тысячи падали. Но первые ряды казались целы и невредимы: каждый пылал ревностью заступить место убитого и безжалостно попирал труп своего брата, чтобы только отомстить смерть его». Эти строки были написаны по другому поводу. Но я прочел их сегодня... три ночи бессонных... перед сном читал Карамзина... прочту, уроню слезу, — страшна ты, история русская, и...

— История Европы еще страшней, — глухо кашляя, сказал Хованский. — Мы привыкли — Возрождение, французская революция, Кромвель, сорок восьмой год, Коммуна... Это — окна. А о доме судят не по окнам. Вы в простенки взгляните! Виселицы, пытки, костры, насилия, надругательства над нациями, искусством. Рыцарство? Ха-

ха! А вот в результате исторического шествия всей этой сволоты и появляется великий гной, мировая гангрена, которую мы с вами сегодня, изволите видеть, лечим, Дмитрий Ильич.

— И вылечим, Анатолий Павлыч, вылечим, клянусь!

— Что мне ваши клятвы? Берегите их к концу.

— Концу чего?

— Сражения. Там они понадобятся, когда придется клясться, что с поля не уйдем, пока не падут враги. Впрочем, что о вас заботиться? У вас жару на сотню клятв хватит. Молодая у вас кровь, Дмитрий Ильич!

— Да и у вас не княжеская. Прошлый раз я, простите, злобствовал и, кажись, назвал вас поповским сыном...

— Поповский сын не позорней какого-нибудь другого. Мне-то все равно: поп ли, дьячок ли, купец ли, а лишь бы папаша. Не видел я папаши! И матери не знал. Дед, сказывают, из дворовых, а фамилия — княжеская. И за княжескую кличку бежала за ним всегда насмешка, отчего дед и пил нещадно. А может быть, просто выпить предлог искал? Глупости все эти фамилии, двадцать пять рублей им цена. Суть не в этом. В другом. То, что я вижу в вас, Дмитрий Ильич, трепет от труда! — Он глубоко, будто на столетие, набрал в себя воздух и сказал: — Труд — самый великий меч человека, его защита и его счастье. Платон в «Федре» сравнивает душу человека с телегой, запряженной парой волшебных коней. Кони-то хоть и волшебные, но один из них с пороком, норовит, негодяй, вместо верха — вниз. Но возница мудр и тверд. Благородный, трудолюбивый конь пересилит порочного, вывезет. Вывезет, как вы думаете, лейтенант?

Марк сказал:

— Он уже вывозит, товарищ подполковник.

Хованский захохотал:

— Вот оно, великодушие молодости! Они хотят разделить славу с отцами. И правы! Отцы тоже не дураки. Например, врач Бондарин, вам, я уверен, сегодня пришла в голову великая мысль? Вы накануне открытия! Человечество с легкостью будет залечивать раны! В природу надо еще много вложить труда. И вы вкладываете, Бондарин, а? Читали вы первую книгу Бытия, лейтенант? Нет? Еще прочтете. В конце шестого дня: «и увидел бог все, что он создал, и все хорошо весьма». Обрадо-

вался. А почему? Да потому, что был уверен — придут Бондарины и поправят то, что недоделано, а недоделанного много: и в природе и в человеке! Например, болтливость. Да еще во время боя.

— Болтливость — порок, если бой не налажен. И дай бог нам побольше такой болтливости, как ваша, Анатолий Павлыч.

Хованский опять захохотал, широко раскрывая темный рот.

— Начальник и подчиненные! Речь представителя подчиненных по случаю юбилея начальника. Впрочем, перед тем начальник хвалил подчиненного.

Марку было чрезвычайно трудно следить за беседой. К тому же подполковник явно многословен, а врач — излишне и даже бессмысленно горяч. «Не скрывается ли здесь, как и прошлый раз, что-то иное? — встрепенувшись, подумал Марк. — Спорят они о труде, а думают обо мне». Но, пожалуй, на этот раз было другое.

Бондарин достал портфель, вытащил оттуда пачку поспешно набросанных заметок. Посыпались медицинские термины. Хованский, к удивлению Марка, превосходно разбирался в медицине. Даже сквозь свое невежество Марк понял, что подполковник высказал несколько дельных мыслей. И это наряду с тем, что он отдает приказания о бое, выслушивает донесения, соглашается или возражает своим помощникам.

К Марку они оба относятся теперь по-другому. Почему? В бою никаких особых дарований Марк еще не проявил. Он был послушен, не больше. Для него в бою хорошо и то, что дисциплинирован, но разве не нужна в сражении выдумка, молниеносное вдохновение? «Такими разве хаживали в бой деды наши?» — «А разве ты знаешь какими? Бывало ходили такими, а бывало, придя, делались другими. Мы знаем начало и конец действия, а самый процесс его кто уловил? Кто расскажет мне истинную музыку прошлого сражения, когда вон, по словам Хованского, до сих пор спорят о том, как протекала Бородинская битва...»

Промежутки в буре предвещают еще более ужасный всплеск ее.

Внезапно канонада прекратилась. Наступила тишина, да такая, что упади пылинка — прогрохочет громче грома. Сырой холод потряс Марка.

Хованский откинул назад плечи. Из угла, из тьмы, выступил долговязый писарь. Держа шинель двумя пальцами, он подал ее Хованскому и вышел торжественно, словно на цыпочках. Хованский надел шинель, закутал ноги, опять уселся насупившись. От его шинели пахло табаком, машинным маслом, мылом. Из одного кармана торчало полотенце. Должно быть, ходил на речку окунуться, да и забыл вынуть — купался он, говорят, до льда.

— Воспитывался я в военной среде, знаете, — сказал он, редко моргая длинными ресницами. — А военная среда к женщине на словах относится хорошо, а на деле — значительно хуже. Здесь, Дмитрий Ильич, тоже не мешало бы подлечить среду. Был я однажды на маневрах. Пришел из Рязани — стояла наша часть тогда в Рязанской. Батарею мою поставили на хуторе. Так, одно слово, что хутор. Торчит полугнилая изба среди полугнилого поля, у гнилого болота, и вокруг темень, ветер, осень, жуть. Жена у меня тогда в городе находилась. Думаю: что бы хоть жене приехать? Да откуда она узнает, что я здесь? Маневры, бросают влево — вправо, бросили на хутор — пятые сутки неизвестно для чего. И вдруг трынь-трынь — тогда еще колокольчики водились — въезжает пара. Она! И была у меня дочка трех лет. До того часу, как они сюда, на хутор, въехали, не помню, как относился я к ней. Растет — ну и расти!.. Въезжает пара, жена возле ямщика, сама белей мела. Говорит: «Ты?» — «Я, мол. Что случилось, в чем причина приезда, да и как нашла?» А она дочь сует в руки, шепчет: «Не могу, тоска загрызла, объясни, что происходит со мной?» — «Да глупость, мол, происходит! Зачем приехала? Что отвечать начальству?» — «То и скажешь, что тоска». Пожили они у меня день. Я настаиваю: «Надо уезжать, и без того неприятности». Уговорил. Да и жена поуспокоилась. Правда, у меня сердце ныло. Выйду, погляжу на небо, небо в тучах, и тучи те прямо у моих сапог. Махнешь направо — дождь, налево — слякоть, а в полях что-то катится, и воет, и свищет. Вдуматься по сути дела, самая обыкновенная русская непогодь, которую и бурей-то, собственно, назвать нельзя. А тоска непогодная, туманная! Поехали. Через день непогодь как топором отхватило, батарея моя вышла к месту назначения, и в каком-то районном центре получаю телеграмму: «Ваша супруга, товарищ командир,

скончалась». Поскользнулись кони, когда ехали от меня, покатило тарантас по откосу, а тут река, омута — и захлестнуло. О дочери ни слова. Я телеграфно спрашиваю. Молчат. Я — в город. Уже похоронили обеих! Я пришел на могилку. Кладбище старинное, в деревьях. Деревья как золотым металлом осыпаны. А я стою, гляжу на этот темный холмик, где еще следы лопат — приглаживали землю могильщики, и думаю: «Ведь вот отчетливо помню, что полюбил их неслыханно, когда сходили они с крылечка и над ними простерлось наше бессонное небо. Полюбил ведь? Вчера пылало сердце, а тут захирело в сутки?» Что это? Нелепости в жизни? Предчувствия? Или случайности, которые сопровождают каждую бурю? Этих ответов я дожидаюсь сейчас, а тогда была просто мука, звериная, грубая мука. И самобичевание: не будь бы я годами холоден, разве бы они ринулись ко мне? Дождались бы!.. Простите, я вам не повесть читаю поучительную о сгоревшем доме, а у меня такая своеобразная манера отдыхать в затишье. Я просматриваю карты, на которых бит, перед тем, как взять карты, на которых выиграю.

И прояснившимся, великолепным голосом, напомнившим Марку голос отца, он спросил с отменной простотой:

— Хорошо вы встретились с Настасьюшкой?

— Хорошо, — ответил Марк и не солгал. Чувство, оставшееся после встречи, было подлинно хорошим, словно побывал в большом, отлично содержимом фруктовом саду. Выразить это чувство трудно, но надо. Хованский ждет. На добром лице Бондарина тоже напряжение. Марк, немного помявшись, сказал: — Видите ли, товарищ подполковник...

— В таком случае не трудно сказать — Анатолий Павлыч.

— Я боюсь нагрубить, Анатолий Павлыч, если попытаюсь передать мои чувства, испытанные мною при встрече с Настасьюшкой.

— Раз боитесь нагрубить, значит, не нагрубите.

— У меня осталось такое впечатление, — сказал Марк, уже повертываясь к Бондарину, — что я ложусь спать в двенадцать, а она в восемь. Я работаю в ночи. Она — днем. А все же для нас обоих солнце блестит одинаково прекрасно...

— Как здоровье, лейтенант?

— Превосходно, товарищ подполковник.

— Отправляйтесь на батарею: она нацелена на врага; батарея, вообще говоря, хорошая. Но встречаются неприятные мелочи, наблюдайте за ними внимательно. Знаете, шелуша орешки, тоже наешься вдоволь. Поприглядитесь.

— Есть приглядеться, товарищ подполковник.

X

Да и приглядываться не пришлось.

Два разведчика — Батуллин и Прокопьев отправились узнать, что творится у противника. Три часа идет редкая перестрелка. Противник к чему-то готовится, перегруппировывает силы. В разведке Прокопьева ранили, и в это же время фашисты открыли сильный минометный огонь. Батуллин, «не выдержав техники», по его словам, покинул товарища и прибежал на батарею. Политрук и Воропаев, первые встретившие его, говорили, что никогда они не видали такого испуганного посинелого лица.

— Мертвец, и тот чище, — добавил Воропаев.

Добро, что случайно оказались под рукой санитары, которые и вынесли Прокопьева! А если б их не было? Погиб бы хороший боец, пал бы позор на батарею! Уже сейчас подполковнику известно... откуда?

— Откуда известно?! Не знаю! — тем же несколько беспечным голосом сказал крановщик.

Марк приказал привести Батуллина.

Приближалась ночь. Торопливо, точно подводя счет, били по лесочку немецкие минометы. Батарея им не отвечала. Спрятавшись в лесочке, на полянке, возле старинного колодца, заросшего высокой крапивой и лопухом, батарея бросала снаряды на левый фланг, к реке. Сюда, по предположению Марка и по словам разведчиков, движется основная сила удара немецких войск.

Ковыляющей походкой, выкидывая вперед каблуки, подошел Батуллин. Лицо его, раскосое, круглое, было так бледно-прозрачно, что казалось — можно разглядеть сквозь кожу решетку костей. Увидав это виноватое лицо, политрук и будущий сержант Воропаев потемнели, точно сейчас разглядели трусость.

И тут-то ужасный взрыв ярости, которого так страшился Марк, охватил его. Наклонив голову с просторным, заполненным вспухшими жилами лбом, расставив чугунные сапоги, сумрачный, вздрагивающий, он ворчал глухим голосом, от которого Батуллин сотрясался больше, чем от пикирующего штурмовика.

— Глядите на него! Всматривайтесь!..

— Товаришш командир, товаришш литинант... — бормотал Батуллин, медленно ворочая треснувшими от внутреннего жара губами.

— Уходи! Уходи, чтоб батарея тебя не видала! Уходи под минометы! А оттуда приведешь «языка». Слышишь? «Языка»! Немецкого! Без «языка» не пустим! Налево кругом!..

Батуллин сделал «налево кругом» и, как был без шапки, без винтовки, так и пошел. Уже по дороге добряга Воропаев нагнал его и вручил ему винтовку:

— Ты ничего. Ты не бойся, Батуллин, главное дело! Ты считай вроде меня — весело пожито, красно похоронено.

Батуллин неожиданно рассердился. Зубы его сверкнули. Лицо исказилось.

— Кто хоронись? Не буду хоронись! — прошипел он и скрылся в голых кустах.

Воропаев глядел на размеренно вздрагивающие ветки кустарника. Верх их еще зеленоватый, а низ уже надел темную шубу зимы, закутавшись дебелым мхом. «Дал маху лейтенант. Уйдет поэзия!» Разговоры о домашности, которым часто предавался Батуллин, светловолосый крановщик называл «поэзией, детским дерьмом». То ли дело Уралмаш или хотя бы Кропотово, товарищеское веселое село, работящее, вдумчивое, где все друг за друга, каждый другому наседка. «Жалко лейтенанта, надо его поберечь: кропотовский парень, оттуда! Только как же это он, при кропотовском уме, маху дал?»

Но оказалось, что лейтенант маху не дал.

Батуллин вернулся с «языком».

А перед его приходом было жарко.

Батарея, понимая, что все ее спасение в точности работы, действовала с чудовищной, невозможной, казалось, для живых существ точностью. Хотя позиция была новая, но каждый шаг по неровной и незнакомой еще земле был рассчитан сразу: столько-то секунд на про-

верку. Чутким ухом батарея улавливает в трубке полевого телефона голос корректировщика, что «с пяти попаданий», «с четырех», «с трех»... «объект разрушен». Марк вносит сообщение в клеенчатую тетрадь, широкую, как тот чехол, которым обернуто шелковое знамя, — и да будет она священна, эта тетрадь, как знамя!

Чем сильнее сгущалась ночь, чем ниже спускались осенние тучи, до липкой влаги которых, казалось, достанешь затылком, тем чаще рассыпались пониже туч коварным, серебристо-желтым блеском вражеские ракеты, тем быстрее и удачнее сыпала в ночь, в наступающих немцев третья батарея свои смертоносные, злые снаряды. «Помирать хотите под иллюминацию? Пожалуйста!» — изредка говорил Воропаев, наблюдавший за подноской снарядов.

И ярость, которой был охвачен Марк и которая не исчезла с уходом Батуллина, а еще увеличилась, ужасающим своим восторгом охватывала не одного его, но и всех, стоящих рядом с ним. Подражая своему бешеному лейтенанту, солдаты, как и он, наклоняли головы, расставляли ноги и после залпа глядели на ракеты, будто по их блеску пытаясь угадать: сколько же уничтожено сейчас гитлеровцев?

Давно от сотрясений обрушился древний колодец, стоявший небось с Наполеонова нашествия; давно осыпались деревья, засизевшие было осенним инеем; давно в волдырях привыкшие к работе руки подавальщиков снарядов, а командир батареи неутомим. Он смотрит на приборы, проверяет радиста, телефонирует и чрезвычайно радуется, когда ему удается переброситься по телефону словом с Хованским, который почему-то тоже в эти часы охоч с ним поговорить. Говоря, он представляет себе Хованского. Голова его, в седом жестком волосе, широка, как кастрюля, а тело длинно и тонко, будто тесина.

— Как можется, лейтенант? По левому флангу?

— Сможется, товарищ подполковник. Так точно, по левому!

И лейтенант спешит к орудиям.

— Еще, ребята, по противнику! Действуй, артиллеристы!..

И то сказать — третьи сутки не дают артиллеристы немцу ударить по дивизии с левого фланга. Рушат и рушат.

— ...Куда прикажешь с ним идти, товаришш литинант?

Ух, знакомый голос! Знакомый? Лейтенант кинул трубку полевого телефона.

— Батуллин? Черт! Ты?

— Так точно, товаришш литинант!

— И с «языком»?

— Так точно, товаришш литинант. Большой «язык», едва засиловал. Думал, осиротеют у меня в колхозе, под Уфой. Он мне наперерез! Я — в один прыжок!

Голос у разведчика сиплый, но какая теплота, какая чертовски приятная теплота!

Марк осветил фонариком фигуру гитлеровца. Человек не тряпка, да и ту изомнешь, если ползти тебе под огнем минометов. Помят и немец, рослый и, видимо, силищи неимоверной. Еще недавно, там, за спиной своего огня, был он напыщен и высокопарен, а вот как пробрила смерть, так и стал он пуст и мелок, что противно и смотреть.

— Завоеватель? Ефрейтор, сволочь? — слышится взвизгивающий от злобы голос Воропаева. — В Кропотово им! Прикажете пулю, товарищ лейтенант? Она зудит по нем. Прикажете?

Лейтенант спешно приказал вести пленного в штаб полка. Батуллин, самодовольно лоснящийся, повел его. Не доходя шагов ста до штаба, он решил показать штабным, как удалые разведчики приносят «контрольных пленных». Он взвалил огромного гитлеровца на спину и, согнувшись, потея и пыхтя, принес его к землянке. Немец лежал на его спине смирно, стараясь не задеть татарина локтями; испуганно был раскрыт рот ефрейтора со вставным стальным зубом вверху.

Едва Батуллин скрылся с полянки, как внутри Марка все запенилось и запетушилось. Приятно, леший его дери, чертовски приятно!

Приятно, что угадал сердце Батуллина. Теперь много будет угадываний. Другого порядка, разумеется. Приятно, что в ярости не потерял себя, а, наоборот, нашел! «Тра-та-та-та, тра-та-та!» — насвистывал он. И орудия подпевали ему в голос: «Тра-та-та-та, тра-та-та!» И лес вторил.

«Нет-с, Марк Иваныч, вы в этом деле не уронили тени

отца!.. Да, в этом. А в другом? В каком? Ах, — Настасьюшка!..»

Подумал о ней, и радость его не умножилась... Живет для себя? Живи. Славы ищешь? Ищи. Я ни при чем! Я не из вашего комода, не ваш выдвижной ящик...

...Перед рассветом орудиям дали отдохнуть. Воропаев принес в котелке пахнущую дымом кашу. Марк густо, по лесной привычке, посолил ее и стал жадно есть. В голосе Воропаева — он «заводило» в батарее — чувствовал уважение. Он учтиво подавал хлеб: любимые Марком горбушки. Марк понял — батарея нашла настоящего хозяина и подчинилась. Что ж, приятно!

И еще ему приятно сознавать: гул сражения, в котором он участвует, в несколько дней изменился для него. Изменился заметно. Вначале — что греха таить! — он чувствовал себя песчинкой в урагане. Теперь же Марку уже кажется, что он выдернул из себя наиболее вредное, наиболее суетливое, от которого в диком страхе пучеглазится человек. Добыто «оно» с трудом, с тяжестью, будто не дни прошли, а годы. А разве остальным «оно» легко досталось? Мало искривилось людей, мало истоптано дорог гвоздистыми ботинищами войны?.. Невелика третья батарея, а послушаешь бойцов — сколько народу погибло, пока не подобрались ладные...

Сквозь залпы орудий, каждый из которых выбивает себе дорогу по сквозящим верхушкам деревьев, сквозь едко-мягкий вой минометов Марк услышал лязг танковых гусениц. Машина спешно пробирается лесом. «Чья бы, куда бы?» — подумал Марк, и ему пришло в голову, что, поглощенный жизнью своей батареи, он забывает спросить, как же обстоит дело на всем Бородинском поле, этом небольшом участке великого сражения, происходящего на гигантском пространстве: от тундр до кипарисов.

С ловкостью, свойственной удачливым и счастливым людям, капитан Елисеев поставил свой танк на холмик, возле опушки. Гусеницы чавкнули последний раз, и, вытирая руки тряпкой, с маслянистым, сияющим довольством лицом в люке танка показался сам капитан. Разумеется, так же, как и Марк, он почти не спал эти ночи, но какая разница в выражении лица! Марк, хотя внутренне и чувствовал себя превосходно, внешне казался угнетенным. Капитан Елисеев? Разве подумаешь: ну, подгулял немного! По-прежнему волосы капитана цвета

спелой пшеницы, нежна кожа на длинной шее, даже грубый ворот кожаной потрескавшейся куртки похож на дивный ожерелок из каких-то приятных рыженьких камешков.

По-прежнему капитану нравится шептать вам на ухо, обдавая ваш затылок теплым дыханием. Слова его, включая и самые обыкновенные, вроде «задание», придают вещам и поступкам удивительную волшебную силу. Второй раз видел его Марк, а как стал близок этот человек!

— Есть на моем сердце твоя отметка, — шепчет он на ухо Марку, — по такому случаю и заехал. Надо поговорить. Увидимся ли еще — не знаю.

— Предчувствие есть?

— Почему так: предчувствие? Предчувствие — это когда угорит человек от нужды. Другое, друг, другое! Ливень крови вижу — так бьемся. А какой рекой плыть, ту и воду пить.

Слова у него прихотливо плещутся. В юности он был пильщиком, и есть в его словах что-то от прежнего рукомесла: опьяненно свистит пила, сыплются розовые, пахнущие сыростью и смолой опилки, рубаха вздувается от движения...

— Стало быть, другое?

— Другое. Сердце! Про тебя тут, перед приездом, промелькнула напраслина. Дескать, профессорских сынков знаем: дурье сплошь. Ха-ха! Я да еще Настасьюшка в тебя верили. Что? После приезда? Нет, после приезда твоего я с ней не говорил о тебе. Молчали. Да и зачем жевать вслух! Но перед самим собой мигать не хочу! Хованский прав и Бондарин прав: любит она тебя. И ты ее, вижу, любишь! Москва, сказывают, с одной спички сгорела. Так что же нам чмурить над людьми, издеваться: не бывает любви с одного взгляда! Бывает? Бывает пламя? Сжигает?

— Сережа!

— А?

— Взгляни на меня.

— Гляжу!

— Похож я на того, каким вы меня вылепили?

— Ты почему так: не годен? Чем? Что ты скрываешься?

— Шарю день и ночь в себе и не нашарю. Чего мне

тебя, Сережа, морочить, да и зачем себя портить разговором?..

Он хотел объяснить ему все думы, которые накопились в нем о Настеньке. Достаточно его ткнуть, еле-еле уколоть, как он уже поймет тебя. С ним можно... И тотчас же пришло в голову: «С ним-то более чем с кем-либо нельзя! Уж кто-кто, а Елисеев не поймет. «Какое право, — спросит он, — имеешь ты говорить о ней плохо, сухо, низко? В каком гадком деле ты ее видел? Слово дурное ты о ней слыхал?»

— Марк! Ты опять молчишь? Мне, друг, костылять некогда, мне надо на новые позиции спешить. Я урвал десять минут. Говори, Марк. Не хочешь ты меня морочить? Понимаю! А в чем? Да не мешкай, друг! Говори. Жду.

Марк сказал:

— Не хочу кричать на всю округу во время боя!

Неожиданно словам этим капитан Елисеев придал большое значение — истолковав их, разумеется, по-своему.

Он сказал:

— Спасибо, друг. У смерти коса низко ходит, укос травы будет большой. Но про меня не думай, что я, как трава, попаду под ту косу! Нет! Я бы к тебе тогда никак не заехал. Я уязвлен, но не заколот. И уязвленный — пойми... — я могу за твое счастье радоваться.

«Ну, что он пристал ко мне с этим счастьем?» — подумал в горечи Марк. Вслух же сказал:

— А как положение на Бородинском?

— На Бородинском? В порядке. Я к тебе почему заехал? — зашептал он опять на ухо. — Почему за тебя радовался? Только потому, что ты хороший? Э-э! Мало ль их, хороших. Я, друг, не так ограничен умом. Нет! А потому, что ты бился лихо! И лихо мне помог на левом фланге! Вот ловко, думаю, от отца — машина, от сына — снаряды. Ух, не отвертеться немцу!

— Совсем не такой я хороший, Сережа.

Капитан выхватил планшетку, развернул карту поля и, тыча сломанным карандашом в испачканный маслом лист, сказал:

— Вот. Иду на правый фланг! Приказ.

— Да ведь левый-то важнее?

— Перебрасывают. Приказ. Не обсуждаю. На правый так на правый... Иду. Возле — как его? — музея

встречаю машины. Медсанбат Бондарина продвигается к правому флангу. Э! Значит, быть там всему пылу. Настасьюшку вижу. Два — три слова. Из них — половина о тебе. Тогда, думаю, свиньей мне быть — не заехать, не сказать? Миновало меня счастье, а что поделаешь? Тысячи могут стоять в пространстве. Но в том же пространстве троим тесно. И весь разговор!

— И все-таки на правый — лишнее.

— Приказ.

— Приказ?

— Приказ, выполненный на «отлично», — победа. Вот и весь разговор. Будет тебе приказ — бить по правому флангу, — ты меня поддержи.

Марк вспомнил множество толстых книг о стратегии и прочем и увидал, что точкой опоры теперешнего маневра немцев является бесповоротная решимость завершить маневр атакой, сокрушающей русских на левом их фланге. А мы в это время отдаем распоряжение отвести войска на правый фланг?! Марк привел из книг много примеров. Капитан слушал, моргал глазами и думал о своем: о Настасьюшке. Удивительный человек! Бой у него должен быть в голове, а он — Настасьюшка! И, чтобы отвлечь его от глупых дум, Марк сказал:

— Что же касается нашего разговора о Настасьюшке, то — ни я ее не люблю, ни она меня, да и не встретимся мы с нею больше. Так сложилась обстановка.

Капитан Елисеев протянул вперед руки, будто думая благодарно обнять Марка, но только хлопнул в ладоши и сконфузился от этого мальчишеского жеста. Чтобы скрыть свою радость, он сделал вид, что очень серьезно думает о стратегических расчетах Марка. Он сказал:

— Ты предполагаешь: немцы обеспечивают внезапный удар на левом фланге и мы тоже маневрируем? Допустим. Но зачем же тогда перебрасывать на правый фланг медсанбат Бондарина? А ты знаешь, он опять открытие осуществляет! Буду, говорит, на поле сражения его проверять... И-и, батюшки-светы, Волга-река, времени-то сколько, а мне надо в ноль-ноль...

Он прыгнул в люк и оттуда крикнул:

— Великая у тебя душа, Марк Иваныч. Вся в отца! Ы-ых, Волга-река, и покрошу я нонче врага в твою честь!..

Танк щеголевато встал на дыбы, боднулся и, прокла-

дывая переулок в кустарнике, пошел напрямки на правый фланг, чтобы, развернувшись, с ходу атаковать немцев. Елисеев думал: «Есть еще по дороге родничок, напьемся студеной...» Он остановился у родничка и зачерпнул котелком водицы, студеность которой отдавалась в висках.

XI

В те минуты подполковник Хованский думал о Марке. Только что был получен приказ, подтверждающий приказание, отданное полчаса назад: направить все силы к правому флангу и во что бы то ни стало отбить фланговую атаку противника, а затем самим перейти в атаку, дабы немцы откатились к Дорохову, где их ждут... О том, что немцев ждут у Дорохова уничтожающие русские силы, подполковник только предполагал, но иначе и быть не могло.

Подполковник вспомнил Марка Карьина и его третью батарею, действующую превосходно и, само собой, явно гордящуюся своей превосходной работой. Он сел в автомобиль и приказал везти себя на третью.

Было это около двух часов пополудни.

Тогда же на третьей батарее ранило Михася Ружего и насмерть зашибло осколком мины наводчика Стремушкина, тощего настолько, что все в нем казалось упрощенным донельзя. Зашибло его тоже пустяковым осколком, не крупнее горошины, словно для того, чтобы показать, что смерть и таким делом не гнушается.

Перед смертью Стремушкин, широко раскрыв рот, кричал навзрыд:

— Сестрица-а, сестрица, ох, больно мне, больно-о!..

Минутами сознание приходило к нему. Он глядел на Марка, на приятеля своего Воропаева, губы его не двигались, а взгляд говорил: «Простите, товарищи, много в запас было приготовлено терпенья. Вот не хватает!» И, закрыв бесцветные глаза, он изгибался, выпячивая тощую плотничью грудь. Болтались на материи полуоторванные пуговицы гимнастерки, выпачканные кровью.

Люди убывали. Резервы не успевали подходить. Оставшиеся, собрав силы, отталкивали смерть, но она, упругая как резина, возвращалась снова. Опять распахивалась, визжа на петлях, подвальная дверь неба. Тягучий и смертно-медовый звук немецкого штурмовика простирался

над леском, и на мгновение вся земля, отдавая звук, превращалась в деку, в доску инструмента, на которой натянуты струны. «У, страшновато... — мелькало у всех в голове. — А что поделаешь: бывает еще страшней! Где страшней? У кого бывает? Где-то, не у нас...»

И одновременно с этим люди бьются, а некоторые разговаривают так, как недавно говорил милый капитан Елисеев. Поворотливые, расторопные, они презирают врага и уверены, что в конце концов, как ни тяжко, а мы фашиста побьем. Каждым мускулом, каждым нервом приспособляясь к длительному бою, они твердят: «Не уковырнешь! Будем биться. Будем говорить о своем счастье, заботиться о нем в размерах дум, какие кому положены от природы. Один из нас думает необъятно, другой — набирает поуже, но все мы гребем в одной лодке, к одному берегу. Везем, гребем, и плевать нам на тебя, вражеская сила! Не лезь в терн, обдерешься».

После двух пополудни на батарею приехал подполковник Хованский.

Незадолго перед его приездом отошел Стремушкин. Глаза его совсем обесцветились, слились с измученным темным лицом, лицом походов, горя, ранений, муки нестерпимой. Глаза его были еще полуоткрыты, когда к нему подошел подполковник. Он закрыл Стремушкину глаза и сказал:

— Что поделаешь, дружище, что поделаешь?! — И добавил очень смутно, видимо занятый другой мыслью: — Знаю, и во сне будешь биться. И трудней, чем наяву, да что поделаешь, дружище!

Он на виду осунулся, постарел, волос его отдавал зеленью, а лицо потемнело. Глядя сумрачно и твердо, говорил он негромким густым басом:

— Приметно бьетесь, приметно, ребята. Всему Бородинскому полю приметно. Если так и дальше, увидит немец во сне хомут. Так! — обратился он к плотному высокому артиллеристу лет тридцати. — Нефедов, как можешь?

— Да, кажись, сможем, товарищ подполковник, — зардевшись от радости, ответил артиллерист. — Вот пожрать не дает, сволота, это он сознательно.

— Сознательно, сознательно. Он и на свет-то обнаружил себя сознательно. Да в бреду уйдет, Нефедов!..

Подполковник отошел ко второму орудию, которое

было задето неприятельским снарядом. Опытным глазом он осмотрел его, поежился, как будто на сквозняке, и отвел Марка и политрука в сторону.

— Подбили второе?.. — сказал он, и опять в голосе его послышалось, что он думает совсем о другом. — А на сотню выстрелов хватит? Как, лейтенант, сможете?

— Пожалуй, и до трех сотен дотянем,— ответил Марк, пристально глядя на подполковника.

Распоряжения Хованского замелькали одно за другим. Занят он, верно, своей думой, а то и горем, но все же видит он зорко, так, что лишь очень опытный ум разберется в этой суматохе, казалось бы, беспорядочных и даже бесцельных фраз. Через час, как опытнейший портной, он заштопал все дыры и прорехи, которые Марку были чуть ли не в диковинку. Выпрямившись, строгий и одновременно очень довольный своей распорядительностью, подполковник сказал:

— Ну, надо нам расстаться...

Провел розовыми ладонями по портупее, темной и лоснящейся от долгого употребления, и, не замечая, что спрашивает уже в четвертый раз, спросил:

— Снарядов хватит на сутки? Бьете?

Марк, объясняя вопрос подполковника усталостью, ответил:

— По-прежнему, товарищ подполковник. По главному направлению немецкого наступления.

— Полагаете, оно там, на левом?

Марк, недоумевая, молчал.

— Вам виднее?

Марк не отвечал.

Короткая синяя тень подполковника движется на отлогий холмик, где еще видны следы танка капитана Елисеева. Марк тщетно старается угадать его мысли, но ничего не видит, кроме его тени, сизых щек и широких скул.

В руках у подполковника карта. Он тычет в нее коротким, поросшим рыжим волосом пальцем:

— Вот... вот... Кто у вас на наблюдательном пункте?.. А, дельный мужик, способен себя выказать. Но считаю необходимым, лейтенант, и вам встать туда на непродолжительный срок и проверить.

Марку приятно, что ему разрешили пойти ближе к неприятелю. Но он сознает, что Хованский делает это не

напрасно. Что за этим кроется? Почему он вдруг разрешает Марку зайти далеко вперед, когда ранее ни под каким видом не разрешал?

«Вам виднее?» — сказал он насмешливо. А если и на самом деле ему, лейтенанту Карьину, виднее? Мало он посылал разведчиков? Мало приводил пленных? Ведь отовсюду слышишь — враг ведет основные свои силы на левый фланг, а тут приказывают последними снарядами бить по правому, когда достаточно трех — четырех ударов по левому, чтобы немцы откатились!

«Вам виднее?» Да, мне виднее...

На одно мгновение Марк словно бы споткнулся, а затем давно знакомая ему злость прорвалась и знакомым жаром наполнила голову. Как всегда в таких случаях, ему стало тесно.

— Товарищ подполковник, — он начал не своим, ворчащим голосом, весь дрожа, нахохлившись и залившись шершавой краснотой: — Товарищ подполковник!..

Хованский, не обращая внимания на рокочущий голос Марка, сказал Воропаеву, заложив руки за спину:

— Благодать-то, Воропай, какая! Сейчас бы зайцы шуровали этим осинничком да выбегали на опушку, а тут мы стоим...

Он выкинул вперед руки и торжественно, словно подавая святыню, сказал только три слова:

— *...на Бородинском поле!*

Замолк.

Замолк и Марк — недвижный, разбитый этими тремя словами, тоном, каким они были произнесены. Так вот она какова, грозная музыка боя!

И предстало ему Бородинское поле.

Гордец к гордецу, плечом к плечу стоят здесь русские. Стоят против всей силы, собранной немцами в Европе, против германских, французских, бельгийских, голландских и прочих пушек, танков, минометов, бомбардировщиков. Деды стояли день. Мы стоим четвертый и еще четыре простоим, не заметив, не дрогнув, не возроптав...

«Не дрогнув, не возроптав? А оспаривать приказ командира — это что такое?»

Чувство вины заполняло Марка так, что он не сознавал, как ногти пальцев впиваются до крови в ладони. Он проклинал свое глупое самомнение, а сказать об этом ему было не под силу.

Подполковник между тем думал: «И не так уж он горяч, как я предполагал. Знать, горячность-то на фашистов хлынула! Хороший командир выйдет и хорошо по правому флангу ударит. Нет, что ни говори, а наследственность — великая штука». Вслух же он сказал:

— Значит, сокрушительный огонь по правому флангу. И наблюдайте сами, лейтенант, за огнем.

— Есть, сокрушительный огонь по правому флангу, товарищ подполковник, — не поднимая еще глаз, ответил Марк. — Есть, наблюдать лично за огнем, товарищ подполковник.

Он поднял глаза.

Он увидал широкую голову Хованского, узкие рыскающие его глаза... И какое это превосходное, чудесное, умное русское лицо! Нет выше счастья, как смотреть в это лицо, слушать глухой, пахнущий табаком голос, быть помощником, сыном... Если этот голос покинет его, Марк умрет с тоски.

— Других указаний не будет, товарищ подполковник?

— И это не легкое, лейтенант. Как, сможете?

— Сможется, товарищ подполковник. Разрешите открыть огонь?..

И на поляне наступила тишина, та приблизительная тишина боя, когда слышишь голос соседа. Батарея готовилась к ответственному поручению, и всем своим существом Марк хотел сказать, что он умрет, но выполнит это поручение... Но сил не было сказать вслух.

Длинные ресницы Хованского быстро двигались. Он, несомненно, сумел прочесть правду на лице Марка, и правда эта понравилась ему. Он повеселел, похлопал Марка по плечу, рассказал коротенький анекдот артиллеристам и полез в свою «эмку».

Через час Марк был уже километрах в трех от своей батареи, на передовом наблюдательном пункте. Отсюда он руководил обстрелом. Его сопровождал Воропаев, таща за собой ящик с полевым телефоном.

В лесочке, где стояла его батарея, он мог лишь вообразить то, что происходит в поле. Сражение разгоралось. Виденное им позавчера было лишь вступлением в бой, а не самим боем.

Теперь он видел бой!

Перед ним простиралось огненное море, дышащее жаром, грохочущее, плещущее смертью прямо в лицо. Теперь ему стало ясно, почему он опомнился сразу же, едва подполковник назвал ему Бородино, священное место, где сражались и сражаются русские. Искренне он сознался самому себе, что желает наилучше биться за родину, а значит, и наилучше понять себя. Спасибо Хованскому за его чуткость!

Все горит, шатается, колеблется. Немецкие огнеметы сосредоточили свое пламя на двух русских дзотах... Ага! Понятно! Надо заставить немцев повернуть на Дорохово?

— Огонь! — скомандовал он. — Мы их заставим повернуть.

Откуда-то, в обход дзотов, идет гитлеровская пехота. Марк слышит свист первых пуль, но откуда они — ничего не видно. Впереди холмистое поле, закрывающее горизонт. Посреди поля дерево.

— Придется нам, Воропаев, на дерево лезть, — сказал Марк.

— Скосят огнеметом, да и поджарят, — сказал, смеясь, Воропаев. — Пускай жарят, на то они и людоеды.

Влезли на дерево. Но и оттуда ничего не видно.

— Меньший прицел... — сказал он по телефону. — Огонь!

И оказалось — угадал! Первые выстрелы весьма удачны. Снаряды ударили и по наступающей цепи гитлеровцев и по танкам. Когда Марк, миновав дерево, прополз дальше, к концу холмистого поля, он увидал трупы фашистов, сраженных его снарядами, и два случайно подбитых танка.

— Те же данные. Огонь!

В стереотрубу он видит клубы разрывов, поваленные деревья, воронки от снарядов. Мимо деревьев, чуть кренясь, торопятся танки. Он узнает походку капитана Елисеева.

Дальше — враг. Засек. Огонь!

Клубы приближаются к немцам. И к ним же приближается капитан Елисеев.

— Куда, под наши снаряды? Куда тебя черт прет, дурак?!

Танки медленно, словно нехотя, все же приближались к месту разрыва наших снарядов. Марк кричал на батарею, требовал штаб... В густых черных потемках дыма, там и сям, обозначались резкими толчками машины Елисеева. Изредка, с ходу, они стреляли, и тогда дымную темноту прорезал оранжевый луч света.

Должно быть, за танками шла наша пехота...

Помнит Марк, что до боли в глазах он вглядывался в пожарища, в танки. Но дым от взрывов, вздымающиеся воронки не давали возможности ничего разглядеть. Подзадоривая себя воспоминаниями, он рисовал очертания танка, на котором приезжал к нему Елисеев, — именно этот танк видит теперь Марк!

Именно этот танк взметнуло вверх, вбок и шмякнуло оземь так, что звук упавшего железа донесся сюда...

Именно к этому танку спешили, — идя от волнения в рост, — наши санитары, санитарки... Скорей, скорей!..

И именно к этому танку бежала тоненькая девушка, за нею врач с длинной сумкой... Да скорее же!

Наискось, по направлению к тому же подбитому русскому танку, идет цепь немецкой пехоты. Если бить по немецкой цепи, то ударишь и по своим?!

— Те же данные... Огонь!

Помнит Марк: после залпа с осторожностью — хотя для чего, непонятно, — приподнялся он на руках и поглядел вперед. Теперь дым походил на темные окна. Уцелевшие березы походят на рамы. И в окнах пустота. Смерть?

От земли пахнет мятой. Он уперся в засохшие стебли ее и раздавил, вытер скользкое и словно бы линяющее лицо; тотчас же мучительные думы охватили его: «Куда они девались? Что с ним стало?.. Отступили наши? Где немцы?..»

И, будто отвечая на его вопрос, вокруг него опять завизжали пули. Значит, гитлеровцы перебили наших и приближаются? Значит, погибли Бондарин, Настасьюшка, капитан Елисеев, сотни превосходнейших русских людей?

Погибли и не отомщены?! На Бородинском мы поле или нет?

Он закричал:

— Еще левее... огонь! Безостановочно, слышите?

Утомленный, измятый, он полз назад перед самой цепью наступающих немцев, все время указывая цели

своей батарее. Падали немцы, падали их танки — и каждый раз он возвышал голос и резко указывал еще более точную цель. Наконец он подполз к первым деревьям лесочка, где стояла его батарея. Он прислонился туловищем и горячим лицом к прохладному стволу дерева, и ему показалось, что сейчас откроется дверь и он войдет в большую прохладную комнату — там он отдохнет вдоволь.

— Товарищ лейтенант, — послышался откуда-то с вершины гула голос Воропаева, — какие распоряжения?

— Биться! — ответил лейтенант. — Биться, черт их дери, до последнего...

И, оторвавшись от ствола, он вошел в лес.

Лес уже горел.

Ело глаза. Затыкало глотку дымом. Ветра не было, и закатное солнце похоже было на вымытую луну.

С востока прислали пушки, но артиллеристов не хватает. Если расставить всю прислугу, превратив ее в наводчиков, то и тогда не хватит.

Он бросился к телефону.

— Держись, — ответил Хованский. — Найдутся артиллеристы — пришлю. Не найдутся — держись все равно. Сможешь?

Марк, согнувшись над телефоном, неуклюже и хрипло смеясь, ответил:

— Сможется, товарищ подполковник.

— Значит, свидимся.

Щелчок. Подполковник положил трубку.

Марк не помнил, в какой последовательности шел дым от горящего леса и в какой последовательности шли атаки танков на этот лес. Иногда сквозь дым и треск падающих деревьев доносился к нему вдруг визг собак, невесть зачем появившихся.

Мимо пробежали пехотинцы: выбивать гитлеровцев из захваченного ими дзота. Выбили, вернулись — перекололи парашютный десант.

— Огонь!

Ночь. Ночь на Бородинском.

Немцы бьют из пулеметов трассирующими пулями. Зажигают фары танков... Наши навстречу фарам — свет десяти прожекторов.

Вечер был бы совсем прохладен, кабы не дым. С какой радостью глядели, когда орудия выкатились из леска,

оставив позади себя догорающие деревья. Выстроились в линию, нашли родничок, умылись.

Шурша соломой, подошел Воропаев.

— Присядьте, товарищ лейтенант, — строгим голосом сказал он, — закуты нет. Да и к чему? Солнце встанет, немца лицом к лицу встретим. Он ждет. Я соломки подстелю.

— А ты, Воропаев? — с усилием спросил Марк. — Подполковник звонил: ты произведен в сержанты. Как, сможешь?

Воропаев сказал с простотой, которая казалась даже искусственной:

— А я, как все, товарищ лейтенант. Пятый день смогли, сможем и десятый. Только бы по двести грамм сейчас, это бы да!

Марку не хотелось водки, но не хотелось и огорчать Воропаева.

— К вечеру подполковник обещал исхлопотать.

После прохладной воды руки горели. Горело и лицо. С жадным вниманием приглядывался Марк к своим потемневшим и дрожащим рукам, пытаясь усталостью объяснить то, что происходило у него в сердце. Он верил в проницательность Хованского, в его знание военного дела, но, с другой стороны, разве Марк не видел Елисеева, Бондарина, Настасьюшки и разве не над ними, милыми и хорошими, разорвались снаряды, посланные по его, Марка, приказанию?!

— Воропаев, у тебя зеркальце...

— В мешке, товарищ лейтенант.

— А, вспомнил. У меня есть...

Потолок, неожиданно оказавшийся над ним, резко рванули. И тут же, еще более резко, рванули из-под ног землю. Вслед за тем открылось бесконечно широкое и бесконечно глубокое пространство. Не закрыть глаза нельзя. Он сделал движение рукой, как бы запахивая шинель, и закрыл глаза.

Разорвавшаяся на холмике в наполовину затоптанных следах от елисеевского танка вражеская мина сбила Марка с ног, и осколки металла врезались ему в бедро и в плечо.

Полчаса спустя наши войска перешли в контратаку, и гитлеровцы повернули на Дорохово.

XII

Когда орудия действовали исправно и били точно, Марк думал, что действуют и бьют они так потому, что из штаба полка ему дают замечательные приказания. А когда орудия стреляли плохо и расчеты суетились без толку, Марк думал, что вся эта бестолковщина от запаздывающих приказаний. Он и не замечал того, что полк уже давно не дает ему приказаний, ограничившись регистрированием того, что Марк делает.

— Не трогайте его, — говорил, с трудом скрывая свой восторг, Хованский. — Он попал на дорогу. Не сбивайте!

Изредка Хованский брал трубку и был счастлив слышать приглушенный расстоянием молодой голос Марка Карьина:

— Сможется, товарищ подполковник.

Это «сможется» уже обошло Бородинское поле и покатилось, подхваченное ветром войны, дальше, по всему полю сражения, от Баренцева до Черного...

Марк не знал этого.

Не знал он и того, что произошло с капитаном Елисеевым.

Капитан, попив воды из родничка, пришел на правый фланг и стал в засаду, прикрывшись плотными и приятно пахнущими кустами черемухи. Загремели батареи. На поле развернутым строем выходили немецкие танки. Капитан насчитал их сорок два и, чтобы не огорчаться, перестал считать. «Сорок против троих, четыреста против троих — все равно не поверят», — сказал он сам себе, внимательно наблюдая за противником.

Видны башни, тускло поблескивающие от свежего утреннего воздуха.

— Понадуло смерти во все щели, — сказал, посылая бронебойный снаряд, капитан Елисеев. — Обидятся на меня немцы, а иначе нельзя.

И он послал еще снаряд.

От первого снаряда свернуло башню головному танку; от второго — дым, грохот, взрыв; от третьего — громоздким машинам захотелось вдруг искать другую дорогу, менять курс, увеличивать скорость; от четвертого — «Ага,

понадобился кобыле ременный кнут!» В тот момент, когда залпы батареи Марка Карьина пришли на помощь, в поле уже пылало семь немецких танков. И кто знает, запылал ли бы восьмой, потому что немцы уже нащупали, откуда идет уничтожающий огонь, и два прямых попадания уже грохотом отдались в елисеевском танке... помогла карьинская броня, помог сыновний огонь.

— Наделили талантом всех родных — и отцов и сынов, спасибо!.. — сказал капитан Елисеев, зажигая восьмой немецкий танк.

...Не знал Марк и того, что произошло с врачом Бондариным.

Втайне, уже несколько дней, надумал и приготовил он новое противогнилостное средство. Проверить легко: раненых не успевают перебросить в тыл, а некоторые, заслышав о Бондарине, приходят издалека. Проверил. Разумеется, от той перевязки, которая натолкнула его на мысль о новом средстве, не осталось и следа, да и дело оказалось не в перевязке. Но Настасьюшку он уважал, надышаться не мог на ее молодой и радостный талант. Он с нею первой поделился своими выводами и показал первых излеченных им больных. Три часа назад был на розово-синем теле отвратительный гнойник. Настасьюшка сама омывала его. А теперь уже и тело приобрело другой вид, словно бы оттаяло, и гнойник исчез бесследно.

— Дмитрий Ильич, счастливый вы! Как оно на вас налетело?

— Напился допьяна, вот и налетело, — нарочито грубым голосом сказал Бондарин. — Налетел, голубушка, «тампон Бондарина» и всех с ног сбил.

Ночь напролет Бондарин писал в Медсанупр свою «заявку». Поутру он пожелал непосредственно на поле сражения проверить действие своего «тампона». Тампон не только удаляет гной, но сразу же, приложенный к ране, затягивает ее. Уговоры были бесполезны, да и не особенно уговаривали — работы много, врачей не хватает, хочет в поле — иди, не маленький ребенок.

Настасьюшка пожелала сопровождать его. Прошел слух: ранен капитан Елисеев, но о том, что слышала она об этом, Бондарину не сказала. Он проговорил, глядя в ее глаза, голубые, словно налощенные морем камешки:

— Надо идти туда, куда вас, пичужка, зовет не сердце, а долг.

Она не поняла его.

— Куда меня зовет сердце, Дмитрий Ильич?

— К щеголю зовет, пичужка.

— Он не щеголь.

— Догадалась? Капитан Елисеев — щеголь: бой ведет щегольски. И не верю я, что он ранен... — Он подумал и добавил: — Абсолютно не верю. Такого человека не убить врагу, не ранить; он слишком ловок. Марка Карьина могут надломить. Горяч, упрям, а ловкости немного не хватает. Впрочем, приобретет... Знаете, когда капусту квасят, так для гнета кладут сверху каменья. Война тем же самым занимается по отношению к Марку Карьину... Так-то, пичужка!

Он осмотрел полевую сумку, все ли взято, ощупал карманы, нет ли чего лишнего, проверил, правилен ли адрес на «заявке». Настасьюшка стояла, опустив руки. В глазах ее он читал тоску. И он поднял ладонь ко лбу, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжание голосов раненых и санитарок, измученных боем, он думал. Открытие, совершенное им, помогло ему как бы встрепенуться. Он почти невзначай сказал о капитане Елисееве, а вдумавшись, понял, что надо кое-что досказать. Миленькая пичужка любит капитана и сама себе еще не призналась в этом. Что же касается Марка Карьина — то какие ж мы дети! В сущности говоря, ни ей нет дела до него, ни ему до нее. Дай бог, если они останутся друзьями, да и это надо ли? Разные люди, разные пути.

Приучив себя говорить людям, которых он уважает, все, что он думает о них, Бондарин высказал свои мысли Настасьюшке. Она малость подумала и с поразительной простотой, ей свойственной, ответила:

— Вот и верно, что пичужка. Посмотрел в мою маленькую душу, да сразу и понял. Люблю, Дмитрий Ильич. — И она добавила: — А мне, значит, лучше идти к батарее Карьина? Жалко мне Сережу бросать и вас, Дмитрий Ильич, оставлять жалко. Вы меня известите в случае чего.

— Обязательно, пичужечка.

Известить не удалось.

Бондарин успел наложить «тампон Бондарина» троим раненым. Возле четвертого уложила самого Бондарина

фашистская пуля. Случилось это перед тем, как Марку привиделся в поле танк капитана Елисеева, который в то время стоял в засаде; почудилась ему и фигура Бондарина, который хотя и шел по полю, но по другую сторону черемуховых зарослей, как и не мог Марк, само собой, видеть в поле Настасьюшку.

Не мог видеть потому, что в это время Настасьюшка, два медика-студента и санитары пробирались горящим лесочком к батарее лейтенанта Карьина, который с непонятным умением и поразительным упорством отбивал все атаки немцев и подготовлял нашу контратаку, ломая у немцев коммуникации...

Без памяти был Марк, не знал он и не видел, как маленькая девушка, «пичужка», после того как убили санитаров, ранили студента-медика, сопровождавшего Марка, взвалила его себе на хрупкие плечи и, помогая студенту, вынесла Марка из-под огня.

Не знал он и того, что, услышав о ранении Марка, подполковник Хованский охнул и уронил со стуком тяжелые, словно мертвые, руки на стол.

— А все равно не отойду, — сказал он. — Пока сочится кровь, не отойду! И никогда не отойду. Будем биться!

Он приказал соединить его с третьей батареей.

— Кто говорит? — спросил он сурово.

И услышал:

— Сержант Воропаев, товарищ подполковник. Принял командование батареей, держусь. Извиняюсь, немцы приближаются. Отобью атаку, доложу об их потерях, товарищ подполковник. Скажите только, лейтенант Карьин Марк Иванович жив?

— Жив, жив, — торопливо ответил подполковник, не веря своим словам. — И будет жив, бейтесь!

— За нами дело не станет... Извиняюсь, идет!

XIII

Марк полуоткрыл глаза с трудом. Веки словно свинцовые и еще по краям посыпаны песком.

Он увидал мелкую речку с длинной, не по ее размаху, широкой отмелью. Словно от стыда за свое хвастовство, речка скрылась в кочках, потемнела. На пе-

ске — следы птиц, улетевших отсюда последними... Ветер свежит лицо, заносит следы птиц... И Марку не хочется ни о чем думать. Заносит, и пусть заносит.

Возле борта машины усталое лицо Настасьюшки с мокрыми волосами, приставшими ко лбу. Глаза ее широко раскрыты, будто выкатываются. «Что с вами, Настасьюшка?» — хочет спросить Марк и раскрыл было рот, но равнодушие, наполняющее его голову, опять сдвигает губы. Кончик носа у нее синеет, на скулах коричневатая краснота... Пусть!

Милое детское личико. И пусть!

Милое отцовское лицо. Чье? Хованского? И пусть.

Они о чем-то говорят. Кажется, о том, хватит ли покрышек до Москвы. «Какой вздор? При чем тут покрышки?» — подумал Марк, и ему отчетливо вспомнился обрывок разговора с Бондариным. Говорили о том, что Настасьюшка не любит читать книги.

Книги? Разве дело в книгах? Дело в любви. Сейчас это видно совершенно отчетливо, как вон те следы птиц на песке. И странно, что его волновали и возмущали в ней какие-то пустяки, а главное не взволновало его, главное-то он увидал сейчас.

Честолюбие, которым она бахвалилась? Ах, какая чепуха! Или она лгала на себя — сознательно, может быть, даже, — или же она заблуждалась? Разве люди с такими страдающими глазами способны быть честолюбивыми? Ну, что она сделала для своего хваленого честолюбия? Ничего. А если прикажут, она без промедления, немедленно отдаст жизнь за... как это отец читал... «за други своя»? Отдаст красоту, молодую и горячую кровь, погасит прелестные голубые глаза с тонкими детскими бровями. Честолюбие? Нет, не честолюбие, а скрытность великолепной души, прикрывающей себя, как крыльями, этим честолюбием!

Для человека, так же как и для картины или архитектурного сооружения, необходим ракурс, точка, с которой возможно разглядеть его по-настоящему. Для Марка, разглядевшего сейчас Настасьюшку, таким ракурсом была мокрая прядь волос на ее усталом от работы и волнений, чудесном и умном лбу.

Разглядеть он ее разглядел, но думал о ней с холодным равнодушием тяжко больного человека. Мелькнул в

его воображении лесок, по которому на носилках несли его. И ему пригрезилось, что несла его Настасьюшка. Но по-прежнему холодно он думал о шумящем лесе с его запахом сырого дыма и о руке Настасьюшки, которая поддерживала его голову. «Если так... значит, конец?» — подумал он и хотел сказать прощальные слова, но желание появилось и ушло быстро. Его молодое лицо приобрело цвет металла... оно было страшно.

«Если бы жив был Бондарин...» — подумала Настасьюшка и заторопила шофера:

— Скорей в Москву! Записку не потеряли? Шофер, когда вы поедете через Бородинский мост...

«Позвольте, — сказал сам себе Марк, — но ведь я на Бородинском поле?»

Он думал, что эти слова взволнуют его, — они не взволновали. Мало того: показалось странным, что недавно лишь намек на значение Бородина остановил дикую вспышку свойственного ему гнева, а теперь...

«Конец, — подумал он, — конец тебе, Марк...»

Машина прошла не более шести километров, как оказалось, что до конца жизни еще далеко. Равнодушие кончилось. Вначале разбудила колющая боль в боку, затем он наполнился злобой, когда увидел толпы беженцев, и особенно поразил его седой интеллигент. Серый просторный костюм его был выпачкан грязью, известкой и разорван на коленях. Он шел быстро, почти вровень с машиной, сжав кулаки и вытянув вперед руки. Брови его приподняты, рот раскрыт. Он выкрикивает... и от криков его хочется повернуть машину, вернуться к своим орудиям, бить, бить, дни и ночи напролет!.. Было трое детей, племянница, мать, жена... жили вместе...

— Будь вы прокляты, прокляты, прокляты!..

И кажется так, через всю Россию, идет этот несчастный, у которого фашисты убили все, что можно убить... убили и разум его... потому что, кроме вот этого «будь вы прокляты», он уже ничего выкрикнуть не в состоянии...

И Марк повторяет:

— Будь вы прокляты, прокляты!..

Машина повернула к Москве, увозя его, потерявшего сознание.

...Перед тем как пробудиться и приподнять голову, чтобы наполниться необычайным счастьем жизни, кото-

рого он не испытывал никогда, он пробуждался несколько раз. Он видел белый квадрат палаты и себя в центре этого совершенно равнобедренного квадрата. От равнобедренности кружилась голова, и он спешил закрыть глаза. Ему казалось, что он шагает по квадратам, поднимается, опускается, опять поднимается. День жаркий, солнечный, квадраты стоят на теплой песчаной отмели, и он слышит:

— Тампон Бондарина!

Плеск воды. Блеск металла. Что-то теплое, приятное вливается в его тело. И опять голос:

— Тампон Бондарина!

Знакомая фамилия, но он не может вспомнить, чья она.

Это его почему-то сердит, и когда он снова открывает глаза, он спрашивает сестру, вытирающую ваткой термометр:

— Кто такой Бондарин, сестра?

— Не знаю.

Увы тебе, Бондарин! Тебя постигла участь многих знаменитостей — остался титул, произведение, «тампон Бондарина», дарующий жизнь, а кто был открывший его, что его мучило и что ему мешало — кому это известно?

XIV

Марк поднял воротник тулупа и сел в машину. И опять Бородинский мост, грузовики, недостроенные дома.

За Кунцевом, едва они миновали столбы высоковольтной передачи, машину встретил злой северный ветер. Он будто железной щеткой мел широкое шоссе, подскакивал к машине, тряс ее, стремясь сорвать на ней свою непонятную злобу. «Крути, крути немцу хвост, а не мне», — думал Марк, глядя, как ветер крутит стеганый капот на радиаторе и глушит пар, выскакивающий из-под плохо завинченной покрышки.

Чем дальше по шоссе, тем меньше плакатов и тем больше надолб — скрещенных и скрепленных попарно железных балок. Начали попадаться немецкие мины, сложенные по обочинам шоссе кучками. Металлические края их прихватил иней. В одном месте ветер раскидал снег, выкопав что-то серовато-коричневое, скорченное, похожее

на камень. Шофер, безбородый, молодой, передвинул папиросу из одного края рта в другой и сказал:

— Успокоился. Видно, машинку не ту встретил.

— Противники?

— Парашютист, кажется. Их тут много выдувает, товарищ старший лейтенант. Сорвали голову на Москве, ну и обижаются.

«Скоро? Скоро?» — думал Марк. Мучительно хотелось поскорее попасть к своей части, обнять Хованского, получившего звание полковника и уже командующего дивизией. Большое открытие сделал покойный Бондарин, а вот в диагнозе Хованского ошибся. Нашел рак печени, а оказалось, что у полковника обыкновенная малярия и достаточно было принимать хинин!..

За Дороховом свернули на проселок. Здесь, возле полусожженной сторожки, в три часа дня будет ожидать — так вчера сговорились по телефону — капитан Елисеев. Он едет куда-то в объезд Москвы.

А место унылое, не для встреч. Равнодушные, обгорелые бревна, клочья грязной соломы, торчащей из снега, мелкий осинник, тщетно пытающийся закутаться в снега. Холодно ему, дрожит он... И ветер здесь тоже какой-то промозглый, невеселый. Марк посмотрел на часы. Ого! Половина четвертого? Придется подождать. Все равно темнеет теперь рано и ехать придется ночью.

Шофер морщится. Ждать ему не хочется. Марку скучно смотреть на его будничное и скучное лицо с постоянно торчащей тухнущей папироской в углу рта. Он отошел в сторону и присел поодаль, позади дома. Здесь тише, не дует, и приятно думать свои хорошие, добрые думы.

Вот неподалеку Бородинское поле. Сейчас оно неподвижно, занесено снегом, торчат кое-где остатки разбитых немецких танков, валяются каски, побелевшие от мороза, — следы гитлеровского отступления. А что было недавно — осенью? Как гремели орудия! Как много стояло народу... и как много полегло его... полегло...

«Не отдали Москвы!»

«Не отдали», — повторил Марк, и ему особенно приятно, что есть какая-то маленькая буква, принадлежащая ему, в длинной поэме о том, как не отдали Москвы. Хорошо! Хорошо глядеть на этот снег, нежно опускающийся к дороге, хорошо слушать осторожное поскрипывание валенок шофера, подшитых кожей, хорошо ждать прия-

теля, хорошо его расспросить и, наконец, очень хорошо думать о себе, что ты изменился, стал другим, строже, умнее и что все твои страхи, которые ты испытал там, на Бородине, осенью, не опустошили тебя, а, наоборот, многому научили и продолжают учить... В голове зашевелилась ленивая мысль: «А хорошо бы, пока не стемнело, развести под елкой костерик, погреться — в машине продувает». Но лень встать, распахивать теплый и приятно пахнущий тулуп, лень вообще шевелиться. «Вот оно, как замерзают», — сонно думает Марк, зная, что не замерзнет в тулупе, валенках, стеганой шапке и вязаной безрукавке. Так просто захотелось побаловать себя, вспоминаючи о Бородинском поле, думая, что впереди еще предстоят Бородинские поля.

...Из-за угла дома он слышит приглушенные голоса. Шофера о чем-то спрашивают. Елисеев? Сережа? Марк вскакивает и бежит. Три мужика, волосатых, страшных, заиндевевших, в лаптях и рваных полушубках, рваных валенках, держа вилы наперевес, ведут пленных. «Десант, что ли, переловили? — думает Марк, здороваясь с мужиками. — Откуда тут быть пленным? Фронт дальше». Он спрашивает мужиков. Они раскрывают большие крестьянские рты и замерзшими губами наперебой начинают что-то кричать. «Подожди, подожди, не путай меня, — говорит Марк мужику постарше: — Говори ты, куда немца ведешь?» — «Немца-то! — кричит обрадованный почтительностью офицера мужик. — Немца-то сдавать, ваше благородие, ведем. Князь Хованский, сказывают, принимает пленных. Нам их велено сдать, промерзли мы, ваше благородие. Где тут князь-то стоит?» — «Подожди, подожди, — говорит Марк, — какой князь? Откуда вы пленных взяли? Откуда ты ведешь-то? Кто ты такой?» — «Да партизаны мы, ваше благородие. Поручик Иван Карьин забрал их, немца-то, пушкой пугнул и велел вести к князю Хованскому, он, говорит, принимает». Второй мужик подхватывает: «Промерзли мы, ваше благородие, сдать их никак не можем, надоели они всем, ни люди, ни земля тех немцев не берет. Вот и ходим мы... Помилосердствуй!..» — «Позвольте, позвольте,— волнуется Марк, — но это же я — Иван Карьин, и разве Хованский — князь, какой же он князь?!» И смотрит на дорогу. До́ма нет. Машины нет. Елка, под которой он сидел, крошечная, еле видна из-под снега, а вместо осин-

ника стоят широкие сосны. «Позвольте, — думает Марк, — как же так, ведь нынче тысяча девятьсот сорок второй год, а не тысяча восемьсот двенадцатый».

...Он услышал смех. На него бросилось что-то мохнатое, ловкое. Его тормошат, обнимают. Перед ним чудесное, милое лицо капитана Елисеева. Нагнувшись к уху Марка, капитан шепчет, что все замечательно, что он очень доволен, что Хованский ждет не дождется, что на батарее все живы-здоровы и рады его видеть, что Воронаев уже вернулся... Откуда? Да он кончал школу и теперь, обученный, будет командовать третьей, которая действует здорово...

— А Настасьюшка? — спрашивает Марк, и хотя ему приятно будет узнать о ней, но он сознает, что вопрос этот вошел в его голову лишь потому, что надо узнать обо всех. Он помнит что-то опрятное, голубое, необыкновенно внимательное — и всё. Ни лица ее, ни фигуры явственно он представить не в состоянии. Если можно так выразиться, она стала для него отвлеченностью. Даже странно слышать оттенок благодарности в словах Елисеева: он все еще думает свое — «дескать, отказался Марк, сознательнейше взвесив «за» и «против». Какой вздор живет иногда в голове очень умных и здоровых людей, вроде капитана Елисеева! Понять бы ему: был мальчик, думал исправить ошибку отца — ах ты, юноша,— а прошло время, сделался взрослее, понял, что не все исправишь в мире, да и не все надо исправлять.

Елисеев шепчет:

— Настасьюшка, друг, идет далеко! От нее ждут бондаринских способностей. Касаясь личной жизни, скажу, что мы соединились навечно. Да что я? Она, коли надо, гвоздь из стены взглядом вырвет: выдающаяся личность. Играй, ветер! Шуми по этому случаю, песня. Пляши, жизнь! А помнишь?..

— Что, Сережа?

— Помнишь, фашист нас все с фланга брал? А теперь мы ему под фланг подобрались, да так загнем полу, что бежать ему не убежать! Мы теперь так живем: маневр и атака. Маневр и сокрушительная атака! И ты, Марк, тем же жить будешь.

Он стоит перед ним, распахнув полушубок и не обращая внимания на холодный ветер. На золотистых бровях у него повисли сухие прозрачные январские снежинки. Руки

у него — словно из меди, а лицо — огненное от заходящего солнца, глаза — прикажи только — способны пробуравить насквозь землю. Как с ним приятно быть вместе, а того приятней дружить!

Они долго стоят на январски звонкой, закатно-золотистой дороге, смотрят друг на друга и не насмотрятся. На душе у них просторная весенняя оттепель. Они — друзья навсегда, навечно.

1943

ОЧЕРКИ

МОЕ ОТЕЧЕСТВО

В трамвае тесно и жарко. На небе редкие, пухлые облака, те, на которые всегда хочется махнуть рукой, — ни тени от них, ни влаги. Улицы горячи. Трамвай несется быстро. На переднем месте, у площадки, возле открытого окна сидит седенькая, тоненькая старушка. Большой курчавый рабочий держит в своих громадных руках седенькую головку старушки. Они смотрят в окно. Ей не хочется показать своих покрасневших век. Но на сына взглянуть надо. И мы видим ее лицо. Сколько в нем нежности, любви, ласки.

Рабочий рядом в форменной куртке говорит старушке:

— На фронт?

— На фронт, милый, — отвечает старушка и прижимается, тонет в больших руках сына. — Который раз на фронт провожаю, кажись бы привыкнуть, а сердце — оно и есть сердце.

Навстречу мчится грузовик с мобилизованными. Удалой мотив песни на мгновение заглушает звон трамвая. Все смотрят на грузовик. Лицо у старушки меняется, она сияет, а когда грузовик проскочил, она озабоченно обращается к сыну:

— Это как же, Крохолец-то вперед тебя успел в машину попасть? Стало быть, он раньше тебя на фронте будет?..

Вот они, эти великие слова матери! Вот она, гордость нового человека, строителя советского общества. Это я слышал мельком, в тесном трамвае, где, как известно, трудно расчувствоваться.

Или идешь через Красную площадь. Сегодня второй день войны, все заняты — кто на собраниях, кто в мобилизационных пунктах, кто усиленно, почти без перерыва и отдыха, работает, — и все же через всю площадь, мимо Исторического музея, под жарким солнцем стоит нескончаемая, во много рядов, очередь — к Ленину.

Рабочие, красноармейцы, работницы, инженеры, ученики — у всех на устах одно слово:

— Война.

За два года империалистической бойни это слово «война» мы произносили часто. Оно грызло нам сердце, когда полчища фашистов залили кровью Францию, когда война зажглась в пустынях Африки, когда тонули корабли в Средиземном море, когда погибла Греция, когда предательски уничтожались славянские народы на Балканах, когда мы слышали стоны их, — когда мрак встал над Европой!

Мы стояли, сжав руки и стиснув зубы. Мы были готовы к нападению любого врага. Мы не готовились ни на кого нападать. Мы просто были зорки — привыкли к опасности.

И вот война подошла к рубежам моей страны, моей любимой отчизны, к моим полям, к моим фабрикам и заводам, к моим школам и библиотекам, ко всему тому, что принадлежит мне, советскому гражданину, — война, навязанная нам отребьем человечества, подонками его, — война хочет поглотить мою культуру.

Поглотить? Сжечь? Уничтожить? Никогда!

Я русский. Мое отечество от Белого моря до Тихого океана. Это они, мои предки, шли по степям и тайге Сибири вместе с Ермаком; это их казацкие кони пили воду из Рейна, и это их знамена колыхал ветер на улицах Берлина, и это они защищали свою родину, когда стояли плечом к плечу на полях Бородина, и это от моих предков бежал, в испуге бросая оружие и снаряжение, свою гвардию, всегда непобедимый Наполеон. Это они — рязанские, тамбовские, тульские, сибирские мужики победили Наполеона и погребли его армию на своих, тогда очень тощих полях. Русский народ не хотел отдавать своей земли врагу и никому никогда не отдавал, как бы трудно ни приходилось!

Народ мой ждал. Народ мой верил в свое будущее — светлое и крепкое. Он бился за это будущее в сотнях

Разина, в полках Пугачева, на Пресне в 1905 году. Он говорил: «Не мне счастье, так детям».

И он дождался.

Пришел — Октябрь.

И вот тогда мой народ совершил самую великую победу из побед, такую победу, которую никогда не совершал ни один народ!

У моего народа были границы государства. Оно называлось Россией. Но в границах этого государства была еще граница других народов, и эти, другие, «иноязычные», как тогда говорилось, угнетались, и правящие классы старались отделить их от русского народа. Это не всегда и не со всеми удавалось. Всегда передовые люди России ненавидели малейшие намеки на русский шовинизм.

Октябрь не раздвинул географических границ государства. Но он уничтожил границы внутри этого государства, он уничтожил великорусский шовинизм. Вот это-то явление и придало нашей стране мощь и силу невиданную.

Вот я. Я остался русским, как и был им раньше. Но в мое сердце вошли мои родные братья, о которых я слышал, но сердца которых знал плохо. Я полюбил их, и полюбил навсегда! Ко мне вошли украинцы, казахи, армяне, грузины, узбеки, туркмены... и великое множество больших и малых братьев-народов. Я стал понимать много языков и узнал много культур. Я по-иному увидал Грузию, Армению, Казахстан, Украину, Узбекистан, Белоруссию!..

Братья!

Мы братья; мы товарищи; мы бойцы социализма; мы сыны великого Советского Союза. Вот почему мы переносили и перенесем любые невзгоды; вот почему мы били и побьем любого врага! Мы братья, и мы защищаем наш большой светлый дом, который мы строили двадцать три года, с первых же дней Октября, и будем строить его. Этот дом называется социалистическая отчизна.

Мы готовились к той минуте, когда коварный, озлобленный враг вылезет из норы, чтобы подкрасться к нашему дому и зажечь его. Эта минута настала. Сердце сжалось, когда я услышал это слово — «война», и оно громко прозвучало в моем сердце. Это был трубный, при-

зывной клич моей родины, моей отчизны, моей счастливой и гордой страны социализма! Он потряс меня с головы до ног, и я чувствую, что я необходим отечеству еще более, чем когда бы то ни было. И мой долг — откликнуться на этот клич, выполнить волю моего отечества.

Работать — будем работать так, как никогда не работали!

Отдать жизнь — отдадим в таком бою, которому могли бы позавидовать наши предки и которым будут гордиться наши потомки.

Для нашего отечества мы добьемся победы. И я вижу предзнаменование этой победы. Оно есть! Это — единодушие нашей партии, нашей страны, воля нашего народа, всех народов моего великого отечества.

24 июня 1941 года

СЕРДЦЕ СТРАНЫ

Вытоптанные хлеба, сожженные села, остовы заводов, остовы городов, реки крови и реки горя — таковы ужасные дороги, которые никогда человечество не забудет, пока оно будет существовать, — дороги, по которым кровавый враг хочет пробиться к сердцу нашей страны, к Москве!

Горя много, страдания неисчислимы. Эти страдальческие лица, это горе видишь и в поездах, оно проходит или входит в Москву пешком, оно плывет на пароходе. Мы все видим их. Мы все их знаем. Мы рассказываем о них и долго-долго будем рассказывать, чтобы люди знали их, чтобы помнили, что такое германский фашизм и что такое его преступления.

Проходишь по улицам, бываешь в домах, поездах или на пароходах — и всюду можешь прочесть, что в сердце страны, с силою, которую можно сравнить разве с силой фронта, ощущается и понимается то громаднейшее по ответственности время — время, когда решается судьба не только нашей отчизны, но и судьба всего цивилизованного человечества. Именно сейчас решается судьба каждого из нас.

Мне хочется привести несколько примеров того, как оценивается московскими людьми сегодняшнее время и на какие поступки оно толкает людей. Эти примеры — не редкие какие-нибудь примеры. Это просто наблюдения писателя, обращенные в сторону обыкновенных, ничем не выдающихся людей, но тем более удивительной и чудесной является та сила, которая владеет этими обыкновенными и ничем не выдающимися людьми.

Эта сила называется любовью к своей стране и к сердцу ее — Москве.

Каждый из этих людей, о которых я буду рассказывать, в той или иной форме в разговоре со мной упоминал о Москве, и у каждого из них замечательная гордость слышалась в словах «Москва, столица». Собственно, трудно даже назвать выражение это гордостью. Это была действительно и гордость, и в то же время нежность, и в то же время неистребимая и непобедимая преданность; и каждый, говоривший эти слова, произносил их по-особому. Конечно, мне не передать всей той чудесной краски, с которой эти люди и их нежность встали передо мной.

Москва, сердце наше!

Кто не влюблен в это сердце? Кому оно не близко?

И кто не желает защищать его!

Мне нужно было в одном доме найти квартиру знакомого. Случайно я попал не в те двери.

Передо мной была длинная анфилада комнат. Через всю анфиладу тянулись столы. На них стояли швейные машинки. Женщины, девушки, старушки крутили ручки этих машинок с такой силой и оживлением, как будто хотели превратить этот стук в стук пулемета. Это жительницы дома шили добровольно белье для бойцов. Здесь рядом сидели жена почтеннейшего инженера, высокого специалиста, и подавальщица из столовой; журналистка и рядом с ней шофер-женщина с автобуса, две миловидные студентки и сестры дворника.

Из всех работавших меня поразило одно лицо. Оно было молодое, но озабоченное до такой степени, что озабоченностью этой старило себя лет на десять. Я не очень понимал причину этой озабоченности. Перед молодой женщиной лежала только что сшитая прекрасная фуфайка, пушистая, толстая и, видимо, замечательно теплая. Я глубоко убежден, что боец, который наденет фуфайку, испытает большое удовольствие. Что же волновало эту женщину?

Степенная женщина, беседовавшая со мной, подошла к молодой и сказала:

— Я против, но он разрешил вам остаться на четвертую смену.

Эта женщина непрерывно работала три смены и желала остаться на четвертую. Когда она узнала, что ей

можно остаться, вы бы посмотрели, как осветилось ее лицо, какое оно стало красивое!

— У нее есть родственники на фронте? — спросил я.

— Нет никого, насколько я знаю. Родители при ней, вон старушка работает — ее мать. Они москвичи.

Москвичи? Москва! Сердце наше, любовь наша!

Неподалеку от Устьинского моста есть «Пункт по приему вещей от населения в фонд обороны». Как-то я там простоял часа два — три, наблюдая за москвичами, которые приносят вещи. Вещи приносили и обыкновенные, вроде белья или пальто, или табаку, но были необычайные подарки, которые даже трудно было бы представить, чтобы их могли принести.

Один подарок особенно растрогал меня. Пришел калека, одноногий. По профессии он кустарь-сапожник. Ногу потерял на войне 1914 года. Принес он хорошие хромовые сапоги и сказал следующее:

— Заказчик сказал, что придет за сапогами. Прийти не пришел, а прислал письмо и квитанцию, в которых просит передать эти сапоги в фонд обороны, так как у него уже есть одна пара сапог и ему ее хватит. Вот документ.

Он положил на прилавок письмо заказчика и свою квитанцию. Сапоги у него взяли, а квитанцию вернули ему, равно как и письмо. Но сапожник не уходил. Он стоял рядом со мной, держа правую руку в жилетном кармане и пристально разглядывая тех, кто приносил вещи. Затем он сказал:

— Сапоги-то заказчика, а не мои, конечно. Но и своих вещей я много отдал. А вот... вот это...

Он достал из жилетного кармана маленькое золотое колечко. Он положил его в жилетный карман, чтобы отдать его тогда же, когда отдаст сапоги своего заказчика. Но сапоги-то он отдал, а кольцо стало жалко. Я понимал его. Не то, чтобы он жадничал, нет. Но ему жалко было расставаться. Это кольцо он получил в подарок от жены много лет назад. Она умерла. Он любил ее и не женился более. Он хранил кольцо, и, как ему думалось, смерть не разлучит его с этим подарком жены. Но подошла другая любовь — любимый город, его защита. И сапожник стоял у прилавка, держа на большой, вымазанной варом ладони кольцо, размышляя про себя. Я понимал его мысли так же, как и он, наверное, понимал мои. Это были очень

хорошие и высокие мысли, и недаром на глазах у нас обоих показались слезы.

— Берите! — сказал сапожник и положил на прилавок кольцо.

Москва!

Ты берешь наше сердце и свое сердце отдаешь нам, потому что ты наше сердце, сердце нашей любимой и великой страны, Москва!

Окраина. У остановки троллейбуса группа рабочих. Очень рано. Медленно из тумана встает великий город, ополчившийся на врага.

Когда я подошел к остановке, рабочие продолжали разговор. И тот кусок его, который я слышал, как нельзя более отвечал и моим мыслям, и тому, что написал только что. Пожилой рабочий говорил:

— У завода Сталина крупный коллектив и вообще агитация. А у нас? У нас почему работают за четверых, за пятерых? Откуда? Откуда, скажем, при военной учебе, заметь, при стрельбе, метании гранат и, словом, при обучении технике боя, откуда взялось такое, что заточник Мартемьянов никогда ничего не придумывал и был незаметный — тут приспособление для заточки зубцов придумал? И на, пожалуйте, в четыре раза больше работает!

— А все оттуда же, из Москвы, — ответил сосед.

12 сентября 1941 года

УКРАИНА СРАЖАЕТСЯ

Зима 1942-го. Гостиница, длинное белое уютное московское здание. В одном из номеров живет украинский поэт, талантливый, мечтательный, страстно влюбленный в свою родину. В эти дни испытаний особенно остро понимаешь и чувствуешь эту любовь: я часто прихожу к поэту.

Снега нынче глубоки, душисты и трепетно-игольчаты. Приходишь со снега, с мороза в узкую комнату поэта — и все равно просторы и снега не покидают вас, и оттого жизнь кажется еще более, чем всегда, просторной, снежной, поэтично-звонкой. Овеянных снегами и поэзией битвы за отечество вижу я здесь людей: ленинградцев, сталинградцев, мурманцев, украинцев. И среди них я встретил генерала Орленко.

Входит несколько человек, очень разговорчивых, торопливых. Горючая, вещая правда звучит в их словах. На шапках у них красные ленты. Это украинские партизаны. А этот, приземистый, с непреоборимо властными глазами, — их предводитель, генерал Орленко. Ныне он указом правительства произведен в генералы, а тогда, зимой, когда я его встретил, тщетно искали бы вы его имя в списках людей, коим присвоено генеральское звание.

Генерал Орленко!

ГЕНЕРАЛ ОРЛЕНКО

Это имя родилось в лесах и степях Украины, среди сел, где, защищаясь от партизан генерала Орленко, сидят в окопах окоченелые от страха гитлеровские сол-

даты, бегут от шоссе, спасаясь от партизанских пуль, испуганные люди, мобилизованные фашистами.

Это имя орла присвоено работнику одной из украинских областей, оставшемуся на своей земле во время немецкого нашествия. Этот работник до войны специально военным делом не занимался, он был специалистом совсем в другой области, и тем не менее украинский народ прозвал его генералом, воплощая в этом звании всю свою любовь к Красной Армии!

Случилось так, что в партизанском отряде генерала Орленко накануне 1942 года появилась радиоустановка. До того партизаны никак не могли наладить радиосвязь. Ведь радио — это все: связь с Красной Армией, возможность узнать, что творится на фронте, что происходит в тылу. Отряд почти пять месяцев ходил по лесам. Преследуемый противником, он, отбив табун коней у оккупантов, в течение трех месяцев питался только одной кониной, без соли и хлеба. Фашисты в своих листовках писали, что Москва давно взята, что гитлеровские войска стоят за Волгой. Конечно, партизаны не верили этому, но все же куда как хорошо знать правду.

И вот случилось необычайное. В отряде появилось радио и вместе с ним трое новых партизан. Недавно они составляли отряд человек в семь, что ли. Теперь остатки этого отряда, разбитого немцами, желали присоединиться к генералу Орленко.

Генерал запер радистов в хату. Приставил караул, чтоб не беспокоили. И сказал: «Не выпущу до тех пор, пока не свяжетесь с товарищем Хрущевым!» Идут минуты, часы. Новый год все приближается и приближается. Уже из соседних деревень, узнав, что генерал хочет говорить с Хрущевым, спешат к партизанам селяне. Партизаны приготовили угощение. Этим они хотели выразить свою уверенность в том, что советские армии целы, что немцев нет в Москве и что радисты найдут товарища Хрущева.

Теперь представьте засыпанные снегом леса, узкие дороги, немецкие броневики, шныряющие по шоссе, застывшие, звенящие трупы повешенных на столбах, могилы замученных — и горестный стон над Украиной. А в лесу, в хатке, сидят партизаны в ожидании. В соседних хатках партизаны накрывают столы для гостей, и сердца партизан ноют, ноют. Они верят своему генералу, недаром же

с боями шли они за ним пять месяцев! Они любят его приземистую фигуру, острые глаза, черные подстриженные усы и шрам на лбу.

Генерал быстрым шагом ходит вокруг хаты радистов.

Поодаль толкуют селяне, напряженно следя за генералом.

— Услышите Хрущева, гарантирую вам, — говорит твердо генерал. — Ручаюсь своим генеральским званием.

И он улыбается. Вокруг него снега, темно-синее украинское небо с волшебными — гоголевскими — звездами. И вокруг него — уверенность и сила.

Часы идут. Осталось несколько минут до нового — 1942 года. Что несет этот год? Какое счастье, какое горе?

Вдруг дверь распахнулась, и партизан крикнул с порога:

— Хрущев у аппарата!

Хата наполнилась народом. У стола стоял сияющий от счастья генерал. Радиоприемник был слабенький, но все же отчетливо был слышен голос Хрущева, поздравлявшего украинский народ, его партизан и, в частности, отряд генерала Орленко с Новым годом! Советские армии стоят твердо, враг будет разбит...

— Победа будет за нами! — откликаются партизаны.

И глаза их в слезах, когда они слышат опять голос Хрущева — голос Большой земли:

— Хай живе Радянська Украина!

Многие селяне, пришедшие послушать Хрущева, решили остаться у партизан — до победы.

Мы говорим то о Москве, то об Украине, то о Средней Азии, то вдруг о живописи, о кино, театре, то о спутниках, с которыми генерал приехал сюда.

Возле стола, невесть как попавшего сюда, широкое кресло. Однако двоим в нем уместиться трудно. Но все же уместились. Сидит светловолосый молодой человек и рядом с ним его жена. Она приехала, чтобы повидаться с ним. Он разговаривает со мною. Лицо его задумчиво, нежно. Рука лежит на плече жены, перебирая стеклянные бусы, украшающие ее шею. Он контужен. Голова перевязана бинтом. Зовут его Александр Балабай. Он — быв-

ший учитель, окончил Педагогический институт имени Гоголя в Нежине. Мы вспоминаем Нежин — я был там много лет тому назад... И вдруг Орленко перебивает меня:

— А как вы предполагаете, сколько фашистов убил этот человек? — И он указывает на Балабая.

Я гляжу на нежное и задумчивое лицо и говорю:

— Такой может и ни одного не убить, а рассердившись, и зараз пять уложит.

— Вот-вот! — обрадованно говорит генерал. — Так он у нас часто сердится. Он убил шестьдесят трех фашистов, из них шестнадцать ножом. Понятно? Но-о-жом!

Еще бы не понятно! Я знаю, что такое нож и как трудно воевать с ножом. Нужно быть не только смелым, но и очень хитрым, ловким, изворотливым...

Генерал между тем продолжает:

— Смотрели мы здесь фильм «Секретарь райкома». Вы еще не видели? Советую посмотреть. Интересная картина, хотя, на взгляд партизана, и есть в ней недостатки, в частности то, что маловато молодежи. А у нас ее много. Я, например, самый старший среди всех. А сколько мне лет, по-вашему?

Я вглядываюсь в его лицо. Заботы и горе, конечно, состарили его раньше времени.

— Сорок пять?

— Тридцать восемь! Надо быть выносливым. К тому же нам пришлось питаться кониной в течение трех месяцев. — Он рассмеялся. — Ну и надоела ж нам эта конина! Наравне с фашистами.

Каждый раз, когда он говорит слово «фашизм», ненависть, как молния, прорезает его лицо.

И сейчас, на мгновение притушив свою ненависть, он продолжает спокойно:

— Что поделаешь, приходилось отступать. Но отступали достойно. Этим летом фюрер приказал навести «порядок» на Украине, то есть уничтожить партизан. Для того «порядка» определил, кроме полиции, десять фашистских дивизий с самолетами, танками, минометами, орудиями. Из тех десяти на мою долю досталось две. Они так и назывались «дивизиями порядка».

Он положил мне на колено маленькую, но удивительно крепкую руку и сказал:

— Помучили нас те «дивизии порядка», но и мы им

пить дали! Кружили мы, кружили по лесам и долам, измотали немца так, что он задыхаться стал...

Он повернулся к кому-то из военных, сидевших в комнате, и продолжал:

— Вот вы говорите — нельзя командира пускать впереди солдат. И это правильно. Но вот у нас, партизан, был такой случай. Гонят нас те «дивизии порядка». Так. Приходят ко мне люди из незнакомого отряда. Лица встревоженные. «Что, испугались?» — «А как же, товарищ генерал, говорят, мы ведь окружены!» — «Вот дурни. Мы все время окружены. Только иногда теснее, а иногда слабее. Ведь мы в тылу немецкой армии. И тем не менее наши идеи не окружишь!» Вижу — у людей тревога. Устали? Значит, надо учитывать психологическую сторону вопроса. Окружены? Будем прорываться. Как?

Он сказал, глядя военному в лицо:

— Командиры и политработники с автоматами стали впереди. Снег по пояс? Надо дать пример, как можно наступать по такому снегу! Позади поставил рядовых и дал артиллерийский залп. Артиллерия у нас хорошая, снарядов для изумления врага не пожалел. Прорвали окружение на два километра и хлынули!.. Но как хлынули! Какое изумление вызвали у фашиста! С того изумления у нас потери — один убитый и один раненый, а у противника, бегло считая, — четыреста девяносто трупов. Дивизии ушли. Мы трофеи несколько дней подсчитывали и убирали.

— Были пленные?

— Пленные? Разве «языка» возьмешь, а чаще всего они, если видят опасность, предпочитают от нас бежать.

Он вздохнул.

— Много приходится терпеть Украине. Но яростно клокочет она, и тяжко будет врагу, ох как будет тяжко немцу! Много поднималось на немца сел и городов, много поднимали мы — ведь мы, петляя, прошли по Украине свыше трех тысяч километров... Приказали фашисты одному селу выбирать полицейских и старосту. Село говорит: «Мы вас не звали и знать вас не хотим». — «Выбирайте!» — «Не будем выбирать!» — «Сожжем село». — «Не будем выбирать». Сожгли фашисты село. Согнали селян. «Выбирайте!» — «Не будем выбирать». Повесили каждого десятого.

Опять согнали. Опять селяне отказываются. «Детей побросаем в огонь». — «Мы вас не звали, вы нам не нужны». Побросали фашисты в огонь малолетних. Развалили село артиллерией и ушли. Узнали мы о тех зверствах поздно. Когда ворвались в село, увидали только развалины, трупы да дым. Едем и, каюсь, плачем. И вдруг видим: идет по развалинам старуха и что-то в подоле несет. Подходит к нам. «Что такое несете, бабушка?»

Она и говорит: «Побили у меня всех, уцелела я одна на горе. Умереть бы мне, да вот хотела вас встретить, бо слышала, что курите вы дубнячок».

А у нас действительно происходили затруднения с куревом, и курили мы «дубнячок», попросту говоря дубовые листья. «Да, говорим, курим дубнячок, но, извините, какое это имеет отношение?»

Тут старуха и говорит: «А вот поручили мне селяне передать вам табаку, и еще там есть... от немцев сберегли, велели передать... сами селяне-то насмерть полегли, а мне поручили передать вам табак, чтобы не курили вы того пакостного дубняка».

Показывает. Лежит в подоле табак — хороший, желтый, выдержанный. Да в ямах еще был табак, так что надолго нам хватило...

Все присутствующие в комнате, растроганные рассказом, замолчали.

Генерал закурил папиросу, и нам показалось, что она из того желтого табака, который поднесла ему украинская старушка.

Три тысячи километров генерал Орленко со своими сподвижниками прошел по Украине. И чем дальше он шел, тем все крупнее и крупнее становился его отряд. Появились у него уже не пулеметы, а целые батареи, вплоть до тяжелых орудий, появилось у него все для больших ударов по немцам, а главное — пришла любовь народа, имя, подаренное народом, — Орел.

Однажды партизанам понадобилось смолоть пшеницу. Отправили они пшеницу в село на мельницу. Крестьяне отказались молоть. «Не знаем, мол, кто вы такие...» Сообщают Орленко. Он приезжает в село и созывает селян

на собрание. Собрались селяне. Орленко выходит и говорит:

— Я генерал, прозванный Орленко. Вот за мою голову фашисты назначили сто десятин земли по выбору и пятьдесят штук скота и всюду мои фотографии расклеили. А не выдают. Почему? Потому, что мало назначили. В нашей области было три миллиона десятин земли, бюджет у нас был несколько миллиардов, и та область принадлежала и мне и вам. Так как же менять всю область на гитлеровскую неволю? Кто согласится?

Селяне рассмеялись и говорят: «А чего ж ваши не сказали, что они от генерала Орленко? Мы б помололи». И верно, помололи пшеницу.

А генерал Орленко все шел и шел, только усы и борода у него становились длиннее. На плечах — бушлат, на ногах — красноармейские ботинки, оба на левую ногу.

Идет Орленко через одно село. Навстречу староста, кричит на селян:

— Сукины сыны, не подчиняетесь, разбаловала вас советская власть! Вот коменданту пожалуюсь, выпорет!

Подходит к нему Орленко.

— Что такой сердитый, дядя?

— А ты чего шляешься? Документы!

— Тебе немецкие или советские?

— Документы!

— Пожалуйста. — И вынул из-за пазухи пистолет.

Староста вгляделся в его лицо и сказал:

— Разумею, разумею. Проходите, товарищ Орленко, ваши вон туда в лес пошли.

Прошло несколько дней.

Опять я встретил генерала Орленко.

В ватной куртке, ватных штанах и валенках, радостный, подтянутый и в то же время очень серьезный, он сказал:

— Ухожу на Украину. Спасибо за гостеприимство. Думаю, что скоро будете иметь возможность приехать на поезде в наши места. Встретимся в большом украинском городе, в большом и хорошем доме. Как-никак, а это уже верное дело, что победа будет за нами!

УЧИТЕЛЬ ИЗ ОТРЯДА ГЕНЕРАЛА ОРЛЕНКО

Его зовут Александр Петрович Балабай. Он — украинец. Это русый, выше среднего роста, сдержанный человек с нежным цветом лица, на котором румянец выступает, как пожар. Ему под тридцать. Он был ранен, затем контужен, и генерал Орленко послал его для излечения на Большую землю, как называют партизаны необозримые просторы родной земли, на которые не ступала нога оккупанта.

И вот он сидит передо мной, глядит на шкапы, заставленные книгами, глядит с любовью, как может глядеть учитель, преподаватель истории и географии. Время от времени нежное лицо его вспыхивает, особенно когда он рассказывает о рукопашных схватках с врагом, сдержанность покидает его, он встает и в лицах изображает, как происходила схватка.

До войны он был директором средней школы в селе Н. на Украине. Одновременно он преподавал историю и географию. Он очень любил своих учеников, свою школу. Партизанский командир, прозванный ныне народом «генерал Орленко», занимал тогда в области пост, который имел косвенное отношение и к делу Балабая. Он и предложил Балабаю направиться в Н-скую школу, которая находилась в отсталом состоянии.

До приезда в село Балабай уже в течение десяти лет был преподавателем и директором разных школ. Он принялся рьяно за работу: отремонтировал школу, завел библиотеку, химический и физический кабинеты, устроил неподалеку от школы стадион, по всей территории развесил керосиново-калильные фонари — электричеством село еще не обзавелось. Красота! Выйдет ночью на крыльцо школьного дома Балабай, а на небе — луна, а в ограде огромные, точно луна, горят фонари, а по ту сторону улицы, в кустах, соловей приветствует его и его школу отличнейшим пением. Ну, просто красота!

В квартире Балабая на книжной полке стоит полное собрание сочинений Ленина, затем Иван Франко, Коцюбинский, Мопассан. Любил Балабай читать о франко-прусской войне 1870—1871 года и о 1812 годе. Очень любил он Некрасова. С начала войны Балабай ведет дневник. Заметки о партизанском отряде перемежаются стихами, вклеенными цветными открытками и рисунками, вырезанными из журналов. Открытки или фото нецветные

Балабай разрисовывает от руки разноцветными карандашами. Много стихов. Авторы не указываются, словно их имена Балабаю не очень интересны, но если стих взят из Некрасова, то Балабай непременно напишет под заглавием стихотворения: «Из Н. Некрасова» и даже подчеркнет это.

Балабай, бывший учитель и директор школы, — прославленный партизанский командир в «армии» генерала Орленко. Глядишь на него, и кажется, будто Балабай с минуты на минуту может уйти опять в поле и лес. Да так оно и есть. «Поправлюсь, пойду опять к Орленко», — говорит он.

Как же случилось, что скромный учитель, директор школы, преподаватель истории и географии Александр Балабай, ныне орденоносец, стал прославленным партизаном?

Брат его отца в гражданскую войну был партизаном. Мальчик Саша с упоением слушал рассказы дяди. Однажды Саша сказал:

— Эх, жалко, что не был я тогда большим.

На что отец мальчика сказал, усмехнувшись:

— Жизнь предстоит длинная. Еще успеем и попартизанить.

Сбылось предсказание отца.

К селу подходили немцы. Учитель проводил свою семью за три километра от села и сказал жене:

— Больше не могу.

Жена рассердилась.

— Всей любви у тебя хватает на три километра?

— Моей любви хватит на всю жизнь, — сказал Балабай. — Но раз я сказал, что останусь в тылу, надо это организовать. Хорошо войну устрою, хорошо и вернусь. Жди меня!..

Обнялись у трех верб и расстались.

Собрал своих учеников из 9-го и 10-го классов — тех, что учились отлично и были хорошими спортсменами.

— Враг приближается. А вы куда пойдете?

— Будут партизанские отряды — пойдем в них.

— Так вот я и организую партизанский отряд. Я и командир. Пойдем вместе воевать?

— А чего не пойти?

Восемь учеников согласились идти с ним в лес.

Поговорил с учителями:

— Не желает ли кто остаться в тылу действовать?

Согласились двое. Один — преподаватель математики Иценко Петр Анисимович, человек с высшим образованием — кончил Днепропетровский педагогический институт.

На четвертый день вышли уже из леса на операцию против гитлеровцев.

Ехали по неопытности торжественно, медленно, как, по воображению казалось, должны наступать партизаны. Впереди — красное знамя.

Но эта-то торжественность наступления, оказывается, и навела панику на противников: они подумали, что тысячи партизан идут из лесу, и убежали из села. Отряд Балабая захватил три автомашины, винтовки, убил семь фашистов — число, почти равное численности отряда, — и вернулся в лес. Имущество, награбленное гитлеровцами, роздали населению. Идет Балабай с отрядом через село — выбегают старушки, целуют, ласкают:

— Зайдите, чарочку выпейте, Александр Петрович.

Ученики выскакивают, спрашивают:

— А когда, Александр Петрович, будем класс кончать?

— Не волнуйтесь, окончим. Кто очень взволнован, может ко мне, для успокоения, в отряд поступить. До свиданья. Ждите.

Отряд пополнялся людьми, вооружением, конями. Лучших своих коней колхозники отдали в отряд.

После нескольких удачно проведенных операций Балабай получил задание от партизанского отряда связаться с одним работником в одном селе.

Путь к тому работнику лежал через село, где недавно Балабай был директором школы. Можно было, конечно, и миновать село, но очень уж ему захотелось увидать любимую школу, свои книги, учебные кабинеты; стал себя и других партизан уговаривать, что у них не хватает картошки, что надо зайти в село Н. непременно.

Подошел к первой с краю хате:

— Немцы есть?

— А, здравствуйте, Александр Петрович! Немцы были, а теперь нету. Картошки не надо ли?

А он и забыл, что пошел за картошкой.

— Нет, спасибо, не хочется.

Встретил на улице старичка, завхоза школы.

— Давайте посмотрим мою квартиру.

— А какая там квартира!

Была в начале 1941 года не школа — цветочек, а теперь что осталось? Библиотека, физический, химический кабинеты — все либо увезено, либо пожжено. Устроил он в школе комнату отдыха с мягкой мебелью, ученики говорили, бывало: «Уходить, честное слово, Александр Петрович, отсюда не хочется». А теперь?.. Тьфу!..

Смотрит на разорение Балабай, и впервые ему хочется уйти из этой школы поскорее. А старичок завхоз неторопливо рассказывает, что и все прочее на селе враги разорили — больницу, клуб, кино, буфет... Прибежала поздороваться одна из учительниц, тоже говорит о разорении. Дрожит Балабай от ненависти. «Ну, думает, поквитаюсь я все-таки за все это с фашистами, даю слово учителя».

Только подумал, а тут и случай представился.

Земля уже была мерзлая. Слышит — гул по ней идет. С чего бы это? Учительница побледнела. Завхоз успокаивает:

— Кто-то подводой едет.

Учительница смотрит в окно.

— Какая там подвода! Немцев полно село понаехало.

Балабай — к окну. Видит — к зданию подходят три грузовика и одна легковая с офицерами. Останавливаются прямо против дверей. Балабай оглядывается — ни завхоза, ни учительницы в комнате. А ему куда? На чердак? Побежал было на чердак, да вспомнил, какая у противника тактика: как только узнают — в хате партизаны, обычно поджигают ту хату и сидят с автоматами вокруг, ждут, не выскочит ли из полымя партизан. Погибать так бесславно?

Балабай решил пробираться напролом. Он вскочил в столовую. Выбил раму. Ноги вперед. Земля! Опустил туловище на землю. «Вот, — говорит самому себе, — спасибо, что дом выстроил одноэтажный...» И пополз к сараю.

Местность открытая. Только за сараем бугорок. Ползет... остановится, опять ползет.

И видит — колхозница Марья Батюк машет ему руками: мол, не в ту сторону ползешь! Надо к другому сараю, что служит кладовой для школы. Балабай меняет направление и глядит: немцы идут. Но тут, откуда ни возьмись, учительница, та, что к нему прибегала только что. Останавливает немца, заговаривает... Тем временем Балабай уже у кладовой, оторвал доску — туда! Стоит, ощупывает себя. При нем сумка с отрядными документами. Куда девать все это? При нем карабин, при нем пистолет — последнюю пулю в себя, конечно, — но документы?

«Нет, не может быть! Надо пробиваться!» — говорит сам себе Балабай и идет к дверям.

А у дверей уже гитлеровский офицер:

— Хальт!

Балабай ему — раз из пистолета в живот. Тот и упал перед дверьми. Балабай перекинул сумку и бежать!

Навстречу — шесть немцев. А у него за пазухой граната. Балабай — гранату в них. Кто полег навечно, а кто с криком обратно. Балабай перебежал улицу и залег за липы. Раз, раз, раз! — из карабина. А затем вспомнил о том, как Чапаев, Щорс, Пархоменко брали врага на панику. Глядит — подальше, за дорогой, колхозники лен выбирают. Разве противник разберет с испугу что к чему? Балабай встал, повернулся к тем колхозникам и зычно крикнул:

— Товарищи партизаны, за мной!..

Немцы, услыхав его крик, из школы повыскочили.

Балабай полем в лес и в старое русло реки. В поле встретил своих учеников. Спрашивает:

— Ребята, если фашисты вас будут спрашивать обо мне, что будете говорить?

— Скажем, ничего не видали.

— Правильно.

Балабай уже скрылся в лесу, а немцы, отбежав от школы, бьют по воображаемым партизанам из минометов — все сараи, всю школу изрешетили. Собрали затем селян, спрашивают:

— Куда скрылись партизаны?

Не только ученики, взрослые даже пар изо рта не пустили, молчат.

...По поводу этого эпизода Балабай замечает:

— На опыте войны вижу, что в основном преподавание у нас поставлено правильно.

Да и точно. Если расширить слово «преподавание» до размеров всей нашей культуры, то пожаловаться нам особенно нельзя. Возьмем того же Александра Балабая. В течение всех его боевых действий с немцами народ активнейше поддерживал его. Ему привозили продукты, приводили коней, к нему приходили люди, ученики собирали сведения о немцах, рисовали плакаты. Идут немцы утром по селу, а на заборах огромные лозунги: «Да здравствуют красные партизаны! Смерть бандиту Гитлеру!»

Противник большими силами окружил лес, в котором засел в болоте Балабай. Самого Балабая контузило. Холодно. Есть нечего. Питались замерзшей брусникой, корешками. Видит Балабай, что может погибнуть его отряд. Говорит связному:

— Любой ценой надо связаться с отрядом, дойти до самого Орленко. Скачи.

Связной поскакал. За одну ночь он сделал во тьме шестьдесят пять километров, пока не отыскал Орленко.

На другой день к девяти часам утра пришла помощь: сам Орленко с отрядом. Тем же временем получили сведения, что немцы окончательно блокировали лес и болото. Но наступать еще не наступают, а чего-то ждут...

— Пускай ждут, а мы пока разработаем план, — сказал генерал Орленко. — Мы их ждать не будем.

Прошел день, ночь. В пять часов утра отряд атаковал неожиданно село П., где находились главные силы немцев, откуда они думали идти в балабаевский лес.

Нападение было абсолютно неожиданным. Все взлетело на воздух — гарнизон, склады с боеприпасами, орудия. Немцы «газовали» из села и с перепугу побили много своих же, шедших к ним на помощь. Сотни полегли их.

Балабай добавляет:

— А подобных стычек было очень много. Наш отряд одних крупных боев выдержал семьдесят, а немцев уложил, по скромному счету, пять тысяч сто пятнадцать.

Он краснеет от удовольствия.

— В одном бою, например, моя рота выдержала большой напор. Мы положили тогда сто пятнадцать человек. У меня отечественный автомат. Хорошее оружие! Я в нем уверен. Он ни разу не изменял, в любую погоду бьет,

только были 6 патроны. Идут на нас гитлеровцы, батальон. Ну, и полицейские. Взял меня азарт. На лыжах, маскировочные халаты, собаки у них, минометы мелом покрашены, звено самолетов шесть дней бомбит наш лес. Ну, как не злиться? Встал я во весь рост и поливаю их из автомата, поливаю. Мне кричат: «Зачем встал?» А я отвечаю: «Учить немца хочу! Пускай поучится, как на нашу землю идти!» И, прямо скажу, в поле — мороз, а мне от злости жарко. Я стою во весь рост и кошу их, кошу. И так, думаю, буду косить, пока всех не скошу.

И он встает во весь рост, русый, с нежным лицом, пылающим алым румянцем. И кажется, что перед тобой встала вся молодая, прекрасная, смелая Советская Украина, встала и косит врага, косит и косит, как сорную траву, пока всю не скосит!

Когда Балабая ранили и он не мог принимать непосредственного участия в операциях, генерал Орленко поручил ему редактировать «Партизанские листки» — боевые летучки партизан. Кроме того, Балабай выпускал листовки — обращения к населению.

— А когда генерал Орленко, — рассказывает Балабай, — отправлял меня на Большую землю, он мне говорил: «Вы, Балабай, историк, так и подберите все, что касается истории нашего отряда». Я, надо сказать, предчувствовал, что будем создавать историю, и то, что придется мне встретиться с таким замечательным руководителем, как Орленко. Я со дня организации отряда веду дневник и ношу его всегда вокруг себя тетрадками, как спасательный пояс.

И он показал мне, как носит он под рубашкой дневник.

А мне подумалось, что носит он на груди историю и поэзию нашего народа, его смелость, его мудрость, его победоносное будущее!..

1942

ОНИ ПИШУТ ЗАВЕЩАНИЯ...

«Чумою я был при жизни...» — таким эпиграфом начинается рассказ «Метценгерштейн» Эдгара По.

Да, он был чумою! И, как всякая чума, он был уничтожен. Преступный барон добыл необычайного коня и добыл, как все он делал, воровски, подло. Барон привязался к этому коню, скакал на нем день и ночь до тех пор, пока однажды не загорелся замок барона и безумный конь увлек в огонь и самого себя, и своего ездока.

Не «тотальная война» ли этот конь?

Не седок ли этот фашистская Германия?

Давно, не менее ста лет тому назад, написана эта характеристика мрачного барона Фридрика Метценгерштейна. Но разве краски поблекли? Разве вы не узнаете портрета, о котором вы слышите ежедневно?

«...его подвиги уже превзошли ожидания самых восторженных его поклонников! Бесстыдный разврат, гнусные предательства, неслыханные жестокости...»

Это о них, о немецких солдатах и офицерах, которые шли по нашей земле и которые нынче лежат в снегах и которых нужно уложить навечно в снега!..

Это о вас, лейтенант Брейтшедель!

И о вас, обер-ефрейтор Иоганн Кейниг!

И о вас, обер-лейтенант Векер!

И о вас, обер-ефрейтор Кайзер, кто пишет: «Русские ежечасно подбавляют нам раненых и мертвых, а пополнений мы получить не можем».

Да, вы не можете получить пополнений!

И не получите.

Стальное кольцо русских войск сжало вас под Сталинградом, и смерть вам от стали и железа — огненная смерть на великой и непобедимой русской земле.

Вы жгли и сравнивали с землей русские деревни, кололи людей, резали скот, и вы собирали в свой объемистый чемодан все, что подобает бережливому немцу собирать. Вы исправно писали домой.

Становилось все труднее и труднее. Но «фюрер» обещал Волгу, Сталинград, он прислал сюда самые лучшие свои дивизии. Гитлер обещал вам много русской земли, много «физической силы», попросту говоря — рабов.

В бинокль свой лейтенант Брейтшедель уже видел Волгу. Ему рисовался конец кампании и завершение всех планов, в результате которых он мог выполнить свои семейные и хозяйственные планы.

Но тут заговорили русские пушки, заговорили настолько громко, что немецким войскам стало не по себе. Лейтенант Польди Брейтшедель встревожился. Дело в том, что выяснилось: немецкие дивизии, уже вступившие на окраину Сталинграда, окружены! Как? Почему? Эти самые обыкновенные вопросы тысячу раз приходили в голову не только Польди Брейтшеделю, но и другим. Они бы, возможно, и не появлялись, если бы их не убеждали, что члены фашистской партии Германии — лучшие солдаты мира, а ведь 384-я пехотная дивизия или 60-я моторизованная дивизия укомплектованы в основном фашистами и организацией «гитлеровской молодежи».

Кольцо русских войск сжималось. Снаряды рвались с чудовищной силой и меткостью. И лейтенант Брейтшедель сел писать письмо домой. Он писал жене:

«Моя дорогая! Чтобы предупредить всякие неожиданности — не то, чтобы у меня были плохие предчувствия, нет! — я хочу сегодня...»

Обстрел усиливался. Трупами полегли фашисты и «гитлеровская молодежь»... Лейтенант писал завещание:

«...я хочу сегодня изложить свою последнюю волю».

Лейтенант Брейтшедель подробно расписал, как он распределяет свое имущество, как жена должна им распоряжаться. Он не столько верил, что родственникам и жене придется долго распоряжаться его имуществом, сколько желал успокоить себя, внушить себе, что он еще верит. Он закончил письмо так:

«Я спокоен и ко всему готов. Положение, в котором мы сейчас находимся, нельзя рассматривать в розовом свете. Ваш Польди».

Часа через два лейтенант Брейтшедель был мертв.

Еще через полчаса его завещание было в руках русских солдат. И не одно оно!

Тысячи солдат и офицеров устилали снежные поля под Сталинградом, залитые розовым светом восхода, но — что поделаешь! — немцы не могли рассматривать себя при этом розовом свете. Он был не для них. Да и какой там розовый свет, когда уничтожена целиком 384-я дивизия и командир ее генерал Гобленц еле успел улететь на самолете. Нет уже 376-й! Целиком лежит она в снегах России. Еле успели вбить кол в ее могилу, еле успели немцы прибить каску к этому дереву, как надо отступать. Оглянулись назад. Ветер, морозный степной ветер, качает обледенелую немецкую каску, и кажется солдатам, что укоризненно качают им головой мертвые. Уже нет 29-й моторизованной, уже тысячи и тысячи немецких солдат пишут завещания и мертвыми падают в поле, не успев даже и положить в конверт своего завещания.

Текст этих завещаний становился все короче и короче. Да оно и понятно. С одной стороны, и писать некогда и нечем — чернила мерзнут, а карандаши вываливаются из рук. А с другой — немцы уже перестают верить, что завещания их дойдут по адресу.

Поэтому и обер-ефрейтор Иоганн Кейниг написал родственникам очень коротко и вразумительно:

«Молитесь за своего папочку».

Подумал — и пустил себе пулю в лоб.

Впрочем, некоторым везет. Обходятся без завещаний. Так, например, повезло лейтенанту Францу Некелю. Этот лейтенант командовал батареей в 384-м артиллерийском полку. В последних боях не только его батарея, но и весь полк вообще перестал существовать.

Здесь вечером обер-лейтенант Векер — один из немногих, кто еще не написал завещания, — собрал к себе офицеров и солдат, сведенных воедино из разных разгромленных частей, и сказал им:

— Я могу вас обрадовать проверенным заявлением. Русские уже истощены, и мы получаем возможность собраться с силами, отдохнуть и взять, наконец, Волгу.

А следующим утром Франц Некель был разбужен таким отчаянным грохотом, что грохот этот показался ему чудовищным сном.

На воздух один за другим взлетали блиндажи с солдатами и офицерами только что сведенного полка.

Взлетел на воздух и обер-лейтенант Векер, держа, как утверждает Некель, в руке завещание, которое, наконец, он решил-таки написать. Сам же лейтенант уцелел случайно, засыпанный обломками, и был чрезвычайно обрадован возможностью оказаться в плену.

* * *

Чумою были эти люди при жизни!

И, чтоб не разносили чумы, превращены они в трупы и лежат ныне в российских донских полях, дабы своими разбойничьими плечами не заслоняли нам Сталинград и Волгу.

Лежат они и на земле, и в земле.

И видят они своими мертвыми глазами, что рядом с ними лежат десятки тысяч немецких, венгерских, румынских и прочих солдат и офицеров, тех, что шли недавно по Европе и грабили, и насиловали, и вешали, и расстреливали сотни тысяч людей.

Гремит победно по русской земле голос Верховного Главнокомандующего, гремит победно страна, в два месяца уничтожившая сто две фашистские дивизии. Невесело в преступном замке, в который превращена Германия, и бешеный конь войны, не слушая удил, вот-вот бросится в пламя, которое охватит замок, бросится туда, увлекая за собою всадника!..

Чтобы не существовать чуме, обрушилось на врага с силой невиданной, с отвагой необычайной славное советское оружие. Это оно, наше русское оружие, окружило, искромсало и превратило в прах двадцать две немецкие дивизии, зажатые в кольцо под Сталинградом. Только что по всей земле раздались слова «В последний час», подводящие итоги боев под Сталинградом. От двухсот двадцати тысяч отборнейших немецких войск осталось только двенадцать тысяч. И эти двенадцать тысяч близки к могиле. Опускается над разгромленными двадцатью двумя немецкими дивизиями занавес истории, занавес их существования. Встает наша русская слава, наше светлое будущее.

Вперед идет наша страна. Вперед, на врага, чтобы уничтожить гитлеровскую чуму, чтобы быть нашей окончательной победе!..

27 января 1943 года

ЧАС РАСПЛАТЫ

Второго февраля 1943 года закончилось одно из величайших сражений всех времен и народов — Сталинградская битва, битва при Волге.

Оно закончилось полным разгромом трехсоттридцатитысячной немецкой армии, пленением свыше девяноста одной тысячи отборнейших немецких солдат во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом, двадцатью тремя другими генералами и двумя тысячами пятьюстами офицерами.

Поражены сотни тысяч лучших немецких войск. Поражены в том месте, где они рассчитывали похоронить Россию, куда пришли с земельными планами, дабы нарезать своим офицерам участки поместий, откуда хотели окружить Москву и отбросить русских за Урал.

Но поражены не только лучшие немецкие войска. Эта битва разрушила одно тщательно выстроенное здание в готическом стиле, называемое «непобедимостью Германии». Вера в непобедимость Германии, этот черный штандарт немецкой шагистики, уничтожена в донских степях советскими войсками!

Песня о «непобедимой Германии», руководимой фашистами, замолкла у берегов Волги, утонула навсегда в донских степях.

Миф о «непобедимой Германии» погиб навсегда. Тщательно окрашенное во все переливы крови, сложенное из костей побежденных, здание «непобедимой Германии» дает трещину. Вой и стенания все явственней слышны из этого здания: гитлеровцы уже объявили *траур* по всей Германии в связи с уничтожением немецких войск под Сталинградом, на два дня закрыл Геббельс все увеселительные заведения.

Много еще трудных боев у нас впереди. Но даже и младенец видит ту трещину, которую нанесли гитлеровской армии и гитлеровскому государству своим мечом русские солдаты, в которую уже ринулись и холод, и ветры, и — главное — страх.

Время возмездия приближается!

Время своим стремительным движением освещает весь путь нашей победы, нашей полной победы.

Русский народ сказал по поводу 1812 года: «Наступил на землю русскую, да оступился». Эта пословица относится и к нынешним дням. Разве что для весу стоит добавить еще одну: «Приехали пировать, а пришлось помирать».

Потому что немецким генералам и их воспитанникам давно хотелось попировать на вольном русском хлебушке.

Как раз в нынешнем году, во второй половине его, исполняется ровно двадцать пять лет того, как немцы через своих подручных «красновцев» шли на Дон и пытались захватить Царицын. Исполняется двадцатипятилетие обороны Царицына в 1918 году, когда войска красного Царицына наголову разбили белогвардейцев и тем спасли Советскую Россию, всю нашу страну от ига оккупантов. Отсюда, от Царицына, начались разгром и полное уничтожение немецких армий, занявших Украину. Отсюда началось освобождение Украины. Здесь родилась свободная Советская Украина.

Двадцать пять лет спустя немецко-фашистские орды уже не через ставленников, а самолично пошли на Волгу.

До двадцатипятилетия разгрома немцев под Царицыном осталось несколько месяцев. Отлично началась подготовка к этому юбилею; она начата с уничтожения трехсоттридцатитысячной армии первоклассных германских войск, опытных, великолепно вооруженных. Началось уничтожение «непобедимой Германии» с пленения генерал-фельдмаршала. Мы повторяем — фельдмаршала. Фельдмаршалов берут в плен не часто. Например, за все существование России не было пленено ни одного русского фельдмаршала.

Таковы результаты битвы при Волге.

Огромное воодушевление и радость охватили наш народ.

Я шел по улицам Москвы. Громаднейшие очереди стояли у киосков, продающих газеты с приказом Верхов-

ного Главнокомандующего по войскам Донского фронта, с боевым донесением представителя Ставки — маршала артиллерии Воронова и командующего Донским фронтом генерал-полковника Рокоссовского, сообщающих о полной ликвидации немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. И лица всех были радостные, сияющие, и незнакомые люди показывали фотографии в газетах, где были видны советские генералы и пленный фельдмаршал Паулюс — «тот главный немец, который нас хотел загубить», как молвила одна женщина в платке.

С любовью и нежнейшей гордостью приветствует сегодня советский народ приказ Верховного Главнокомандующего, объявившего благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия.

Этот приказ — благодарность всего советского народа за весть о победах наших воинов.

Такие победы появляются в результате упорнейшего труда всего народа, напряжения всех его сил, всей его воли, всех его чувств, всего его хотения победить ненавистного врага, изгнать его из пределов отечества, уничтожить врага.

Смерть уже вьет свое гнездо в гитлеровской Германии.

Месть направила туда свой меч!

Мертвецу земля — гроб. Солдат «непобедимой Германии» уже начал превращаться в мертвеца.

Гробом ему будет земля наша!

...Однажды Петру Великому представили рисунок — эстамп, на котором был изображен лев, держащий в своих когтях пораженного орла. Под орлом художник подразумевал Россию. Полагали, что Петр при виде этой аллегории выйдет из себя.

Петр спокойно рассмотрел рисунок, осведомился об имени художника и, улыбнувшись, сказал:

— Отослать ему оный для переправки сообразно с полтавским сражением...

* * *

...Гробом пришлась фашисту земля наша!

Сообразно с битвой при Волге — хочет немец или не хочет, — но он вынужден будет исправить рисунок, изображающий русского человека.

Этот рисунок изображает далеко не то, чего желают

немецкие маляры. Но освещение в здании «непобедимой Германии» так искусно преломляло лучи, что косой рисунок многим казался правильным и даже, наверное, убедительным. Ныне луч русского солнца осветил это жилище сов. Слепые, мечутся они по зданию!

Восход полной победы приближается!

Битва при Волге закончена.

Ни одного вооруженного немца нет на древних берегах русской любимой реки нашей. Только немецкие трупы да десятки тысяч пленных, уныло поникших головой, видит она.

Видит Волга и радуется за своих сынов — за своих детей, за родину нашу — в день 2 февраля 1943 года, в великий день славы российской!

4 февраля 1943 года

РУССКОЕ ПОЛЕ

Это удивительное событие случилось под Сталинградом в конце 1942 года.

Двадцатипятилетний командир эскадрильи штурмовиков лейтенант Гавриил Иванович Игнашкин получил задание: разгромить в тылу врага аэродром, на котором, как сообщила разведка, стояло не меньше сотни транспортных самолетов и истребителей. Лейтенант Игнашкин поднял два звена «илов» и полетел.

От аэродрома, где находились самолеты его полка, на юг, к аэродрому противника, можно было лететь почти по прямой. Однако Игнашкин решил описать дугу, чтобы налететь на немца из-под солнца. Поэтому он спустился вниз по Волге.

Когда он покинул лозняки и крутые яры правого берега, поднялся над степью, он заметил легкий туман. Игнашкин вгляделся и почувствовал беспокойство. Дело в том, что кабину его самолета наполнял странный запах, причину которого было трудно отгадать.

Откуда этот запах?

Лейтенант вспомнил большие праздники в селе, где и отец его, и дед, и он сам в ранней юности крестьянствовали. Они были очень бедны и поэтому только в большие праздники могли печь пироги, и так как в Орловской области не столь уж много дров, то, экономя топливо, постоянно пироги те либо не допекали, либо, торопясь, перепекали. Так вот теперь запах, наполняющий самолет, напоминал запах подгоревшего хлеба.

Лейтенант великолепно знал свою машину. Мало ли какие запахи свойственны ей! Но запаха подгоревшего хлеба она никогда не издает.

Туман густел. Запах подгоревшего хлеба усиливался.

Лейтенант, чтобы выйти из тумана, стал подниматься.

«Откуда он, туман? — размышлял лейтенант. — По данным метеосводки, не должно быть тумана! А метеосводка у нас всегда правильная: на всем пространстве от Волги до Дона не может быть тумана».

Тревога, таинственная и какая-то горькая, наполнила его сердце. Что такое? Почему?

Он набирал высоту. Он поднялся на восемьсот метров. Люди его эскадрильи не подготовлены к полетам на высоте. Да к тому же странный туман, видимо, также тревожил их. Они ближе прижимались к ведущему самолету. Туман между тем не уменьшался. Всюду, куда хватал глаз — вперед на сотню километров, с боков на сотню, — земля была покрыта этим туманом.

Ни лейтенант Игнашкин, ни его ведомые на «илах» никогда не поднимались к высоте трех тысяч метров. И все же добрались, потому что от самой земли до трех тысяч метров в неподвижном и горячем воздухе лета стоял туман.

И только когда самолеты вышли из полосы дыма и лейтенант увидал внизу, словно застывшие перья, полосы тумана, он понял, откуда это.

Горели нивы. Дым!

Да, горел хлеб, и горел на корню, горел на всем пространстве от Волги до Дона.

Горел людской, крестьянский труд. Горела русская, донская, казачья земля, горела, подожженная немецким войском.

Горько было лейтенанту вести самолет над этим дымом. Отец его так воспитывал детей: все в людях, а сам работает дома. Тяжело с девяти лет ходить по людям, поднимать чужую землю, копать или полоть, или даже просто караулить урожай или скот, пасущийся на земле. И все же, несмотря на все тяготы, Игнашкин любил поля, поднимающиеся хлеба, запах созревающей нивы...

Земли не было видно. Лейтенант шел на высоте. Время истекло. Он подлетал к Дону по всем расчетам. И он начал пробивать дым. Как бы ни горек был этот дым, но Игнашкин не имел права вернуться — задание срочное, совершенно необходимое.

Он перелетел Дон. По ту сторону реки дыма не было. Лейтенант снизился. Он пролетел речушку, горку, лесок и за лесом увидел совершенно открытое поле — российское, донское поле.

Лейтенант летел бреющим.

Поле было недвижно. Лучи солнца озаряли его с востока, и лейтенант видел впереди тень своего самолета, крадущегося к вражескому аэродрому.

Направо и налево, в безмолвности — ибо ничего, кроме гула пропеллера, лейтенант не слышал, а гул этот был для него уже привычен, вроде тишины, — так вот направо и налево лейтенант видел на поле поверженные немецкие танки, исковерканные орудия, брошенные повозки и трупы, трупы немцев. Минуты шли за минутами, километры шли за километрами, но всюду, куда он ни бросал свой взор, всюду лейтенант видел разбитые танки, орудия, повозки, покинутые мертвецами окопы и всюду неубранные трупы немцев, словно их столько набили, что и хоронить-то некому!

Лейтенант увидел впереди себя большак.

Дорога, широкая, в выбоинах, наполненная белой пылью сверх края, лежала неподвижная и пустая. Лейтенант полетел вдоль нее, на высоте двадцати метров, так что можно было разглядеть следы от автомобильных шин.

И вдруг он увидел впереди крестьянина.

С запада на восток по большаку шел крестьянин с палочкой, с сумкой за плечами.

Увидав русские самолеты, крестьянин остановился, снял шапку и, перекрестившись, показал на восток — дескать, туда иду.

Лейтенант приветствовал старичка, показав, что он сам идет на запад. Оглянулся.

Старичок уже надел шапку и по-прежнему шел большаком, пустынным, пыльным и жарким, на восток.

Лейтенант подумал: «Да что он, не знает, что там линия фронта?» Лейтенант заметил место, где встретился старичок. «Возвращаясь, — думает, — посмотрю, куда всетаки он пошел этим страшным полем».

Летит лейтенант. Летит полчаса, час...

По расчетам лейтенанта, километрах в двадцати должна уже быть железная дорога.

Так оно и есть. Видит — линия. Справа, значит, надо быть аэродрому.

Видит — стоят на аэродроме вражеские самолеты.

Лейтенант подает команду: атака!

Высота у него к тому времени была триста метров. Стал он обстреливать аэродром из пушек, из пулеметов... Потом по бомбе сбросили. Немцы из зениток открыли та-

кой огонь, словно вся земля подряд пушками установлена.

Лейтенант — по оврагу, бреющим. За ним ведомые.

Поднялся повыше. Видит — горят три огромных факела на аэродроме. Значит, транспортники пылают. Затем послышался взрыв — склад со снарядами. Сделано, словом, все, что нужно. Лейтенант чувствовал удовлетворение.

С той цели, которую он разгромил, лейтенанту по прямой было ближе к своему аэродрому. Но вспомнил он хлебный дым, через который должен лететь, вспомнил старичка крестьянина с котомкой, и захотелось ему увидать: куда же все-таки старичок идет?

И лейтенант повернул на прежний курс.

На большаке старичка уже не было.

Однако вскоре лейтенант обнаружил старика.

Он подошел к самой линии фронта и полз через нее.

Он полз на восток, к своим, к родным, к милой армии, к сыновьям, которые ушли с ней, к детям, которые уехали в эвакуируемых поездах, к знакомым, которые угнали стада... Он полз с запада на восток!

Увидав приближающиеся русские самолеты, старик встал на колени, положил перед собою шапку и поднял кверху руки.

Этим жестом он говорил: «Возьмите меня, летчики, возьмите меня, я не могу быть среди немцев!»

Лейтенант так и понял его.

Но лейтенант не имел приказания на посадку. Да и как мог он сесть?

Лицо и руки лейтенанта были мокры от слез.

Он поднялся вверх, как бы пытаясь этим смахнуть свои слезы.

Когда лейтенант спустился на свой аэродром, его окружили ведомые:

— Товарищ командир, вы заметили старика, как он просился?

— Конечно, видел.

* * *

Русский человек, разозлясь, редко употребляет высокопарные слова, а того реже — высокопарные жесты. Сверкнет он глазами, стиснет зубы так, что стальные желваки забегают по челюстям, да еще, пожалуй, пустит крепкое слово, от которого и сосна качнется до корня, — и все.

Зато ненависть русского человека долга и результаты ее страшны.

Вспоминая те горящие хлеба, те разрушенные немцами села, которые они видели, и, наконец, того старика, который полз через фронт на восток, летчики подразделения старшего лейтенанта Игнашкина совершили много славных дел.

Есть под Сталинградом пункт Гумрак. Там километра на два скопились немецкие танки. Лейтенант Игнашкин привел к Гумраку свои самолеты — восемнадцать «илов» и двенадцать истребителей — и в великую ненависть вошли его ребята. Отбомбили. Видят, много очагов пожара, — ну, и уходи, казалось. Нет! Самолеты зашли еще раз, чтобы на бреющем окатить немца из пулеметов и пушек. Затем еще и еще! Игнашкин их и увести не может. Свыше сорока танков вывели из строя, а им все мало! Игнашкин собирал их минут сорок, так и не собрал, пришлось одному уйти, они уже вернулись сами — и вернулись без потерь.

Делали в день по четыре-пять вылетов.

— Устали? — спросит командир полка.

Конечно же, устали, да и не ели к тому ж. Однако говорят командиру:

— Нет. С чего ж уставать: дело привычное.

И командир знает, что устали. Но знает он также, что русской ненависти не остановишь. Он говорит:

— Летите.

* * *

За штурмовки под Сталинградом лейтенанту Г. И. Игнашкину присвоено звание Героя Советского Союза. У него не было ни одного случая, чтобы он не выполнил боевого задания. Г. И. Игнашкин сделал девяносто семь удачных боевых вылетов. Если вы попробуете помножить эти девяносто семь боевых вылетов на количество уничтоженных танков и самолетов противника, то получится цифра, которая вполне определяет силу ненависти, наполняющей лейтенанта Игнашкина.

Я видел его сразу же после получения «Золотой Звезды» Героя Советского Союза и ордена Ленина. Он стоял передо мной в полушубке, в шапке-ушанке. Длинная, сумрачная от меблировки и темных обоев комната окружала нас. Всюду лежали папки, книги. Это были книги

по истории России! И должен заметить, что, несмотря на свою молодость и округлое лицо, Игнашкин казался здесь на месте.

Я спросил его:

— Долго пробудете в Москве?

Он ответил:

— Завтра уезжаю. Под Сталинград. У нас, среди летчиков, есть такое животрепещущее мнение, что за того старика, который по полю через фронт полз, не совсем еще отплачено. Надо работать.

10 марта 1943 года

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

1. ПО ВОЕННОЙ ДОРОГЕ

Автомобиль «Додж», широкоплечий, голубовато-серый, выносливый, хотя и весьма прожорливый по части бензина, проворно и совершенно спокойно вбежал в город. Глядя на него, я думал, что иные машины, помимо исправного выполнения того, что им поручено человеком, вносят в свою работу нечто психологическое. Вот этот солидный «Додж», придуманный, по-видимому, одним из положительных героев Диккенса, того и гляди скажет: «Я уверен в удачном завершении моего дела, да и вы тоже, по-видимому. Приятное соседство, чрезвычайно приятное! Я бы с удовольствием протянул вам руку, но она в масле и пыли».

Красавец город — недаром же ему дали такое гордое имя: Орел! — лежал по обеим сторонам реки, раскинув беспомощно свои крылья, с перебитой шеей, с раздробленной головой, с потускневшими глазами...

К городу мы пробирались через окопы, лохматые от трав, от колючей проволоки. Кое-где возле окопов валялись обнаруженные и обезвреженные мины. Их желтое чрево цвета мокрого речного песка было выворочено. Подальше, в поле, торчали разбитые танки. Они похожи на глыбы камня, камня, из которого неумелый, но с большими претензиями скульптор хотел выбить памятник — попробовал, да бросил. Отчетливо виден крест — единственный знак, которому суждено остаться на память о германской попытке завоевать всемирное владычество.

Уже там, в поле, стало понятно, что нам не суметь полностью описать, как был взят нами Орел. И мы сами

себя, внутренне, старались освободить от этой трудной и, разумеется, невыполнимой сейчас задачи. Мощь, проявленная при взятии Орла, была столь велика и прекрасна, что дух захватывало!.. Эпическая сила событий требовала времени, размышлений. Надо было отойти — и во времени и в пространстве, как отодвигаются слегка от картины, когда хотят рассмотреть ее целиком. Я понимаю, что сравнение это тривиальное и не всегда верное, но в нем есть кое-что от истины, от уважения к подвигу человека, к его героизму. Вот почему я желал сосуществовать в этом подвиге, хотя бы в самой малой степени, тем более, что подвиг русских людей продолжался и мы видели его на каждом шагу. Где-то поблизости пролетали немецкие самолеты, в Орле то и дело слышались взрывы мин замедленного действия, мимо нас везли снаряды, шли войска, возле шоссе торчали вешки, воткнутые еще немцами... Наступление Советской Армии продолжалось!

Орлы прекрасного бессмертного Орла — орлы русской доблести и славы — стремились на запад. Всей душой отдавшись этому стремлению, мы шли с ними рядом, с ввалившимися от бессонницы глазами, дыша благовонной пылью летних дорог, отрывисто занося свои чувства и мысли в записные книжки, счастливые этой отрывистостью, так как в ней стучал для нас глухой и тайный метроном будущего, творческого будущего!

Красавец город разрушен? Да, разрушен.

Но уже слава — бессмертная слава Орловской победы — поднимает его, и он встанет. Не перебита его шея, не раздроблена голова, не потускнели глаза! Его сыны, могучие его орлята, с острыми молодыми глазами и дерзкими когтями, поднялись над крутыми и морщинистыми тучами и бросились неистово на врага. Враг хлопотно топчется, озирается, дрябло отвисли его щеки, побледнела мясистая и уже много лет багровая от выпитой крови шея. Горе тебе, Германия, горе тебе, фашизм!

2. ДИВИЗИЯ ИДЕТ ВПЕРЕД

Брянскими лесами вдоль фронта идет 380-я Орловская дивизия. Мне не говорят о задаче, которую дивизии предстоит выполнить, да и зачем мне знать! Я знаю вполне достаточно — дивизия двигается на врага, Орловская операция ощущается ею как операция вчерашнего

дня, и оттого лица у всех сияющие, веселые и нежные. Одно плохо: по чувству — Орловская операция происходила вчера, а как рассказывать о вчерашнем? Поэтому рассказы о взятии Орла — без того лоска, который накладывается временем. Я беллетрист, привык к лоску времени, к благословенно-медленному течению мемуаров, поэтому я недоволен. Я часто спрашиваю у командира дивизии полковника Кустова:

— Как же было то-то и то-то в Орле?

Он делает широкий жест, словно бросает, сея, горсть зерна:

— Так же, как и здесь. Приглядывайтесь. Глядите на орлов!

Дивизия идет ночью. Когда мы из лесу выходим в поле, явственно обозначается линия немецкой обороны; ракеты, пулеметы, орудия, минометы вычерчивают в темном, слегка дождливом небе багрово вздрагивающую полосу огня.

Трепетно поблескивает под молодым месяцем поле. В глубину беспечного неба стремятся облака с радужными от взрывов краями. Пехота тяжело шагает по ухабистой и, пожалуй, чересчур мягкой дороге: спать бы на такой перине, а не ходить — настолько дорога взбита, изрыта, исхожена.

Но до сна ли тут? Я не слышал слова «сон». Вместо «спит» говорят «отдыхает». Да так оно и есть! Не имея возможности спать ни восемь часов, ни шесть, человек отдыхает четыре — пять, чтобы снова приняться за тяжелый труд войны, чтобы совершенно лишить противника не только сна, но и отдыха. И не только отдыха, но и возможности передвигать ноги!

Ночью здешние леса таинственно прекрасны. Сколь ни рубили их немцы, сколь ни жгли, по-прежнему поднимаются вверх могучие сосны, по-прежнему сладко и проворно шелестят вольные березы, и усатые дубы так огромны, что вокруг них в тени уляжется целая деревня. Душистым, мягким, осенним уже запахом веет от леса — и вспоминаешь детство, старину, которой всегда оно овеяно, старинные предания, и кажется, что ты сам живешь в бессмертном предании.

А разве оно не так? Разве не вечным преданием останутся в памяти потомков наших эти леса, навевающие на немцев губительно слепой ужас? Разве не навечно сохра-

нятся песни о солдатах и партизанах, сражавшихся за отчизну в этих лесах, сражавшихся с мужеством и умением необычайным, с тем же умением, с которым они подходили к Орлу и брали его!

Когда мы приехали в штаб армии, он находился в одной из деревень на границе Брянских лесов. Перед деревней — речка с плоскими берегами и такой же плоский деревянный мост. Здесь во времена немецкого полонения стоял огромный, в четыре человеческих роста, щит с надписью по-немецки: «Внимание! Опасность! Партизаны!» Но мало надписи. Неподалеку от моста немцы выстроили деревянные блокгаузы с бойницами и резко угловатыми башнями вроде тех, какие мы видели в детстве в иллюстрациях к Стивенсону и Куперу. И опять-таки мало им блокгаузов. Защищаясь от ужаса леса, немцы обнесли крайние дома деревни тройным забором, земляным валом и колючей проволокой.

А разве не богатырским преданием веет от этой дивизии, что под мелким и прозрачным дождем шагает по лесным дорогам? Издалека шла она, чтобы затем огненно-яростным тараном прорвать оборону немцев на реке Зуше, громить их до самого Орла, войти в Орел и стать отныне «Орловской»! В этой дивизии полторы тысячи орденоносцев и медаленосцев. Полторы тысячи подвигов — разумеется, не считая тех, что остались неучтенными.

3. БЕСЕДА НА ПОЛЯНЕ

Ночь была свежая. Пала обильная роса, и монотонные листья осин, окружающих полянку, словно покрыты лаком. На поваленных осинах сидят пятеро: поэт П. Антокольский, гранатометчик азербайджанец Аджаров, связист сибиряк Петр Травков, старший лейтенант узбек Керим Умаров и я. Дивизия скоро выйдет на марш, времени у нас мало, хочется обо всем расспросить: нам — о том, как бились за Орел, им — что делается в тылу. В лесу тишина, а мы говорим громко, как в трамвае.

— В чем же ваша работа? Ну, расскажите хоть, за что вы получили орден Красной Звезды, — спрашиваю старшину связиста П. Травкова. — Вы все норовите про других.

— Какой же мой подвиг? — отвечает старшина. — Вы лучше Аджарова спросите. Вот у него подвиг! Захватили

конюшню, а там сбоку — дзот мешает. Аджаров думает: покончу с ним. Подкрался к самым дверям — и как только не страшно человеку! — метнул в дзот две гранаты, — только щепки да тряпки. Пятнадцать, что ли, уложил их, Аджаров?

— Пятнадцать, — говорит, улыбаясь, Аджаров.

— В азарт вошел? — И связист отвечает самому себе: — Без азарта тут нельзя. Я так считаю, что Аджаров видит — конюшня, а он коней любит. Ты любишь коней, Аджаров?

— Коней все любят.

— Не все. Мне, к примеру, ближе к сердцу корова. Конь — он капризный, его дрессировать надо, а корова — она мыслящая животная, ее даже в цирк не пускают, потому что не дрессирована, она с первого слова все, что надо, делает: поймет, и нет на нее интересу смотреть.

Разговор заходит о цирке, о дрессировке, о животных. Поболтав малость о весело-душистой арене цирка, о смышленых животных с влажными глазами, мы снова возвращаемся к войне. Травков продолжает:

— Война. С войной шутить не полагается. Она смерть любит. И приходится нам против этой ее любви бороться. Нелегко. Прямо скажу, трудно. Я до того, как на войну попал, и не знал, что так трудно. Вот, скажем, великое ли дело — связь. Почтальон! Песенки про тебя поют. А тут не песенка.

Он смотрит в землю, шевеля по сухой траве веточкой, которую все время держит в руке. Лицо у него сосредоточенное.

— И для тебя и для других героев — смерть, если у тебя связь плоха и если ты смерти страшишься. Вот и вся правда! Скажем, порывы провода в лесу от снарядов, минометов, проезжающих. Тянешь ты линию, бегаешь от одного порыва к другому. Жарко. Голоден. В поту. Но главное — не сдавайся. Почему? Почему ты не сдаешься? Потому что посмотришь на бойца и удивишься.

— То есть поймешь подвиг бойца?

— Вот-вот.

— И сам без труда свершил свой?

— Точно,— говорит он любимое сейчас всеми слово. — Если ты пожалел человека и удивился на него, твое дело верное. Ты по звуку чувствуешь, куда снаряд идет, ты сумеешь в ямку припасть, осколки мимо пролетят, и хоть

встанешь, как дурной, но держать свое дело будешь бесперебойно. Полное, великое при тебе счастье.

У Керима Умарова огромные и твердые ресницы. Глаза на смуглом лице глубоко впавшие, а тонкий нос и губы словно еле намечены. Ему двадцать девять лет. Он окончил машиностроительный институт и был помощником главного инженера на шелкомотальной фабрике в Узбекистане. В ноябре 1941 года окончил Алма-атинское пехотное училище и затем «пятнадцать дней прямо в двадцати километрах от академии Тимирязева защищал Москву», — говорит он. Потом — бои под Ржевом. Здесь у немцев взял аэродром, самолет, пленных. Опасные места. «А если опасные, давайте побольше патронов», — говорил он, брал патроны и шел в бой. Ранили осколком. В боковом кармане, против сердца, лежал комсомольский билет. Он показал мне его. На билете еле разберешь: «Фрунзенский район города Ташкента». Много раз сталкивался с немцем «рубашка к рубашке» и ...

— И?..

— Я его убивал. Он много раз ходил в атаку. Я его всегда убивал.

Его карие, очень нервные глаза темнеют:

— Когда его гнали под Москвой, я видел его работу: дом жег, девочку... нестерпимо вообще. Когда я вижу немца, я не хочу его живым видеть. Я еще в Ташкенте это предчувствовал, сам пришел в комиссариат, сказал: «Вези на фронт, иначе я стреляю себя!» На фронт не привезли, повезли в училище: учись. Зачем учиться? Я хотел рядовым! Нет, нельзя, инженер. Хорошо. Сколько учиться? Полтора года? Я закончил училище в два с половиной месяца!

Он действительно нетерпелив и горяч. Мне уже про него рассказывали прежде. Его несколько раз представляли к наградам, но как-то получалось, что награды эти миновали его. Не честолюбие в нем взыграло, нет, а то, что он неправильно рассматривает самого себя. В беседе со своими друзьями лейтенант Умаров сказал: «Разочаровался я в своей боеспособности. Хочу обвязать себя гранатами — и под «тигр»! Посмотрю — выдержу ли?» Полковник Кокорин, заместитель командира дивизии по политчасти, вызвал лейтенанта к себе и сказал: «Какой нынче год?» — «Сорок третий», — отвечает Умаров. «Почему же вы, лейтенант, хотите воевать способами сорок

первого? У нас теперь есть другие средства уничтожения врага. И, кроме того, вы нужны в роте. Помните: перед вами Орел».

Двенадцатого июля, после того как почва для сражения за Орел была вспахана нашими двумя тысячами орудий, войска пошли в атаку.

Приведу выдержку из официального сообщения: «Командир стрелковой роты старший лейтенант Умаров первый со своей ротой ворвался в траншеи противника в районе Вяжи, выбил его из укрепленного пункта и неотступно преследовал врага, уничтожая его живую силу. Когда шел бой за деревню Затишье, Умаров охватил противника с флангов, атаковал его и ворвался в деревню. Своими умелыми действиями Умаров решил исход боя на этом участке».

Умаров был ранен. В госпитале его догнали два ордена: Александра Невского и Красной Звезды.

— Но что орден? — говорит он тихим голосом. — Я орден вижу как отметку о мести, а не сам по себе. У меня жена, двое детей: пяти и двух лет. В сорок первом году они были убиты бомбой возле кино «Ударник» в Москве. Немецкой бомбой, с самолета. Когда иду в бой, вспоминаю жену, детей. Жена была у меня русская, а моя мать — узбечка. Жену она очень любила, детей тоже. Когда узнала о смерти, сошла с ума... Убью много немцев! Пистолет с собой не ношу, мало патронов. Ношу автомат. Много патронов. Убью много немцев... Как вы думаете, мать поправится?..

Умаров глядит на старшину Травкова и говорит:

— На нашего солдата надо удивляться, тогда победишь. Мы мало удивляемся.

Умаров умеет и может удивляться героизму других, как и других удивлять своим героизмом.

Я глядел на этих троих: азербайджанца, узбека и русского. Первый в бою за колхозную конюшню взял дзот, а спустя полчаса уничтожил пулеметный расчет и снял снайпера, да и вообще положил в тот день пятьдесят немцев. Другой, узбек, ведет роту, врывается в немецкую траншею. 84 немца держали деревню, Умаров уничтожает почти половину, 48 сдаются в плен. Третий, русский, как он сам говорит: «Просто веду линию связи». Если смотреть поверхностно, то что тут мудреного? А мудреного и смелого тут много: вести во время боя линию связи,

держать ее в полном порядке, без разрывов. Все это так. Но есть еще качество: они, трое, каждый по-своему, «ведут линию связи», ведут линию дружбы, а значит — линию победы! И вот смотреть на это, понимать это, ощущать это всем сердцем удивительно приятно.

4. ПОЛКОВНИК КУСТОВ

Командир 380-й Орловской дивизии полковник Кустов — по происхождению псковский крестьянин, по профессии в юности портновский подмастерье — ходил по крестьянским дворам, шил штаны, пиджаки, полушубки. Подмастерьем был, пока не взяли в армию. Здесь учился, стал сержантом — и пошел!.. Несколько лет спустя его — для примера другим — сфотографировали и портрет повесили на стене в части, чтобы все видели, как советский командир умеет организовать свою жизнь. И, правду сказать, жизнь у него организована на удивление. Достаточно заметить, что или окружающие обязаны ему спасением, или он обязан им. Адъютанта он спас в бою. Шофер, веселый украинец Бондаренко, спас полковника, когда какой-то шальной немец бросил в машину из кустов противотанковую гранату.

Бойцы дивизии говорят про Кустова: «Он любит передний край». В устах их это высшая похвала. Любить передний край — значит понимать дух сражения, стремиться в самую гущу его, чувствовать настроение солдата и уметь передать солдату свое настроение. Например, я был свидетелем такого случая. Надо было атаковать немцев, которые стояли за рекой, километрах в десяти. Местность — болота, лесные дороги, чаща. Кустов поехал на рекогносцировку. Его сопровождали начальники штабов полков и работники штаба дивизии. Командиров полков не было. Мы приблизились к реке. Немцы были за лесом, километрах в трех. Ничем не замечательная просека, ничем не замечательные пни. Кустов встал на высокий пень и начал развивать план завтрашнего наступления. Затем, оставив офицеров, он со мной и адъютантом поехал в дивизию. «Маяки», то есть солдаты, указывающие на перекрестках дорогу, еще не были расставлены полком, дорога неизвестна. В поле мы встретили командира полка майора Плотникова, первым ворвавшегося в Орел. Плотников, маленький, резко шагающий, рябой, с задумчивыми

глазами, очень смелый, приятный и умный человек, подошел к полковнику. Кустов сказал ему:

— Майор! Вы поведете полк на просеку, откуда повернете налево, у пня, где я рисовал картину будущего боя. По просеке этой вы и выйдете к реке. Дайте мне карту, покажу.

— Я отдал свою карту, — сказал Плотников. — Но я и так найду. Вы рассказали ясно.

Что майор нашел ясного в рассказе полковника, я не понимаю. Просек там таких сотни, пней — тысячи, дороги виляют, крутятся, а дорога полковником была рассказана, как влюбленный рассказывает другому. Я не хочу сказать, что Кустов всегда говорит так неясно, и тут скорее всего виноват Плотников, который сказал, что понимает полковника. Мне думалось, что дорогу к «историческому пню», о котором говорил Кустов, найти невозможно. Но майор Плотников нашел пень, нашел дорогу и на два часа раньше расписания привел свой полк куда надо! Оказалось, что язык влюбленных полезен и на войне. Я сказал об этом Кустову. Он улыбается редко, скупо, чуть-чуть; вернее, это можно назвать наброском улыбки.

— Влюбленные? — сказал он, пустив эту тень улыбки. — Да! Влюбленные в ненависть к врагу.

Когда в редкие минуты отдыха мне удается навести Кустова на разговор о немцах, сильно загорелое лицо его приобретает цвет заката, а веки наливаются кровью. Мы вдвоем в палатке, приглушенно ворчит радио в металлическом ящике, на столе газета, крепкий чай и непременно квас. Кустов молчит, но сколько ненависти к врагу чудится в этом молчании! Думаешь, предки его псковские, сражаясь некогда с немецкими псами-рыцарями за родную землю, завещали потомку своему кипучий пыл битвы и знойную любовь к переднему краю сражения за отчизну.

Не только былые немцы — и нынешние немало причинили горя Кустову, если говорить о личной жизни его. Трое его братьев погибли в боях за Ленинград. Много друзей пало рядом с ним. Сам он был ранен три раза. «Один осколок чуть не развалил живот, да пряжка помешала». А горечь выхода из окружения в сорок первом году? А лесная сторожка, куда после пяти дней скитания и голода — питались ягодами — пришло несколько окруженцев и где вместо ожидаемой пищи нашли они только

патефон да пластинку «Глухой сибирскою тайгою»? Всю короткую ночь, светлую и летнюю, они заводили патефон и ставили единственную пластинку, пока не стерли ее до шероховатости плиты, после чего взяли котомки и, как ни странно, будто набрав сил от песни, довольно скоро нашли своих. Теперь, преследуя и окружая немца, выбивая его из Орла, полковник Кустов не забывает и о сорок первом годе. Часто он приказывает адъютанту завести патефон. И мы слышим:

...Вокруг него тайга глухая,
Бродяга хочет отдохнуть...

И все вокруг огромной палатки замирает. Недвижно стоит на часах пожилой автоматчик, держа на руке автомат, как спеленутого ребенка. Слушают проходящие саперы, минометчики или скачущий мимо офицер связи. Лица их сдержанно строги. Они понимают своего полковника, как и полковник понимает их. Еще бы не понять!

От реки Зуши до реки Оки, что разделяет город Орел на две части, много километров, в боях, огненным тараном прошла 380-я стрелковая! Прошла и дальше идет. Целый год перед взятием Орла дивизия воевала в лесах и болотах. Солдаты говорят с гордостью о своей дивизии: «Мы всюду внушали соседям беспокойство — им приходилось догонять нас, иначе отстанешь». После года в лесах первым городом, который увидала дивизия, который взяла дивизия, был Орел.

Кустов говорит:

— Орловское наступление знаменует собой перелом. Оно поэтому останется навсегда в памяти, что бы ни случилось, какие бы подвиги ни совершила дивизия.

Дивизия опять в лесах. Но это не огорчает никого. И прежде и теперь раненые стремятся обратно в свою дивизию.

Перед Орлом легко раненного бойца увезли далеко, а он убежал из лазарета, боясь, что дивизия уйдет невесть куда.

— Неужели вы его отправили обратно?

— Зачем? Вылечили своими средствами. Он мне нужен был для орловского прорыва. Прорывают тот рубеж, на который надеется наш противник, и прорывают потому,

что наша надежда на свои силы крепче надежды противника. Такие солдаты и есть наша надежда.

Это подлинные слова Кустова. Я их записал немедленно. Он говорит сжато, коротко, с крестьянской толковостью. И это тоже всем понятно, и это тоже все любят.

На рубеже Нижних Лук шел бой. Кустов командовал яростно, красиво, кратко. Им любовались. Полковника Изнанкина тяжело ранило в голову. Чтобы не сорвать Кустову командование, не отвлечь его и не взволновать, полковник сказал ему по телефону:

— Я себя плохо чувствую. Разрешите, товарищ командир, в санбат?

И уже из санбата, когда бой окончился благополучно, полковник Изнанкин прислал командиру дивизии письмо: «Я ранен, но вылечусь и вернусь».

5. МЫ У СТЕН ОРЛА

Капитан Печерский — небольшого роста, с подчеркнуто военной походкой и подчеркнуто командирским голосом. Пилотка у него набекрень, здороваясь, он щелкает каблуками — так и кажется, что он все время любуется собой и своим военным положением.

Он еврей, родился в Днепропетровске, где и окончил планово-экономический техникум. Ему тридцать три года. Перед войной он служил старшим экономистом в областном тресте «Общепит». В армию не брали — сильно близорук. Когда началась война, думал остаться в партизанском отряде, но его — опять по близорукости и, как он говорит, «косности» — не взяли. Он эвакуировался в Среднюю Азию, в Андижан. Здесь через партийные организации он добился мобилизации. Окончив военно-пехотное училище в Ташкенте, Печерский в апреле 1942 года приехал в 380-ю дивизию. «Мне повезло, — говорит он, — меня сильно обстреляли в обороне, я привык: исчезла новизна впечатлений, когда кажется, что каждый снаряд рвется возле тебя. Я привык».

Теперь послушайте, как, привыкнув к бою, он стал драться.

Дело происходило возле колхозной конюшни, когда одиннадцатого июля разведывательному батальону армии была поставлена задача расширить плацдарм на западном берегу реки Зуши, вскрыть систему огня противника

и привести контрольных пленных. Начиналось наступление. Это понимали все.

Просторное помещение колхозной конюшни возвышалось на холме, на северо-западной окраине села Вяжи. Конюшня, занятая немцами, господствовала над местностью в радиусе восьми — десяти километров. Она была превращена немцами в бастион. Батальон Мохначева овладел первой линией траншей, но это еще не означало, что конюшня занята, — это означало только, что немцев потеснили. В два часа дня противник начал теснить батальон Мохначева. Полковник Кустов приказал капитанам Поздееву и Печерскому выяснить положение батальона, то есть отправиться к месту боя.

— Положение восстановить! Требует Родина. Что покажет обстановка, то и делать. Даже принять командование на себя.

Немцы вели усиленный огонь. На каждом метре пространства разрывались снаряды. Ползли трое: капитаны Поздеев и Печерский, да еще связной. Связного убило осколком. Поползли дальше двое. Вот и батальон. Обстановка ясна с первого взгляда. Но подкреплений просить нельзя — перебьют по дороге немцы. Надо держаться имеющимися силами. И прежде всего накормить людей. Послали за термосами.

Убило двух. Послали еще. Опять убило. Наконец принесли термосы. Это подбодрило бойцов.

— Горячая пища в бою — чрезвычайно важное обстоятельство, — сказал Печерский.

И мне сразу представился захваченный у противника окоп, обрывки немецких газет, бумажные мешки, наполненные песком, брустверы, деревянные мостки из жердочек в ходах сообщения и грязь — день был дождливый, винтовки и станковые пулеметы забивало грязью.

Когда стемнело, командир батальона Мохначев, капитаны Поздеев и Печерский решили поднять людей в атаку, в гранатную атаку.

— Или забираем конюшню, — сказал Поздеев, — или... или... Ясно, что́ или?

Но немцы уже сами шли в контратаку. Наши отбили две контратаки. Допустить третью нельзя. Пора поднимать людей, а поднимать людей — это значит самому выскочить из окопа под немецкую пулю или гранату. До

немцев было семьдесят метров. Командирам объяснили положение с гранатами, и капитан Поздеев сказал:

— Нужно напрячь силы и бросить гранату так, чтобы она долетела до немца! Забросать гранатами противника, долетят!..

И удивительное дело: гранаты долетели до немцев!

Однако немцы открыли огонь из глубины обороны, и мы опять вернулись в окопы. После этого немцы перешли в контратаку.

— Приготовиться к гранатной атаке!

Набрали гранат в карманы. Свисток. Дождь кончился. Вышла луна. Небо чистое. Свисток командира.

Рукопашная схватка. Немцы выбиты.

Ранен командир батальона Мохначев. Его унесли.

Ранен капитан Поздеев. Командование принимает капитан Печерский. Вперед! Осталась еще одна линия немецких траншей...

Капитан Печерский сообщил командиру дивизии, что важнейший опорный пункт немцев — конюшня — взят.

— Подкрепления прибудут, — ответил Кустов. — Поздравляю победителей, честно добивающихся звания орлов. Вперед, орлы!..

Рассказывая об этом эпизоде, капитан Печерский говорит, трогая пальцами свои ордена:

— Это завоевано не мной, а солдатами. И вообще, не люди — орлы, действительно! — продолжает он. — Не шли — летели к Орлу. Немцы нас прижимали к земле артиллерией, самолетами. Мы — ничего! Идем. И вот — рубеж Оптухи. Близок Орел. Меня направляют в 1-й полк, где командиром майор Плотников — светлая голова и дерзкое сердце. Должен я поговорить с людьми, пойти с ними до Орла, политически обеспечить марш. Идем ночью по тылам противника, обходя огневые точки. На ходу — беседы. Держались мы строго: не бренчали, не курили. «Кто курит — предатель». Даже кашляли в пилотку. Вел нас майор Плотников. Это было очень красиво...

— Чем же красиво?

— Опасностью. И то, что мы держались друг за друга, шли сердце в сердце. Никогда я такого обширного чувства не испытывал. Представьте, темная ночь, идет полк оврагами, без пушек, тела пулеметов и катки на плечах, каждые три — пять километров — немецкие заставы, их или обходить или неслышно снимать. В три часа ночи по-

дошли к Проскуровке, неподалеку от Орла. Собрали полк. Выступил Плотников:

— Товарищи, мы у стен Орла.

А город уже видно: пылает, немцы подожгли.

— Ура-а! — и на шоссе, а шоссе простреливают пулеметы. Но мы ползем, бежим, кто как... Надо было взять город — и мы взяли.

6. НОЧНОЙ МАРШ

...Лесами вдоль фронта идет 380-я пехотная дивизия. Идет ночным маршем.

Дивизия двинулась через лес в сумерки. Часов в одиннадцать ночи «виллис» полковника Кустова заехал за мной. Я ожидал его в березовой избушке, срубленной саперами из сырых бревен. Пахло водой, корой березы и сеном с жердей, которые должны были служить мне постелью. Такие избушки на двух — трех обитателей саперы рубят в течение часа. Много таких избушек в Брянских лесах.

Дорога измолота, исковеркана, фары ярко освещают ухабы, выбоины. Рядом с шофером сидит полковник. Он днем проехал несколько раз по этому лесу, знает все перекрестки и повороты, но молчит, так как позади него, рядом с автоматчиком, сидит адъютант, молодой офицер, с картой и показывает по карте дорогу. Воспользовавшись случаем, полковник учит молодого адъютанта. Кстати сказать, для Кустова любая встреча с офицером — повод для того, чтобы передать тому свои знания.

— Налево, — говорит адъютант, освещая фонариком карту. — Нет, не налево, а направо.

Кустов дает шоферу проехать четверть километра по указанному адъютантом пути, а затем приказывает перечесть карту. Адъютант ошибся. Кустов разъясняет, что́ такое чтение карты во время ночного перехода. Он приводит примеры удачного чтения и неудачного, которое ведет за собой непоправимые ошибки. Едем дальше. Едем час, полтора. Адъютант уже не ошибается.

Фары освещают развалины городка. Мы догнали дивизию. Идет учебная команда, идет слаженно, несмотря на то, что она идет всю ночь. Но Кустову и здесь удалось найти неполадки. В густом синем сумраке за огромным силуэтом пятитонки слышится голос полковника. Не

комнатной своей скороговоркой, а раздельно выговаривая слова, он внушает офицеру:

— Как вы позволили ему сесть на повозку? Повозка должна везти больных, а не тех, которым захотелось поспать! Мы воюем, мы ищем врага, а не отдыха. Ведь вам, офицер, придется искать немца на поле боя, завтра, быть может! Или вы считаете, что вы их всех отыскали и убили в Орле? И тот, кто ищет немца, тот найдет. И убьет! Но если вы будете зевать, если немец начнет вас искать, то плохо, офицер. Немец вас убьет. Такова война. Желаю здравствовать!

Это «желаю здравствовать» — по-другому, мягким голосом. Он всегда говорит так, когда перед тем высказался несколько резко. Это «желаю здравствовать» похоже на рукопожатие, хорошее, дружеское.

Кирпичные разрушенные стены. На углу перекрестка, под дубом, пристроился духовой оркестр дивизии. В сумерки, когда полки выходят на ночной марш, оркестр играет им походное. Затем инструменты кладут на грузовики и оркестр едет вперед. Он играет там, где, по мнению полковника, марширующие солдаты должны почувствовать усталость, иногда в самых неожиданных местах: играют возле болота, в мелком осиновом лесочке, среди поля несжатой гречихи, а сейчас вот играют возле перекрестка дорог, которые днем обстреливала дальнобойная немецкая артиллерия. Наш «виллис» стоит возле воронки, под сапог попадает осколок, я его беру, и мне кажется, что он еще теплый.

Бешено гремят трубы, жадно стучит барабан, и мерно, молодо, бойко, по-орловски шагают войска, словно они не прошли двадцать — тридцать километров, словно враг от них далеко.

Фары автомобиля освещают кусок дороги, бурьян, покрытый пылью, кирпичи развалин. Лиц не видно. Туловища прикрыты плащ-палатками. Мелькнет рука, ствол миномета или противотанкового ружья или колесо станкового пулемета, а за развалинами — безлистные деревья, сожженные пожаром, за ними — край неба, как огненная щель, из которой разноцветными нитями всплывают ракеты. Немцы чуют неладное, беспокоятся.

Весел голос полковника:

— Прекрасно идут, офицер! Дружно идут, дружно

биться будут. Дружно — легко, врозь — брось. Вижу орлов! Хорошо, хорошо.

Он возвращается к «виллису», зажигает папироску. При свете спички вижу его лицо, смуглое, очень красивое, довольное.

— Хорошо идут. Надо не только доверять, но и, доверяя, проверять. Тогда будет порядок. Воюют не пальцем, а железным кулаком. И я заинтересован в своем кулаке.

Шагавший солдат, молодой и, видимо, недавно прибывший из пополнения, зазевался, прислушиваясь к словам полковника. Отстал. Кустов немедленно подозвал к себе солдата. Недавно Кустов говорил мне, что он знает в лицо и по фамилии около четырех тысяч красноармейцев из своей дивизии. «А меня они знают все!» — не без гордости добавил он. Сейчас он доказал мне, что не преувеличивал.

— Нефедов?

— Нефедов, товарищ полковник.

— Бить немца хотите?

— А как же? Что на него смотреть?

— Сколько же вы, Нефедов, лично решили их уничтожить?

Вопрос неожиданный. Измерить в цифрах свою ненависть к врагу не каждому легко. Солдат поднял голову. Мы видим при свете фар задумчивое молодое лицо. Губы, сухие, усталые, жаждущие губы, шевелятся медленно. Он считает, взвешивая свои возможности.

— Десять, — говорит он наконец решительно.

— Проверить исполнение! — кричит Кустов ротному, а поворачиваясь к солдату: — Рад за вас, голубчик. Вы шли ночь, устали и несколько приуменьшили свои силы. Я убежден, что, когда выспитесь, покушаете — а завтрак вам уже готовят, — вы прибавите еще десяточек. Офицер, ротный! Где ваша гармошка, почему ее не слышу?

— Отдал в дивизию, товарищ полковник. Для самодеятельности.

— Завтра разрешаю вам отбить у немцев две гармошки!

7. ЗНАМЯ НАД ОРЛОМ

За три недели, которые я провел на Орловщине, мы проехали не менее тысячи километров. Бывали и в горо-

дах, и в селах, и в деревнях. Ехали и полями и лесами, пробирались через болота. За весь этот путь я видел только три уцелевшие деревни, от остальных хорошо если остались груды щебня, а то и того не найдешь. С самолета такие выжженные деревни похожи на куски ржавого железа, измятые, никуда не годные.

На Орловщине, видно, много было кирпичных построек: в каждой деревне непременно встретишь кирпичные стены. Кое-где жители вернулись. На стены навалены жерди, пласты дерна, окна заткнуты соломой — нет ни стекла, ни тряпок. «Как они будут здесь жить зимой?» — думаешь в тоске. Девчонка в солдатском ватнике, длинном, до пят — дети здесь, как правило, одеты в военное отрепье,— гонит корову. Погрохатывает ботало. Корова рыжая, с длинным и тяжелым хвостом, которым она кокетливо помахивает. Видно, что не только люди, но и сама корова удивляется: как это она попала в такую пустыню?

— Издалека? — спрашивает девчонку капитан Литвиненко.

— А из лесу. Из ямы.

— И долго в яме сидели?

— А три месяца.

— Что ж, и корова сидела?

— А она лучше нас сидела. Она что, ей бы травы, — отвечает девчонка и легонько хлещет корову прутом.

Капитан Иван Литвиненко — кубанский казак. Ему двадцать пять лет. Он стройный, сероглазый. У него милый детский рот и чудесная простая улыбка. За прорыв на реке Зуше и взятие Орла у него два ордена — Александра Невского и Красной Звезды.

Обращаюсь к нему:

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Мне сдается, что вы способны рассказывать подробно.

— Можно.

Он сдвинул пилотку на затылок.

— Прорвали оборону противника и продвинулись в направлении города Орла...

— Позвольте, а что было до прорыва?

— Делали другие прорывы, обучались.

— Как обучались?

Он смеется:

— Обучались в бою. Выходило.

— Я вижу, что выходило, но ведь вы обещали подробнее.

— А куда ж еще подробнее! — восклицает он совершенно искренно. — Я ведь и так уже минут десять рассказываю. О таком подлом враге и этого времени жалко.

— Вы рассказываете не о враге, а о наших бойцах.

— Так ведь бойцы-то врага били! — твердит он упрямо. — Хочешь не хочешь — все равно о враге надо рассказать, а мне о нем противно не только рассказывать, а и думать.

Но я все-таки добираюсь до него. Начинаю расспрашивать о нем самом. Окончил семилетку, учился затем в политико-просветительном техникуме, откуда и поехал инспектором политпросветучреждений в Хабаровский край. Проработал месяц — воинская служба. Зачислили в полк связи, затем пехотное училище, а там — командир роты. С этой ротой попал на Калининский фронт, где прошел триста пятьдесят километров лесами.

— С малолетства привык к простору — Кубань! А тут пни, кочки да валежник, трудно до слез. Стало легче, когда командиром батальона назначили: ответственности больше, о себе не думаешь. Два месяца ходил с батальоном, воевал. Ранили. Два месяца в госпитале. Прибыл в 380-ю. Хорошая дивизия!

Поставили меня во главе лыжного батальона — веселей войны нет, как на лыжах, особенно когда привыкнешь. Но сперва трудно... Везде трудно, если дело незнакомое, — говорит он, и серые глаза его играют. Видно, ему хочется скорее закончить рассказ и перейти к тому, что таится в нем и что просится наружу. Он торопится, глотает слова и оборвал бы с радостью рассказ на полуслове, но серьезный человек с карандашом в руке сидит против него и ждет. Кроме того, он же понимает: прорыв на Орел — история! — 23 февраля ранили, увезли. Я просыпаюсь. Госпиталь. Опять. Вот скука! Выпросил под благовидным предлогом историю болезни и бежал в свою дивизию. Близок Орел. Обучал батальон до прорыва на реке Зуше. Маневрировали, прямо не брали. «Тигры» там, «фердинанды» — металл толстый, но и он горел пламенем! Теперь про деревню Победное? Это уже под Орлом.

— Давайте про Победное. Название-то какое!

— Да, название и мне понравилось, когда бой кончился. Там стоял полк немцев. Батальон решил не раз-

вертывать, пустил по лощине роту. Был бой. Взяли! Командир дивизии объявил благодарность. Немцы пытались восстановить положение. Шел против меня батальон, а потом пленный и говорит: «Оглянулся я, а от всего батальона — три человека, я в том числе». Целый день был бой, прошли с боем двадцать три километра, обошли и захватили деревню Наумовку, где взяли шесть самоходных пушек, два миномета — то, что я видел. А трофеев было много. Затем на реке Оптухе мой батальон держал оборону на фронте в шесть километров... и вышли к Орлу!

Выпалив все это, он взглянул на меня торжествующими глазами, и мне стало ясно, что подробностей от него не дождаться. Молодое лицо его горело, словно он рысью пробежал по всему этому маршруту. Виденное теснилось и не укладывалось в памяти. Мне приятно было смотреть на него: какая несокрушимая и уверенная сила! «Любопытно, что же он считает основным и к чему он так торопится?» — думал я.

— Можно про Орел теперь? — говорит он. — Основное?

— Конечно.

И думаю: «Вот оно!»

Он хлопнул себя рукой по колену и весь как-то напружинился.

— В начале операции командир дивизии полковник Кустов сказал нам, что предстоит взять Орел и что это имеет международное значение. Я подумал: «Значение, безусловно, имеет, но насчет международного что-то сомневаюсь». Теперь беру свои слова обратно. Безусловно международное!

— Еще бы!

— Командир говорит: «Во что бы то ни стало ворваться и водрузить советский флаг!» Это он иносказательно, а мы думаем: «А хорошо бы, действительно, флаг! Красиво!» Врываемся к вокзалу. А там неподалеку церковь. Гляжу на церковь и думаю: «Вот бы хорошо где флаг-то водрузить». А у немцев — танки, артиллерия и пулемет. Попробуй водрузи, они на тебе смерть водрузят. На улице двенадцать танков бьют по тебе прямой наводкой!

— Отложили — водрузить?

— В 2 часа 49 минут на правом фланге, на церкви,

водрузили! В 3 часа 13 минут доложили командиру полка и командиру дивизии.

— Знамя полка?

— Нет, другое. Стоим у стены дома, немцы по нас из танка бьют, кругом осколки, раненые стонут. А тут из подвала какой-то лысый гражданин лезет, и прямо под ноги. Я его чуть было не дернул из пистолета, думаю — оккупант переодетый. А у него знамя в газету завернуто! Знамя какого-то профсоюза, извините, не помню. Все время, говорит, в подвале держал, а теперь не могу, разрешите, не будем красноармейцев от боя отрывать, я сам на колокольню влезу, водружу. Нет, говорю, это не порядок. Наша дивизия в город вошла, она и знамя водрузит, а вы можете в качестве свидетеля. Показывайте дорогу.

Дал знамя связисту, гражданин указывает ему дорогу, а немцы остервенели, так и сыплют металл. Но ничего, забрались, водрузили, оба целы. Опустились они, и к тому времени немцы отступили. Подарки. Цветы. «Ура» такое, не остановишь. У нас на Кубани места очень культурные, но Орел — выдающееся явление. Такую точку в бою поставить: знамя! Очень он мне понравился и местоположением и душевным своим состоянием. Я рад, что мне пришлось отбивать его, и рад присоединиться к мнению Кустова о международном значении Орла!

8. ПЕРЕПРАВА

Совсем светло. Прошли сорок километров лесами и полями. Марш кончился. Сегодня к вечеру или самое позднее завтра — бой. Отставших нет. Ноги стерли только пять человек. Головные отряды разместились уже на месте дневки. На сгоревшую избу саперы настилают крышу из черных обуглившихся деревьев. Внизу уже топится печь. Адъютант полковника нашел где-то белую-пребелую, чуть ли не фаянсовую ванну. Ее поставили посредине кривого и темного пола, стены тоже кривые и темные, окна заткнуты шинелью, и как странно видеть эту ванну, по краям украшенную розовыми цветочками.

Выпятив грудь и отставив ногу, возле ванны стоит полковник Кустов. В бурьяне завтракают музыканты — они поиграли достаточно. Я спрашиваю Кустова об орловском флаге.

Он улыбнулся и сказал:

— А впрочем, может быть, и был флаг. С нашим народом все возможно. Видели, как шла дивизия? Орлы! Они далеко полетят. Верно, Травков?

Травков, связист сибиряк, с которым я недавно разговаривал, снова пришел ко мне «дополнить факты», как он обещал в конце прошлого разговора.

— Так точно, товарищ полковник. Орел, он ведь высоко летит.

— И с вышины видит?

— Вот я это и говорю, — подтверждает он и подходит ко мне. — С вышины мы видели факты. В Орле опять же. Зашли мы в подвал разрушенного дома. Связь тянули. Кровь. Будто ведро ее пролили. И в крови лежит пятилетняя девочка. Умирает тут же женщина. Мужчина тяжело ранен. Немцы, видишь ли, отступая, забежали в подвал, видят — прячутся русские. Убили сначала девочку, потом женщину, а там и мужчину, да не до смерти, а так, чтобы теплилась жизнь, чтобы он намучился досыта...

— Было это, было, — говорит полковник. — Было, Травков.

— А как же! Своими глазами. Вышли мы из подвала. Шатаемся от злости. Прислонились к стене. А на стене объявление немецкого коменданта города: «За сообща совершенное убийство германского солдата приговорены к расстрелу следующие жители города...»

Травков достал записную книжку. Он с трудом прочел фамилии расстрелянных — так дрожали руки от негодования, когда записывал.

— Пожжена земля, попалена, расстреляна. И не земля будто, а страшное место, ад! Думаешь когда: лучше бы уж эти места ночью проходить — темно, глаз не видит. А затем — нет, надо обозначить все это разрушение, надо запомнить и сынам, внукам, правнукам передать. Ведь все это — сызнова. Товарищ полковник, ведь сызнова надо все это сооружать! Пахать, сеять, стены ставить, машины строить, скотину разводить, леса растить... возобновлять, господи ты боже мой!..

— Да ведь ты уже начал, — сказал полковник.

— Чего? — в недоумении, забыв даже величание, спросил сибиряк.

— Возобновлять.

— Когда, товарищ полковник?

— А в Орле, — сказал Кустов. — Помнишь, заняли мы восточную часть города, и подошла наша дивизия к устью Орлика, где он сливается с Окой. Плотина немцами взорвана — груда. Инженеры на нее и не глядят — куда там исправлять! — ищут брод для артиллерии и танков. А у меня, заметьте, в дивизии много умных людей и есть даже таланты: умеют выбирать счастливое место, где немцев побольше. Я приказываю протянуть через глыбы дощечки, пусть по одному переходят. А немцы с западного берега ведут огонь, и усиленный. А здесь собрались жители, глядят, как мы пойдем на тот берег. И слышу, какой-то человек крикнул: «Товарищи, что же это такое? Что вы смотрите? Поможем Красной Армии!» И в пятнадцать минут — кто чем: бревнами, шкафами, столами, досками, сундуками, — все дома шиворот-навыворот! Прямо сказать, запрудили реку. Пошла пехота. Саперы настилают доски...

— Бабы стелют доски,— вспоминает Травков,— я веду машины, снаряды — хряс, хряс рядом, а полковник с машины руководит переправой.

Полковник Кустов пошел было, словно желая развеять одолевавшие его воспоминания, которым, по его мнению, теперь не время предаваться. Сделав несколько шагов, он вернулся. Смуглое лицо его пылало, глаза сверкали верой.

— Был флаг! — с силой, громко сказал он.

Я так опешил, что и забыл про флаг, о котором сам только что спрашивал:

— Какой флаг?

— А на церкви. Литвиненко говорил. Был! В Орле. И не мог не быть — такой народ. Ему без флага невозможно.

И полковник добавил:

— Он вывесил флаг. И... говорю тебе, Травков тогда же принялся за возрождение города: строил плотину. Он ее строил, так сказать, и для нашей переправы, и для своей — в будущее, так сказать, — переправы... Через реки крови к жизни! — крикнул полковник, и глаза его засияли еще ярче.

Сияли глаза и у Травкова. Он тихо сказал:

— Сызнова... хорошо!

И видно было, что это «сызнова» соединяло его с домом, с оставленными родными и знакомыми, со всем-всем

творчеством вечно неумирающей и неуничтожаемой жизни. Полковник Кустов был для него частью этой плодоносной жизни — такая любовь к командиру, уважение к нему читались в его взоре, слышались в его словах. Связисту было уже под сорок, а в эти годы трудновато привязываться «сызнова» к людям, но он привязался — и к полковнику, и к своей дивизии, ибо эта дивизия, эта армия — его народ, его дом, его отчизна, его будущее, те орлы, с которыми он вместе летит к творчеству, к жизни!

Лесами, вдоль фронта, ночным маршем идет 380-я пехотная, та, которой Сталин дал гордое имя Орловской, крылатое имя — Орловской!

Орловская спешит в бой.

Завтра — бой. Завтра, как и сегодня, — отмщение врагу, уничтожение врага, разгром его, победа над ним. Так велит история, та история, которую пишет наше советское оружие, наши солдаты, наши орлы.

Сентябрь — ноябрь 1943 года

НА БЕРЛИН!

ДОРОГА НАСТУПЛЕНИЯ

В трех — четырех километрах от линии огня попался нам участок дороги, сильно поврежденный взрывами снарядов. Мы объехали его, проковыляв по выбоинам, и, наверное, моментально бы забыли о них, кабы не одно обстоятельство. Как раз напротив выбоин, венчая собою окраину городка, находится большой кирпичный сарай с раскидистой черепичной крышей. Наполовину застекленные двери сарая сняты воздушной волной, и во всю глубину его вы видите огромную погребальную колымагу, крытую могильно-черным лаком, балдахин колымаги украшен серебряным, развесисто печальным позументом, а сиденье кучера — широкое, как диван.

Высокий сосновый лес возле городка изломан, иссечен, не осталось ни одной целой ветви. Немцы собирались сильно укрепить лес и дороги к нему, но наш огонь подошел к ним так стремительно и могуче, что в канавах возле дороги осталось все приготовленное для обороны, валяются мины, и, словно след бегущего, впились в обочину дороги на равномерном расстоянии огромные круги колючей проволоки. Дома от залпов артиллерии расползлись в стороны, стали какие-то косматые, и только сарай с огромной черной колымагой остался цел, как бы в поучение потомкам. Заматерелая в самолюбии и надменности Германия любила пышные похороны. Она их получила. Широкозадый, тупой фашистский возница везет ее сейчас к гибели.

Я только что видел Штеттин.

Видел я этот город с наблюдательного пункта одной из батарей, неподалеку от берега Одера. Глядел я в стереотрубу.

Стереотруба медленно вела меня вдоль набережных, погруженных в мертвое, гробовое молчание, проходила мимо пристаней, среди кранов, холмов каменного угля, поднималась выше, выходила на безмолвные улицы, остановилась возле колонны какого-то высокого, богато украшенного здания, по-видимому театра, уперлась в собор святого Иакова, прошла мимо ратуши и увидела дымящийся завод, едва ли не единственный работающий из всех многих заводов Штеттина. В немой, угрюмой, затаенной злобе лежал перед нами Штеттин. Он дремал в предсмертном сне; изредка где-то за городом поднимался белый ствол дыма — это немцы били по нашему, восточному берегу Одера.

В стороне от дороги на Альтдамм и Штеттин есть узкое и продолговатое озеро. Небо в нависших тучах, ветер строгий, тугой, и оттого колючая проволока вокруг завода и вокруг рабочих бараков, ее клинообразные колючки кажутся особенно густо разросшимися. Низкие ворота. Часовой, проверив наши документы, пропускает. Мы на территории секретного немецкого завода, вырабатывавшего морские торпеды, построенного недавно, едва ли не в 1943 году.

Длинные, приземистые корпуса разделены бетонными дорожками шириной в добрый переулок. Все свободное пространство засажено молодыми соснами с целью маскировки. С той же целью заводские корпуса окрашены в густо-зеленый цвет. Электростанция за двойной стеной из кирпича. В машинном отделении электростанции есть люки, туда вложены плиты взрывчатки и подведены провода.

Нынешнее зимне-весеннее наступление, широкое и победоносное, с новой, необыкновенной силой показало всю мощь советской тактики маневрирования. Мы наносим врагу удар в желаемом нами направлении и желаемой нами силы. Мы делаем то, что выгодно нам и невыгодно немцам. На множестве примеров видно это. Вот хотя бы этот торпедный завод. Куда как надо было немцам уничтожить эти цехи, машины, гидравлические прессы, чертежи — и все было приготовлено для уничтожения, а уничтожить пришлось немногое. Потопили испытательные

катера, потопили в озере кое-какое оборудование, из трех машин электростанции увезли одну, а многое, очень многое осталось — и, как всегда после немцев, остались следы преступлений, скрыть их, уничтожить их невозможно.

В одном из домов для администрации мы наткнулись на труп немца. Это лысый немолодой немец в форменной куртке и брюках навыпуск. Он лежит на полу, ухватившись застывшей рукой за ножку кровати. Следов ранений нет. Он, по-видимому, умер от разрыва сердца.

Немолодой лысый немец имел все основания испытывать страх: возмездие настигало и настигло его. Завод выстроен рабами, и работали на нем рабы. В некоторых цехах «объявления» на двух языках: немецком и русском, а в некоторых добавлен еще и польский. В конторе завода мы нашли сотни так называемых «рабочих удостоверений». Разумеется, вы уже читали о них. Вот что рассказывает одно из них. Фотография печальной девушки в клетчатом заношенном платье, с коротенькими косичками, отпечаток правого пальца, отпечаток левого пальца, над фотографией и этими отпечатками надпись по-русски: «Владельцу сего разрешается выход из помещения единственно ради работы». На обороте вопросы и ответы на них, напечатанные на машинке. Ни подписи раба, ни следа почерка его — вообще писать запрещалось. Мы не нашли ни одного написанного рукой человеческой слова, хотя осмотрели тщательно стены, потолки, подвалы. Кто же она, одна из тех рабынь? Софья Савко, 1924 года рождения, с Украины — и все.

А в середину удостоверения вложен листок. На нем на тринадцати языках напечатана одна фраза: «Настоящая рабочая карточка дает право на работу только у наименованного работодателя и теряет силу с оставлением этого места работы».

Негодяи! Право на работу! Право на смерть, а не право на работу: куда она могла уйти, эта несчастная Софья Савко? Как она могла оставить свое рабское место? Прорвавшись через колючую проволоку? Через охрану, вооруженную, с собаками?

И с щемящей, невыносимой тоской глядишь на фотографии, во множестве заготовленные для подобных удостоверений, но почему-то не использованные; может быть, потому, что помешала Советская Армия. Немцы так были уверены, что никто, кроме них, не увидит эти фото-

графии, что не глядели на выражение лиц, а возможно, отчаяние наших сестер и матерей доставляло фашистам удовольствие.

Как бы то ни было, каждая фотография, каждое выражение лица — вопль горя. Горе, сухое и едкое, в глазах. Горе застыло на губах. Горе, как огнистый поток, льется из глаз.

На обороте фотографии фамилия и название родины. Других данных нет. Номер раба, как видно по фотографии, прикалывался возле левого плеча на груди. Кое у кого, кроме номера, на правой стороне груди слово «Ост». Вот фотография Елены Моздейко. Плачущая женщина лет тридцати, со сдвинутыми скорбно бровями, с коротко остриженными волосами, в клетчатом мужском пиджаке, видимо с чужого плеча. Ее номер — 2401. Перебираю другие фотографии. Мария Переменек, Вера Голова, Александра Фоменюк, Мария Узденкова. Старые, молодые, но одинаково изможденные, изнуренные лица. Где они, эти несчастные люди? Убиты? Утоплены в водах этого мрачного озера под этим жутким ветром, под этим неизвестно откуда налетающим, сладковато-гнилым запахом разложения? Где их слезы? Где их проклятия?

Их слезы, их проклятия идут с нами по прочной, несущей мщение дороге Советской Армии.

Накануне взятия Альтдамма, разыскивая одну дивизию, я случайно попал в расположение артиллерийского полка. Разговорились. Недавно окончилась перестрелка, и артиллеристы отдыхали, чистили орудия, кушали. Они пригласили нас на ближайшую батарею.

Батарея расположилась среди елок. Артиллеристы плохо спали ночь, но вид у них был не усталый. Ими владело еще возбуждение боя. А бой шел направо от нас, с поля, словно кто гигантской гребенкой водил по лесу, — это стреляли гвардейские минометы. Там, дальше, за лесом, видны клубы медленно ползущего вверх дыма. Он сизой бахромой повисает в небе. Пылающий город рассыпается. Артиллеристы под Альтдаммом играли почетную роль. При прорыве на Альтдамм насыщенность артиллерией была такова, что, как выразился один артиллерист, «закуривай от любой пушки».

Возле елочки в ватной, замасленной куртке, с заплаткой на брюках, видимо сделанной своими руками, стоит девятнадцатилетний юноша, донбассовец Потапов. До

войны он работал трактористом, а сейчас наводчик орудия. Недавно в боях за Шнейдемюль, когда немцы не давали нам подойти к городу и зацепиться за окраину и когда был ранен командир орудия, Потапов принял командование орудием, одновременно работая наводчиком. Немцы с шестисот метров били по нему из минометов. Потапов прямой наводкой завалил дом тремя снарядами, подавив таким образом пулеметы. Немцы побежали. Наша пехота теперь могла зацепиться за окраину и начать уличные бои.

Я смотрю на его молодое, еще юношески пухлое лицо и спрашиваю:

— Однако опасность вы должны были чувствовать?

Он некоторое время молчит. По глазам его я вижу, что вряд ли придавал он какое-нибудь значение опасности. Однако ему хочется быть любезным, и он, смущенно, угловато улыбаясь превосходной молодой улыбкой, отвечает:

— Опасность, конечно, чувствовал, но подавлял. Пехоту надо было поддержать.

Некоторое время он молчит, а затем спрашивает:

— Извините, вы ведь через границу Германии проезжали?

— Как же.

Он опять молчит, затем добавляет, — и я должен понять, что таковы были его мысли, когда он переходил границу Германии, и что именно из этих мыслей вышел его смелый поступок в Шнейдемюле:

— Два брата погибли. Младший — артиллерист, старший — помкомвзвода в пехоте, погиб на польской территории.

И он говорит, глядя мне в глаза своим хорошим, чистым взглядом:

— Раньше я мстил за других, а тут за братьев захотел отомстить.

В том же полку есть красноармеец Жарков. Это орловский крестьянин, пожилой, с сединой в висках, с крепкими, торчащими вперед усами. Движения его быстры, он словоохотлив. Встретили мы его, когда он нес куда-то котелок с пищей. Майор Рогачевский остановил красноармейца и спросил:

— Жарков, фотография при тебе?

Жарков полез в карман и достал из много раз сверну-

той газеты, видимо, тщательно хранившуюся фотографию в размере открытки. Молодой ефрейтор, немец, летчик в черном мундире глядел с нее. И красноармеец Жарков рассказал нам небольшую историю. Жарков жил на Орловщине — в селе Поветкино Володарского района.

— Жил я хорошо. Ну и попади я в оккупацию. Остановился у меня в доме немец летчик. Стоял две недели.

Жарков смотрит со злобой на фотографию и вздыхает. Ефрейтор на фотографии с тусклым и сонным лицом, с большими, как дверь, плечами. Жарков говорит:

— Тут их наши нагнали. Ну, они и сожгли все село, и мою хату тоже пожгли и ушли. — Он стучит ногтем в лоб ефрейтора и продолжает: — И этот ушел. Он мою хату поджигал. Ушел, да вот пришлось встретиться.

— Где же вы встретились?

— А есть такой город Делица, южней, как его, этого Штаргарда. Да, и там они, немцы, поселок для особо почетных инвалидов выстроили. Ну, и мой, этот поджигатель, там поселился. Битый враг: протезу я его ножную там нашел.

— А его самого?

— Он сам-то убег, а фотографии все на стенах. Нас разместили там на постой. Я гляжу и говорю: ребята, ох, вот этот мой. Он, вглядываюсь, он. Могу ли я ошибиться, когда мою он хату жег?

— Вряд ли ошибетесь!

— Для чего фотографию носишь?

— Ношу. Как пленных ведут, я к ним. Нет ли ефрейтора тут? Мне б его увидеть...

Таково мнение красноармейца Жаркова, записанное почти слово в слово. Торжествующая свинья — немецкий ефрейтор, жегший дома в России, бежит теперь из своего дома, что в городе Делице, возле Штаргарда. Красноармеец Жарков хранит в кармане фотографию преступника, твердой ногой по прочной дороге идет за ним следом.

Хмуро и мрачно чувствует себя Германия. Отчаянно, напрягая всю злобу и коварство, защищается она. Кичливость ее исчезла, надменность ушла, остался один жестокий, упорный, надсадливый вой зверя, вой зверя подыхающего.

В Штаргарде я получил подарок, место которому, пожалуй, в будущем музее Великой Отечественной войны. Это палка путешествий немецкого офицера. Трудно опи-

сать эту пошлую, тупую и самодовольную выдумку, но я попробую, ибо об этом стоит сказать. Представьте себе дубину в полтора метра длиной и в три пальца толщиной. Дубина вырезана из ольхи. Набалдашник — черная оскаленная морда зверя с красной пастью. Под нею на белом поле черный немецкий крест, с противоположной стороны — голубой щит, перечисляющий страны, где пьянствовал, насильничал или убивал этот мерзавец: Польша, Бельгия, Франция, Голландия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Россия. Ну, разумеется, оставлено пустое место, чтоб вписать еще какие-нибудь страны. Затем вниз, спиралью, врезанной в ольховую кору, спускается голубая полоска, отороченная желтой краской. По голубому белым вписаны города, которые посетил этот тупица. Всего девяносто четыре города. Я не буду их перечислять, а назову только последние пять городов, бывшие конечными пунктами не только владельца этой палки, но и многих других немецких разбойников. Вот эти города: Гатчина, Красное Село, Пушкин, Тосно, Сиверский. На Сиверском запись обрывается, и палка в качестве предмета воспоминаний едет в Штаргард.

Здесь нашел ее советский боец.

ВЕЛИКАЯ БИТВА

I

К югу от Франкфурта, по обе стороны Одера, тянется невысокая, метров в десять, дамба, предохраняющая поля от разливов и регулирующая течение реки. Дамба давней работы: нависшие, угловатые ветлы, растущие у ее подошвы, достигают иногда двух обхватов. Тонкие, молодые их листья — в голубой игре ветра, и смиренные тени их скользят по нашей машине, когда мы пробираемся вдоль дамбы к лодочной переправе, чтобы попасть на западный берег в район нашего плацдарма.

Течение Одера быстрое. Гребцы налегают на весла. Мелькает мимо крошечный островок, покрытый пушисто-синими лозами. Посредине островка — яма: в полдень сюда попал снаряд, но мокрая земля уже осела, и ямы почти не видно. Только изломанные, искромсанные ветки чертят путь взрыва.

— «Он» часто подбрасывает сюда, — говорит гребец,—

да ведь лодка увертлива. В лодке жить легко: и ехать не путем, и кормить не бензином, и гнать не кнутом...

Гребец, как и все встречные, разговорчив. Но люди здесь разговорчивы по-особому. Это не бесплодная, скверная болтливость, а стремление передать вам свои хорошие качества, глубокие думы. Мне кажется, что люди здесь хотят передать вам о человеческом подвиге такое, чего вы не знаете и о чем слабо догадываетесь.

И пока мы плывем в лодке, вглядываясь в противоположный берег, в изрытую дамбу, где расположилась дивизия, где рядом с орудием — землянка политотдела, а с землянкой — стойло для коня или укрытие автомашины, где дамба поделена на некое подобие клетей, — пока мы рассматриваем эти каракули войны, сопровождающие нас гребцы рассказывают о форсировании Одера.

День был холодный, лохматый, в надменно серых тучах. Земля была мерзлая, холодная, грязная, и, однако, пришлось покинуть ее, чтоб под пулями и снарядами немцев перебираться на тот берег.

Горька война, но горечь ее преодолевается и побеждается упорством и знанием. Так был побежден Одер.

В числе других на самодельном плотике форсировал Одер старший сержант Абатуров. Он переплыл реку, выскочил на берег и увидал глубокий канал. За каналом насыпь, и оттуда бьет немецкий пулемет, и поблескивают огоньки его выстрелов, как чешуя. Но как у рыбы не мясо, так и чешуя — не перья, и не улететь тебе от нашего гнева, фашист!

Абатуров бросился в ледяную воду, глотнул ее горечи, победил ее, переплыл канал и пополз вдоль скользкой насыпи. Он подкрался к немецкому пулемету, навалился телом на его ствол. Наступила короткая тишина: короткий и бессмертный миг жизни, который осталось прожить Абатурову, потому что тело его было пронзено пулями. Что вспомнил он? О чем он думал? Он вспомнил свою прекрасную родину. Он как бы встал перед ней во весь свой рост, и он крикнул бойцам, которые ползли за ним, слова, священные для нашей родины, являющиеся воплощением творческих сил нашей родины. Он крикнул:

— Вперед, за Родину, ребята!..

Будь же бессмертно цветуща жизнь народа, породившего и воспитавшего такого сына!..

Переплыли на лодках, на плотах. Начали наводить переправу. Тем временем артиллерия долбила вражеский берег. Немцы отвечали довольно усердно. Укладывая доски штурмового мостика, командир взвода лейтенант Агафонов торопил:

— Попробуем-ка еще быстрей, друзья! Что касается «его», так «он» бьет с натугой теперь; ему теперь через тын в яму! У него жизнь как бутылка теперь: головы нет, а горло цело. Клади доски быстрей, друзья. Кладем верную дорогу на Берлин!

Так стояли они, подбадриваемые шутками лейтенанта, долгие часы в воде, ползуче ледяной, под промозглым и пасмурным ветром. Стояли с писаными мертвенно-серыми лицами, вбивали колья, стлали доски под разрывами снарядов, стояли, думая о тепле. Стояли — не подумали уйти. Мало того, переправа была готова раньше срока.

Рванули к дамбе. Немцы укрепились на ней.

— Ну что ж? Река за нами, — сказал парторг, младший лейтенант Жаров. — Остается, выходит, только один верный путь: на Берлин.

А к дамбе прибывают новые группы немцев.

Пулемет противника заработал на фланге. Он может помешать нашему движению к дамбе. Под пулями немцев командир Рябцов бросился к пулемету. За ним автоматчики — Кукушкин и Котлун. Они подползли к дзоту. Рябцов бросил туда гранату. Немецкий пулемет умолк.

— На дамбу, друзья! Отсюда видней Берлин.

Ворвались. Дамба космата от боя, от взрывов, от криков. Бой таков, что оставшихся в живых немцев вытаскивают из окопов за шиворот.

Звенящим от волнения голосом говорит о завоевании плацдарма за Одером младший сержант Моревин:

— Мы прошли вперед через множество вражеских трупов! Мы шли на Берлин.

...Видна дорога, обсаженная деревьями, обширный луг и дальше — опять вода. Километрах в полутора отсюда немцы взорвали плотину. Вода хлынула на луг. Наш плацдарм, завоеванный с таким трудом, мог быть затоплен.

И тогда отдан был приказ — выбить немцев из района взорванной плотины. Выбить, заделать брешь.

После ожесточенного боя немцев выбили, а брешь начали заделывать. Подвозили на лодках бетон в мешках. Бутили два дня. Забутили. Вода остановилась и начала

сбывать. Однако передний край проходил по воде, и там, в легкой бархатистой дымке, впереди, среди разлившихся вод, сидит наша передовая рота.

Вскоре после того как пролом был заделан, на плацдарм доставили фильм «Сердца четырех». Наступили сумерки. Пора бы смотреть фильм. Но как раз в это время немцы начали обстрел наших позиций. Бойцов от взрывов закрывала и защищала плотина. Воды разлившегося Одера плескались у подножия ее. За плотиной, по направлению к западу, расстилался луг. Как бы превосходно было растянуть над этим лугом экран и смотреть фильм. Но луг не только обстреливается, но и виден немцам! Ни «движок», который дает электричество, ни тем более экран нельзя вынести на плотину — в это обстреливаемое пространство. Неужели же отправить фильм обратно? Неужели же махнуть на искусство?

— Нет. Фильм надо посмотреть. Придумаем.

И придумали. Так как расстояние между экраном и зрителем, расположившимся на плотине, было слишком коротким, то экран укрепили среди лоз, на воде, на самом Одере. «Движок» втиснули в углубление. Смотрели. Правда, текст фильма заглушался порой звуками стрельбы, но его восполняли воображением...

Я стою на плотине, где смотрели фильм. Вода уходит. Луг обнажается.

II

Горят леса. Собственно, горят не леса — деревья еще в весенней влаге и не загораются, а горит мох, сухая прошлогодняя трава, сучья — все, что скопилось у подножия деревьев. Однако дыму много, и часто в глубине леса видишь бойко ползущие ручьи пламени. От дыма придорожная трава кажется особенно четко зеленой. Небо во мгле, а солнце — огромное и какое-то холодно оранжевое.

Мы возвратились с плацдарма и стоим теперь на террасе сельского дома, выходящего в сад. По тропинке, возле куста сирени, бегает ручной ежик. Три генерала — командующий армией, командующий артиллерией армии и член Военного совета армии — вышли сюда, к нам, на минутку, отдохнуть после длинного совещания. Завтра — штурм укрепленных позиций противника на западном берегу Одера. Наводятся переправы, подвозятся войска, стягивается артиллерия. Завтрашний день начнется артилле-

рийской симфонией, где лейтмотивом будет: «К Берлину, товарищи! К Берлину! В Берлин!»

Командарм — седой и стройный, с чеховским лицом, с застенчивыми движениями. Командующий артиллерией — широкоплечий, грузный, в молодости бывший бурлаком на Волге, с массивным лицом, словно двумя взмахами резца вырезанным из гранита. Член Военного совета — темноусый украинец с бархатными глазами. Все они одинаково бледны от волнения, все они погружены в напряженные думы.

И вдруг, видимо уловив общие мысли, командарм говорит:

— А знаете, я видел Льва Толстого. Мой отец был начальником железнодорожной станции неподалеку от Ясной Поляны. Толстой почти каждый день приезжал на станцию верхом за газетами. И каждый день я, мальчишка, выбегал на крыльцо, чтоб встретить его. Он ездил на маленькой лошаденке. Я не успею сказать: «Здравствуйте, Лев Николаевич», как он уже снимет шляпу и легкими, быстрыми шагами идет к станции...

И командарм смотрит в сад. И всем нам кажется упоминание о Льве Толстом таким уместным, таким понятным и таким трогательным, словно где-то здесь, за кустами воздушной сирени, прошла его тень. Нынче все — от командарма до бойца — под впечатлением огромной ответственности приближающейся битвы, в которой сыны великой отчизны будут защищать от фашизма культуру не только нашей страны, но и жизнь и культуру всего человечества, а кто лучше Льва Толстого мог понять и воспеть величие битвы за счастье человечества?..

III

Вчера я встретил полковника Аралова. Это — высокий, слегка сутулый человек с мягкими манерами и тихим голосом. Перед войной он был заместителем заведующего Литературным музеем в Москве. В 1941 году этот старый революционер пошел добровольцем в ополченскую дивизию. Улыбаясь, он говорит:

— Я проделал блестящий путь: от Москвы-реки до Одера, и в одной и той же армии. — И он добавляет, относясь с мягкой иронией к своему возрасту: — А также не менее блестящую карьеру: от рядового до полковника.

Сейчас он начальник трофейного отдела армии. Он с гордостью говорит, что армия, где он служит, за время войны собрала и отправила тылу свыше ста тысяч тонн металлолома.

Окно его узкой и длинной комнаты выходит во двор помещичьего дома. За сараями и деревьями блестит капризно вода: не то речка, не то озерко. Окно открыто. Ласковый и пахучий запах молодой травы доносится сюда.

Вокруг — на столе, диване и просто на полу — книги, картины, китайская резьба по слоновой кости. Все это было награблено немцами, и все это найдено нашими бойцами. Аралов показывает нам собрание гравюр из Павловского дворца. Затем он бережно достает небольшую книгу в кожаном переплете, темно-коричневом, жирном на ощупь. С особым игольчато-колющим чувством берешь эту книгу. Очарование времени, очарование гения охватывает вас.

Это — первое издание труда Коперника. Это — первый удар в великий колокол Возрождения, удар мощный, удар, сделанный рукою славянина.

И после того как мы вдоволь нагляделись на Коперника, полковник подает нам «Колокол» Герцена.

Гений Коперника, гений Герцена, гений всего того, что освещало мир, хотел растоптать немецко-фашистский сапог. И здесь, на берегу Одера, советский воин, отбросив прочь немца, нашел, встретился и с гением Коперника, и с гением Герцена.

Полковник говорит:

— Собирать запрятанные немцами наши предметы искусства оказалось не так легко. Бойцы привыкли собирать танки, орудия, машины. Увидит — сейчас же сообщит своему командиру. А увидит статую, картину или книгу, пройдет мимо, поделившись мнением только среди своих. Но стоило лишь провести небольшую разъяснительную работу, как люди мгновенно переключились. Теперь сообщают обо всем. У людей обнаружился вкус к отыскиванию наших картин и вещей.

— Пожалуй, это и не так трудно, — говорит кто-то из нас. — Живопись у немцев ужасная, аляповатая. В любую квартиру войди: одни и те же цветные репродукции в золотых рамах, одни и те же изречения насчет того, что жена должна почитать мужа и блюсти дом.

— Да, — говорит, улыбаясь, полковник, — на этом унылом, коленкоровом фоне бархатом выделяется наше искусство. И мы постараемся вернуть его нашей стране, куда б его немцы ни запрятали...

Неусыпно, священным чувством ненависти к врагу, умением воплощать это чувство в дело, то есть полностью уничтожать и громить врага, полны, как никогда, эти дни ярой сечи, великой битвы, гигантского наступления на Берлин, на мутно-мглистое, душное и несносное, как ядовитый туман, логово фашистского зверя.

IV

Он пришел, этот день наступления.

Пятый час утра. Скоро начнется артиллерийская подготовка. Но пока тишина такая, что, кажется, пролети мошка, и ту услышишь. К тому же над рекой и ее окрестностями разлит, как масло, липкий туман: смесь речных испарений и дыма, нанесенного ветром из лесов.

Иду по ходам сообщений к наблюдательному пункту. Ноги вязнут в жидком, как мука, песке; руки задевают о доски, которыми обит ход. Иду долго — наблюдательный пункт на высоком холме.

Тесная комната. Вместо окна — щель шириною в ладонь и длиною метра в два. Несколько прошлогодних сухих стеблей травы еле заметно колышутся возле щели, а за ними угрюмая, сырая мгла. Сквозь мглу доносятся откуда-то голоса, но кто и о чем говорит — непонятно. Оказывается, разговаривают наши бойцы. В два часа ночи им сообщили о наступлении.

— Как они приняли эту весть?

— Давно, говорят, ждали. Пора.

Превосходство сил, моральное и физическое, явственно слышится в их ответе.

Рассвет прибывает по капле. Досадная, белесая мгла, словно кляча, ползет над Одером, уже слегка отличаемым от берегов. Как и других, меня иголками колет забота: а вдруг немцы, узнав о наступлении, покинули траншеи и увезли свою артиллерию?

И вдруг будто сбросили воз дров над головой. Холм вздрогнул, как куст. Посыпался из щелей песок, на секунду запорошив глаза. Где-то на каком-то гребне жарко полыхнули гвардейские минометы. Источники света рину-

лись в небо, сразу определив его глубину. Земля тряслась в железном, безудержном грохоте. Передо мной встал воплощенный «бог войны» — артиллерия заговорила!

Сорок минут через этот млечный путь белесой мглы пробивала артиллерия дорогу нашим войскам. Она сверкала молнией, падала громом, она превращала пространство в кипящий котел воды и пламени, она вскрывала землю — и ни в каком колодце, конечно, не укрыться врагу!

И когда над смутно причудливым Одером на мгновение из туч показалось солнце цвета желтой меди, наши войска пошли в атаку.

Они шли лесными массивами, среди топких лугов, по каналам, по дорогам, среди мин, среди разбитых немецких орудий, повозок, автомашин. Они прошли траншеи, ворвались во вторую линию. Они шли, как наводнение, разбивая у немцев не только технику, но и все надежды на какой-либо успех.

Немцы открыли шлюзы на одном из каналов, чтобы затопить населенный пункт, в который ворвались наши бойцы. Но бойцы, простые русские солдаты, — первыми среди них были сержант Кузнецов, ефрейтор Волокушин и младший сержант Артемьев — под убийственным огнем пробрались к шлюзу и закрыли его.

На канале Одер — Шпрее немцы хотели взорвать мост. Бойцы двинулись так стремительно, что немцы оставили мост и бежали.

Мы пересекли железнодорожный путь и вышли на холм. Клеверное поле перерыто окопами, на желтом песке лежит трубка от фауст-патрона, а возле бетонного колпака — три трупа немецких солдат. Непогода, кажется, окончилась. В небе легкие, бледные и пушистые, как лен, облака. Проносятся самолеты. Наши летчики помогают пехоте штурмовать Франкфурт-на-Одере. За лазорево-синим лесом встают оранжевые клубы взрывов.

Возле холма — шоссе. По нему движется грузовая машина. Несколько легко раненных бойцов сидят в ней. Какая-то неисправность в моторе. Шофер остановил машину. Всадник в кубанке поравнялся с машиной и спрашивает:

— Ну как, пехота, Франкфурт?

— Берем! А как, казак, Берлин?

— Уже через плетень перелезли. Скоро в рейхстаг

войдут, — отвечает тот и, поправив черную кубанку, отъезжает.

Пехотинец смотрит ему вслед и говорит:

— Оно верно: на немце теперь, как на камне, нету цвета. Хорошо-о!..— И лицо его засияло таким томительно сильным чувством совершенного подвига, что ради того, чтоб увидеть это чувство, стоило и жить, и трудиться, и терпеть любые лишения, и идти бог знает как далеко!

И навсегда эти дни останутся в нас сладким восторгом, бессмертно тающим на дне наших сердец. Это — чистое и нежное сознание своего долга перед советской родиной, перед всем человечеством, перед всей культурой.

На искристом циферблате вечности сквозь близкую и легкую дымку времени отчетливо виден час, когда безжизненно упадет гитлеровская Германия.

Этот час видит весь мир.

29 апреля 1945 года

РУССКИЕ В БЕРЛИНЕ

Среди великого множества удивительных и благородных дней, которые переживает человечество, дни, которые мы сейчас наблюдаем в Берлине, быть может, самые возвышенные и удивительные. Достаточно взглянуть мельком на дороги, прилегающие к столице фашистской Германии, чтобы увидеть необыкновенную и поучительную картину. По обеим сторонам дороги идут нескончаемой лентой два гигантских потока людей: одни — из Берлина, другие — в Берлин.

Из Берлина — пешком, на фурах или тележках, с узелками и чемоданчиками — уходят те, которые под кнутом и кровавой свастикой работали на немцев. Выражение их лиц невыразимо никакими словами. Но пусть каждый, кто хочет знать их состояние, вспомнит самые радостные и счастливые минуты своей жизни, и, возможно, перед ним встанут эти лица. Они идут, оставив позади себя гнет, тоску, голод, унижение. Они идут на восток для счастья и творчества. По другую сторону дороги идут к Берлину немцы. Это те, кто убежал в леса или в ближайшие селения от титанического огня нашей артиллерии, или от бомбежек союзников, или вообще, на всякий случай. Теперь они идут обратно. Лица их бледны, пыль струями бежит

по их одежде и темными пятнами ложится у глаз, неподвижных, вопросительных, угрюмых.

И посредине этих потоков в грохоте, говоре, песне — на машинах, конях и пешком — идет Советская Армия. Запад охвачен алым дрожащим светом. Горит Берлин. Пахнет гарью. Тени от пушек, танков и людей, густые и темные, как деготь. Вглядываешься в лица бойцов — и видно, что все дрожит от нетерпения и все наполнено глухим и ярым чувством к врагу, тем чувством, которое несет победу.

Откуда-то сбоку на дорогу выходят тяжелые танки. Они идут с таким грохотом, их так много, что от восторга стучат зубы, и не веришь своим глазам и смотришь на изумруд зелени по краям дороги, и, как ни странно, приближает тебя к реальности большой, толстый плюшевый медвежонок на головном танке, привязанный где-то возле башни. Растопырив пухлые лапки, медвежонок тоже мчится в бой, может быть для того, чтобы вернуться к детям и сказать, что скоро войне конец.

Автострада, опоясывающая Берлин, пустынна и тиха. Мы пересекаем ее. Километра два — три — и перед нами Берлин. На улицах баррикады, наскоро выстроенные из бревен, промежутки между которыми засыпали землей. Кое-где надписи по-русски: «Мин нет».

Офицер говорит:

— Бой в трех километрах.

То, что над улицей проносятся самолеты и где-то рядом ухают зенитки и слышны взрывы, а в соседнем квартале горят три огромных дома и в больших окнах бушует густое оранжевое пламя, офицер-сапер не считает боем. Не спеша он руководит разборкой баррикады. Саперы оттаскивают бревна.

Едем широкой улицей. Среди шестиэтажных домов по линии трамвая, посредине улицы, — газон и голые деревца. Мостовая изрыта снарядами. Молодые люди — немцы с белыми повязками на рукаве — подметают улицу, убирая осколки, засыпая пробоины, а более пожилые и с более широкими белыми повязками стоят у дверей своих магазинов. Двери и витрины забиты досками и от разрывов, и чтобы, не дай бог, не пострадало имущество от рук своих же, немцев. Вчера, например, наши кинорежиссеры засняли сцену, когда население квартала разнесло и

разграбило продовольственный магазин. И вот седые люди с испуганными лицами стоят возле своих лавочек, стоят неподалеку от боя — а бой в полукилометре, — стоят и стерегут. Велик бог наживы.

Проехали еще два — три квартала. Здесь уже и немцы не стоят у своих магазинов, а прячутся в подъездах. Здесь отчетливо не только слышна автоматная стрельба, но и видна. В следующем квартале — шлагбаум через улицу. За шлагбаумом — бой, передний край. В сотне шагов горит подожженная «фаустом» машина, а на перекрестке улицы лежит прикрытый шинелью убитый советский воин. Это — сержант Васин, командир отделения, пехотинец.

Великие исторические победы совершили Советская Армия, весь советский народ в канун первомайского праздника. Долго боролся с врагом, долго напрягал все свои силы советский народ, чтобы именно сейчас прийти к полному разгрому врага. Шел к этому разгрому и сержант Васин, что лежит под шинелью, на камнях берлинской мостовой. Он шел упорно, воодушевленно и радостно. Он родом из села Бекетовка Ульяновской области, из той области, где родился наш учитель Ленин. Сержант Васин положил свою благородную жизнь за нашу отчизну.

К нам подходит капитан. Где-то здесь, поблизости, в одном из дворов стоит санитарная машина. Капитан отошел на минутку поговорить с товарищем, да и забыл в каком дворе. Рука его привязана. Мы спрашиваем:

— Легкое ранение?

— Осколком навылет в руку. Три пальца шевелятся, а остальные нет, — говорит он, легко улыбаясь, словно и не чувствуя боли. Видимо заметив удивление на наших лицах, говорит: — Я привык. Я уже пятый раз ранение получаю.

Он, несомненно, испытывает боль, и, несомненно, ему надо поскорее ехать в лазарет, но ему не хочется покидать Берлин, и, кто знает, может быть, он и не забыл, где находится санитарная машина. Он говорит охотно, не спеша, отчетливо выговаривая слова, и в словах его нет никакой рисовки. Это — обыкновенный русский человек, капитан А. Н. Глазков из Калужской области. Начал войну солдатом в 1942 году, сержантом оборонял Сталинград. Награжден тремя орденами и медалью. Лицо его, молодое и приятное, кое-где покрыто синими крапинками, обожжено порохом.

— Где вас, капитан, обожгло?

— В Сталинграде обожгло.

Ныне он командир пулеметной роты. Сегодня вместе со своей ротой форсировал Шпрее.

— Там, где станция железной дороги, завод и церковь, — говорит он, показывая рукой туда, где течет река. — А вы к центру пробираетесь?

— К центру.

— Ну, Берлина не узнать! — восклицает капитан.

— А вы разве были здесь раньше?

— Не был, но, по всем расчетам, здесь, раз центр, должны быть здания, а вместо них одни развалины. Жители сидят в бункерах, которые раньше понастроили от бомбежки.

Он раскланивается и, отходя, говорит:

— Ненависть привела-таки нас в фашистское логово. Я доволен. Побывал в Берлине.

И он идет медленно, зорко вглядываясь в дома, в улицу, в небо, видимо впитывая в себя аромат и страсть великого боя за Берлин.

КОГДА СТИХЛО СРАЖЕНИЕ...

Целый день, с утра и до вечера, провел я на улицах Берлина, улицах, покрытых пеплом, обломками кирпичей и рваным, искромсанным металлом. Еще кое-где изредка раздавался торжественно-угрюмый выстрел орудия, еще доносилась откуда-то широкая трель пулемета: это наши части добивали последние мелкие очаги сопротивления, разоружали группы фашистов, запрятавшихся на чердаках или в подвалах. Но сквозь дым, треск и рубиново-оранжевый пламень пожаров слышна могучая, шумно-веселая песнь победы, великой и великолепной победы над фашизмом. Берлин пал.

Центр города густо застроен баррикадами. Баррикады солидные, толстые, стены из огромных железных балок, а пространство между стен забито кирпичом и камнем. Думаешь: какая непроглядно тупая злоба строила эту громаду и какой светозарный труд победил и разрушил ее!

В проходы баррикад непрерывной цепью по обломкам кирпичей идут наши «эмки», повозки. Возле баррикады

небольшой красный щит, и на нем серебристыми буквами выведено: «Да здравствует 1 Мая!» Площадь неподалеку от Унтер-ден-Линден, название ее узнать трудно: надписей нет, немцы, видимо, поснимали названия улиц и площадей, а прохожие, кого ни спросишь, из другого района, ничего не знают, плутают, толкаются. Через площадь идут танки, орудия. И танки, и орудия облеплены красноармейцами. В этот день черты их лиц от пепла и порохового дыма кажутся очень крупными, выразительными.

У баррикады стоят двое: старшина и рядовой Корольков, пожилой мужчина, до войны работал на «Шарикоподшипнике» слесарем. Он коренной москвич. Рядовой Курбанов из Казахстана, колхозник, молодой: ему недавно исполнилось двадцать. Ростом на голову ниже старшины, но поплечистей. Матово-черные глаза его горят чарующим блеском, блеском восторга, который трудно передать, но который охватывает вас сразу, как только вы посмотрите ему в лицо. Повторяет он протяжно и несколько лениво одно слово: «Видишь?» Но сколько глубокого и искреннего смысла в этом слове! Кажется, что, кроме этого слова, и никаких других слов не нужно.

Накрапывает мелкий дождь. Холодно. Солдаты не спали всю ночь — вели бой. Ночь была тяжела, так как враг сопротивлялся яростно. Солдатам бы отдохнуть, но они не уходят. Изредка вздрагивая от налетевшего ветра, стоят и смотрят на берлинскую площадь. Несколько автоматчиков ведут нескончаемую колонну пленных.

— Разбойники и есть разбойники, — говорит старшина. — Я к пленным отношусь спокойно, а все-таки они разбойники. Сколько крови пролили!

Мы оставили старшину и Курбанова и стали пробираться к рейхстагу и Бранденбургским воротам. Неподалеку от рейхстага стояла мотострелковая бригада. Всю ночь бригада вела ожесточенный бой с противником. В четыре часа, как выразился один майор, немец скапутился и алчно пошел в плен. Думали, что всю площадь пленными забьет.

Бойцы и офицеры наперебой рассказывают эпизоды последнего боя. Их прерывает старший лейтенант Семин, человек, видимо, очень восторженный:

— Технику немецкую, побитую, видели? Много?

Улицы вокруг рейхстага действительно чрезвычайно

плотно забиты немецкой техникой: тут и танки, и бронетранспортеры, и грузовые машины, из которых сыплется немецкое обмундирование, и много разбитых, изрешеченных пулями легковых машин.

— Много, — говорю я. — Так много, что, пожалуй, и описать не удастся!

— Описать? Где там описать! Лишь бы увидеть, — восклицает Семин. — Вы, я слышал, писатель?

Отвечаю, что — писатель.

Тогда Семин говорит мне:

— В два часа ночи мы бились за ваши машины.

— За какие наши машины? — спрашиваю недоуменно.

— А в два часа ночи мы захватили государственную немецкую типографию. Вон там она, — указывает он на один дом. — Все машины в подвалах и целехоньки будут. Попечатали они свои фашистские гадости, пора человеческие слова печатать, книги!

«Книги» он говорит медленно, всем лицом повернувшись ко мне. Глаза у него кроткие, задумчивые, и видно, что этот человек по-настоящему и чутко любит книгу, ту книгу, которая благословляет и прославляет самоотверженный труд нашей Советской Армии, книги Пушкина и Горького, книги Ленина и Сталина.

Переезжаем на восточный берег Шпрее. Здесь тоже разрушенные баррикады, и здесь тоже по камням их идут в тыл колонны пленных немцев. Сквозь дым пожарища пробивается солнце. Берлинские обыватели выходят из подвалов, где они скрывались от бомбардировок. Двое на палке тащат чемоданы, третий подходит и просит хлеба. Катят тележки, некоторые тащат в развалины трупы убитых лошадей и свежуют их там.

— «Гитлер капут!» — первое их слово, а второе — «хлеба».

Мимо проехал гвардии подполковник Ануфриенко. Вчера мы были у него в длинной и узкой комнате, затененной распустившимся каштаном, под которым стояла самоходка, а рядом с ней — кухня. Около кухни — толпа немецких стариков и старух с котелками.

— Битва за Берлин, — сказал подполковник, — навсегда войдет в историю как беспримерный подвиг советских людей. Фашисты вели бой из подвалов, из глухих, заваленных гнезд. Метро здесь мелкого залегания, много

пробоин — они вели бой из этих пробоин. Приходилось засыпать отверстия, подкрадываться к домам, искать новые способы бить врага.

— Что же вы открыли нового?

— А, например, самоходки. Вы даете выстрел по дому из самоходки, и что же получается? Пробоина, и больше ничего. А теперь мы открыли следующее: бить надо не навылет, а вдоль стены. Два — три выстрела, стена рухнет, поднимается пыль, фашисты ничего не видят, и мы проводим пехоту или врываемся в подвал. Или, например, опыт с фауст-патронами. Я его передал немедленно в другие полки.

— Какой опыт?

— Фауст-патроны, попадая в самоходку, взрывают бензин и осколочные снаряды. Я не заполняю боковые бочки бензином и беру меньше осколочных снарядов. Лучше лишний раз зарядиться, чем терять машину. И вот за все время боев я не потерял ни одной самоходки, а от Одера и до Шпрее мы подбили тридцать три немецких танка, не считая другой работы...

Теперь подполковник едет там, где вчера еще грохотали его самоходки, от выстрелов которых огромные дома и баррикады трепетали, как листья. Душно-сладкий запах дыма обдает его машину. Он проводит несколько раз по лбу ладонью.

— Победа, победа!

Приближается вечер. Звонко плещут над рейхстагом и над подбитыми конями Бранденбургских ворот отливающие золотом алые стяги Советской Армии, стяги победы. Плещут так звонко, что кажется, что всплески шелкового полотнища внизу, на площади.

Вечер. Еще один орлиный, торжественный день нашей истории закончен. День, который столетия будет отмечаться как одно из высших достижений советского народа, его гения, его упорства, его труда, его Армии, день, за который народы мира будут вечно благодарны советскому народу, народу-освободителю.

Как свежо под темными деревьями! Пахнет из садиков землей и чудесной сыростью молодых растений. Мы на окраине Берлина. И вдруг послышался смех. Вправо вспыхнул огонек. Мы пошли на этот огонек, настолько

смех был прельстителен. При свете зажигалки молодой горбоносый боец рассматривал свою гармошку. Резвые пальцы лежали на клавишах. Он счастливо смеялся, и нам не нужно было объяснений, почему он смеется. Нам просто хотелось насладиться его голосом, и мы отошли, как только он сказал несколько слов, а слова были следующие:

— Ну теперь, ребята, мы споем!

5 мая 1945 года

ТАМ, ГДЕ СУДЯТ УБИЙЦ

(На Нюрнбергском процессе)

I

Когда поднимешься по тропинке среди свежих развалин на вершину высокого холма, господствующего над Нюрнбергом, и встанешь лицом к крепостному рву, то впереди себя увидишь новый город. Это однообразные и скучные, тускло-серые дома с красновато-оранжевыми крышами да кое-где фабричные трубы. Вокруг холма изголуба-серая крепостная стена. В ней-то и заключен старинный средневековый город, которым так кичился Нюрнберг. Город невелик и сильно поврежден снарядами. Вглядываешься, вглядываешься и с трудом находишь уцелевшее здание. Черепичные и шиферные крыши унесены и раскиданы взрывной волной, но балки целы, и оттого кажется, что город недостроен. Домики, тонкие и узкие, как бритва, стоят, тесно прижавшись друг к другу, и, глядя на эти узкие улички, начинаешь думать, что готическая архитектура появилась не столько из стремления архитектурно выразить порыв к небу, сколько из-за городской тесноты вообще. И оттого ли, что видишь готику среди развалин, или, может быть, оттого, что привык к иной, более мощной, широкой и веселой архитектуре, готика кажется анемичной, сухой, словно хвощ, вырезанный из скалы. Вправо над тобой повисает угрюмая пятиугольная башня. Эта башня из темно-серого шишковидного камня венчает собой старинный город, а стало быть и весь Нюрнберг. Скверный, скажу вам, этот венец. К башне, почти от самого подножия, ведут вас пространные немец-

кие надписи, прибитые музейными людьми, которые вряд ли находили в этих надписях какую-нибудь иронию. Надписи сообщают обстоятельно, как пройти к башне, где находилась камера пыток и где жила, обитала, так сказать, в полном благополучии знаменитая нюрнбергская «железная дева». Все мы давно когда-то читали об этом средневековом снаряде для пыток. Внутренние стенки снаряда утыканы были гвоздями и посредством особых рычагов, в случае необходимости, приводились в действие. Стенки сжимались, впивались в тело, и железные гвозди пронизывали человека насквозь. Человек умирал в ужасающих мучениях. И какое нужно иметь сухое, холодное и грубое воображение, чтобы придумать такой снаряд и дать ему такое название! Как нужно ненавидеть мир, презирать его, чтобы пытку сравнить с тем существом, которое дает столько радости миру! Человечество создавало песни о девушке, называло ее розой, соловьем, весной, подбирало для нее лучшие, ласковые и милые имена — Нюрнберг выковал «железную деву», утыкал ее гвоздями, подарил ее палачу, вознес этот снаряд пытки в огромную башню и башню эту вознес на большой холм и вдоль этого холма выстроил серый тесный городок. Поджигатели агрессивной войны, заговорщики против мира и счастья человечества, которые сидят сейчас на скамье подсудимых в нюрнбергской палате юстиции, в те дни, когда они правили Германией, любили кричать о вековечном германском духе и в том числе о средневековых традициях и заветах. Но среди средневековой красочности, среди песен, архитектурных памятников или живописи им по духу оказалось только одно — вот эта самая камера пыток, вот эти душные и сырые подвалы и подземелья средневековья, вот эти клоповники, да и то куда людям средневековья до этих герингов, гессов и риббентропов! Ржавый железный гвоздь из снаряда пытки они заменили многотонной пушкой, одновременно с этим разменяв его на гвозди колючей проволоки для концлагерей да пустив еще вдобавок по этой проволоке электрический ток.

Палата юстиции велика. В ней никак не меньше четырехсот комнат. В белых сводчатых коридорах слышишь слова всех языков Европы. На дверях французские, английские, русские надписи. За дверьми бесчисленные документы беззаконий германского фашизма и множество

свидетелей, которые неопровержимо доказывают и докажут всему миру, какие чудовищные злодеяния свершили эти подсудимые. Сидят они чинно, слушают внимательно, но лишь небольшой перерыв — они медленно обращаются друг к другу. Как они чирикают! Можно подумать, что это не злодеи, судебной встречи с которыми жаждало все человечество, а невинные воробышки, усевшиеся рядышком на телеграфной проволоке, чтобы проветриться и обсудить свои мелкие делишки. Но приглядишься — и видишь, что это не птички, а ножи, воткнутые в два ряда, ножи, с которых ежесекундно — и доныне — капает безвинная кровь убиенных и замученных.

Вот на суде выступает свидетель, некий немецкий генерал Лахузен, помощник начальника контрразведки и подчиненный фельдмаршала Кейтеля, который сам непосредственно давал генералу указания о некоторых убийствах! И если Кейтеля можно сравнить с ножом, то Лахузен — рукоятка этого ножа. Я хочу только обрисовать вам силуэт этой рукоятки, достаточно мрачной и тяжелой, которой тоже с успехом можно убивать, и хочу остановиться на двух его фразах, циничность которых поразила меня несказанно. Мне думается, что эти фразы необыкновенно ярко и выпукло показывают нам сущность субъектов, с которыми суд имеет дело. Позади свидетельского пульта находится большой белый экран, на котором показывают фильмы или диаграммы, имеющие отношение к процессу. Лахузен высокий, плешивый, длиннолицый; когда говорит, лицо его делается лососево-красным, а необыкновенно длинные руки часто взметываются кверху, и тогда тень их прыгает по экрану, и кажется, что эта тень не его, а другого фашиста, который, быть может, еще не пойман, но которого надо непременно поймать, допросить и судить. На лысом багровом черепе Лахузена поперек две черные ленты, поддерживающие наушники. Металлически поблескивают никелированные кончики наушников, и блеск их падает на мокрый череп — все это ужасно... Ужасно то, что слышишь и видишь, и делаешь усилие, чтобы не дрожать от негодования, чтобы запомнить, чтобы рассказать вам все то, что видел и слышал. Перед этим на допросе Лахузен показал, что Кейтель передавал ему приказания об организации убийств; показывал свидетель и о том, что он знал о пытках, которые совершали над советскими пленными в лагерях, как и о том, что рус-

ских военнопленных клеймили. И вот наступает перекрестный допрос. Защитник Кейтеля спрашивает:

— Свидетель, по германскому праву, неосведомление властей о каких-либо известных вам преступных мероприятиях несет за собой наказание — смертную казнь. Осведомляли ли вы полицейские власти о замышленных убийствах, о которых вам становилось известно?

На белый, гладкий, ослепительно белый экран взметывается тень огромной руки, похожая на решетку. Свидетель выпрямляется во весь свой длинный рост у темносерого рупора микрофона, и на весь зал медленно и отчетливо раздается:

— Я знал о ста тысячах убийств. Не мог же я сообщать в полицию о каждом из этих убийств... — и, почувствовав, видимо, раздражение при мысли, что он мог заниматься такими пустяками, как сообщение в полицию о задуманном убийстве, тем более что убийство задумывалось не кем иным, как его начальством Кейтелем, свидетель откидывает назад свое длинное тело и насмешливо смотрит на защитника. «Право? Полиция? О каком праве и о какой полиции изволите спрашивать меня, милостивый государь?» — казалось, говорит его взгляд. А незадолго перед этой сценой на допросе Лахузена произошла другая, не менее страшная. Лахузен рассказывал, что он лично, а равно и некоторые другие офицеры разведки протестовали против бесчеловечного обращения с пленными, против приказов о расстрелах пленных.

— На чем же основывались эти ваши протесты? — спрашивают его.

Он отвечает:

— На основании того, что солдаты, которые брались нашими войсками в плен, убивались вскоре нами же. В мой отдел входили солдаты, которым я поручал эти задачи.

Короткое молчание. Тишина в зале. Недвижно свисают зеленые бархатные занавеси с окон. Льется яркий свет из тридцати шести громадных плафонов на потолке. И опять черная длинная тень руки показывается на белом экране. И видно, что нет никаких оснований верить свидетелю, будто он мог испытывать какое-нибудь негодование оттого, что убивал военнопленных. Происходило то же самое, что он в иных случаях называл «воен-

ной необходимостью генерального штаба». Несомненно, есть и какие-то другие поводы этих протестов, поводы, более приятные для психологии этого существа. И его спрашивают: были и другие мотивы? Он отвечает: да. Некоторые отделы были заинтересованы в допросах этих солдат, а не в их убийстве.

Такова рукоятка того ножа, который называется Кейтелем. И естественно, что, когда советский представитель обвинения генерал Руденко спросил: «Имели ли результаты ваши протесты, свидетель?» — Лахузен смог ответить только: результаты очень скромные, которые едва ли можно назвать результатами.

Я рассказал об этом свидетеле не потому, что он представляет собой такую уж крупную фигуру. На фоне Геринга, Шахта или Риббентропа он, конечно, фигура не крупная и не поразительная. Но для того чтобы узнать форму и предназначение ножа, надо видеть и форму рукоятки, понять ее. А для обрисовки нравов и обычаев фашистских главарей фигура Лахузена, конечно, весьма необходима. Надо полагать, таких фигур появится на суде немало. Но пока обвинение поддерживается и опирается главным образом на документы. Эти документы подобраны тщательнейше и заботливейше. Видно, что это был долгий, жадный и неутомимый труд. И нужно быть признательным тем, кто обнаружил эти документы, рассортировал их и представил на суд всего человечества, ибо это поистине суд, которого никогда не было еще в истории и в котором заинтересовано все человечество. Благодаря этим документам мы имеем теперь возможность увидеть и всмотреться в те истоки, откуда много лет назад появился призрак этой чудовищной войны, откуда появился фашизм. Можем проследить, где и как он вырос, и какими методами действовал, и на какие доктрины опирался. Одно дело — видеть следы преступления. Другое дело — встретиться с преступниками с глазу на глаз, уличить их и наказать. И документы, которые мы слушаем сейчас, которые читаем в огромном количестве, позволяют нам видеть преступления фашизма во всем их объеме и во всех его истоках.

Когда я впервые вошел в зал процесса, я вскоре услышал слова представителя обвинения США, что сейчас будут оглашены документы, не известные еще истории, представляющие огромную важность. И действительно,

были оглашены документы огромной, сокрушительной силы. Когда я слушал их, мне казалось, что сама история сейчас бледна от волнения и что ей вряд ли казалось вероятным существование и появление таких бумаг, как известное «завещание Гитлера», записанное его адъютантом. Конечно, мало ли что мог сказать Гитлер! Сущность не в его словах, а сущность в том, что обвиняемые и глазом не повели, когда прослушали этот документ, потому что это были их слова, их мысли, их действия. Этих доктрин они придерживались при заключении и нарушении международных договоров, при терроре, убийствах, агрессии, при милитаризации фашистского своего государства с его главной целью — внезапной и уничтожающей войной. «Речь идет не о завоевании народов, — говорил в этом завещании Гитлер, — а о завоевании пространства». Какое чванство: они, видите ли, даже не желают завоевывать народы! Им удобнее уничтожить эти народы, чтобы немецкий корень — и никакой другой — мог развиваться и расти беспрепятственно и оплести всю планету. Глядишь на них и видишь, что и поныне это активные, беспощадные и мстительнейшие враги. У них, мне кажется, и посейчас еще прыгает внутри некая надежда на продолжение своей жизни. Надежда эта, конечно, крошечная, не больше блохи. И недаром защитник Гесса сообщил о желании своего клиента заняться лечением, когда окончится процесс. Как видно, эти завоеватели еще мечтают о жизненном пространстве, тогда как они должны получить и получат как раз то пространство, которое образует крепкая, туго натянутая веревка в форме петли. Это неизбежно и это необходимо. Планомерно идет оглашение документов заговора против человечества. Пункт за пунктом, часть за частью вырастает гора доказательств, которые нанесут смертельный удар фашизму здесь, на суде, как был ему уже нанесен удар на поле сражения. Народы земли и главным образом народы Советского Союза в сокрушительных, кровавых и тяжелых боях завоевали право на справедливый суд. Советская Армия предоставила возможность и силу теперешнему высокому суду народов полностью вскрыть факты агрессии, террора, надругательства над человечностью, полностью вскрыла заговор против мира. Именно ради суда, ради справедливости шли вперед наши войска. Именно для этого сражались они и били врага под Москвой, дрались за Ста-

лииград, бились на Украине, шли через Вислу, проходили через Карпаты, брали Берлин. Преступники будут наказаны. И они будут наказаны не только за то страшное и ужасающее прошлое, за преступления той войны, виновниками которой они были. Они будут наказаны и во имя будущего, которое они хотели уничтожить, потому что будущее — это творчество жизни. А выродки, сидящие на скамье подсудимых, — яростные ненавистники и жизни, и творчества. Это настолько очевидно, что вряд ли для этого требуются особые доказательства. Достаточно бросить беглый взгляд на них, чтобы понять это. На одном из судебных заседаний читались документы, относящиеся к «аншлюссу» и присоединению Австрии к так называемой «великой Германии». К концу дня, хотя документы и имели выдающийся интерес, скамьи прессы, скамья почетных гостей и столы прокуратуры несколько поредели. Между креслами, в которых мы сидели, и скамьей подсудимых образовалось пустое пространство. Я записывал оглашаемый документ. Когда я поднял глаза, чтобы отдохнуть, мой взор встретился со взглядом Геринга. Он сидел в своем сером френче, облокотившись о перегородку, наклонив голову, и глядел на нас пристально, не сводя глаз. Разумеется, он не знал, что это места русской прессы и что он смотрит на советских писателей. Ему было все равно. Он видел врага, и, боже мой, сколько ненависти и злобы можно было прочесть в этом тяжелом, угрюмом и неподвижном взоре! Щеки его приподнялись, губы вытянулись в ниточку, глаза смотрели напряженно и зло. Сквозь нас, сквозь эти стены он направлял свой ненавидящий взор на весь мир, на все человечество. Каким пыткам, каким истязаниям он хотел бы подвергнуть всех нас, дай только ему силу: что́ «железная дева», что́ средневековые казни — в его мозгу теперь столько придумано для нас казней, столько пожаров и разорений, столько мук и терзаний... Этот взгляд, с которым я встретился случайно, говорил о чудовищной ненависти, которая не утихла и которая не утихнет, пока ее не перехватит веревка.

II

Перст истории ведет нас по страницам залитым невинной кровью страдальцев. Тихо шелестят листы. Мы слушаем документы о том, как табуны серых фашистских

убийц вторглись и обезглавили Австрию, Чехословакию, Польшу... Офицеры уносят с дубовой конторки маленькие, скромные, бледно-палевые папки с документами. Обвинитель в черном костюме говорит однотонно, почти не повышая голоса. Микрофон еще более обезличивает этот голос. И кажется всем, что само прошлое взывает к нам. «Вот тебе факты! Вот тебе документы! Вот тебе преступники! — говорит оно. — Суди их, человечество. Судите их, народы, так, чтобы ни одного семени не осталось от этого зла на земле. Карайте и судите зло, самое подлое и коварное зло, которое когда-либо распускалось на земле». Трепетно и неспокойно бьется сердце каждого, стараясь подобрать смелые, огненные, карающие слова, чтобы передать чувства, которые волнуют нас сейчас, при слушании документов заговора, при виде преступников, которые замышляли и осуществляли этот заговор. За тучным Герингом, похожим на опущенные мехи, которыми накачивают воздух в горн, вертлявится Гесс, слушает весь пепельно-коричневый, как прокуренная трубка, Риббентроп, и за ними вырисовывается в зеленом мундире с прямой, как брусок, на котором точат ножи, фигурой Кейтель, бывший фельдмаршал и главнокомандующий вооруженными силами Германии.

Кейтель сидит и жует. В перерывах американская стража выдает подсудимым сандвичи, шоколад и жевательную резину. Другие подсудимые, видимо, пожирают всю пищу сразу, а Кейтель ест медленно, не спеша, наслаждаясь едой и, разумеется, не думая о том, что это американская еда, а все еще уверенный, что он ест ту пищу, которую добывали, готовили вместе с Гитлером. (Он отлично помнит и знает те слова, которые на пароходе «Патрия» сказал Гитлер венгерским фашистам перед захватом Чехословакии: «Кто хочет обедать, тот должен принимать участие в приготовлении обеда».) Кусочки хлеба лежат у Кейтеля на коленях. Он берет их пальцами, осторожно несет ко рту, медленно раскрывает его, уши у него краснеют от удовольствия. Он жует, медленно двигая челюстями и глядя вперед тусклыми, неподвижными глазами. Когда он смотрит на пищу или вдруг в документе послышатся слова «фельдмаршал Кейтель», глаза его выражают явственное вожделение, и при упоминании титула фельдмаршала он откидывается назад и пытается принять позу полководца, которую он «носил» несколько

лет подряд. Увы, и полководец он битый, и поза его теперь — поза мороженой курицы, и мундир его обвис и хлюпает у бедер, как мокрая грязная юбка уличной девки, и темно-зеленый воротник его, когда-то расшитый золотом, похож теперь на какое-то отвратительное, маслянистое, несмываемое пятно.

Тем не менее на лице Кейтеля выражение некоей обидчивости и непонятливости. Всей своей позой он хочет сказать: «Помилуйте! Причем тут я? Я только исполнял приказания фюрера, исполнял свой воинский долг. Разве меня можно судить за исполнение воинского долга и приказа?»

Этот аргумент прозвучал и в попытке Геринга выступить перед судом при опросе подсудимых в их виновности. Суд оборвал эту декларацию, указав, что Геринг, поскольку он выбрал защитника и отказался от личной защиты, не имеет права теперь обращаться лично к трибуналу и должен делать это через своего защитника.

Аргумент этот не только глуп и бессмыслен и звучит, как холостой выстрел, но и сам по себе он преступен, как попытка фашистов сохранить свой генеральный штаб, с тем чтобы создать новую, еще более жестокую и страшную войну, если можно вообразить, что возможна война еще более ужасная, чем эта.

Интересно поэтому проследить, откуда пошел миф о разделении политической и военной системы у гитлеровцев и существовало ли вообще подобное разделение.

Свидетель генерал Лахузен, которому нет оснований не доверять в данном вопросе, передавал такие слова Кейтеля:

— Основа всех наших действий должна быть в первую очередь нацистская, во вторую очередь — военная, а там уже все остальное.

И все действия фашистов показывают, что так оно и было. Аргумент же о разделении военной и политической системы заготовлялся, так сказать, для дальнейшего. Фашисты не так уж безусловно верили в свою победу. Как вы теперь знаете из опубликованных документов, Гитлер в ноябре 1937 года, выступая в узком кругу своих ближайших советников и помощников, сказал, что заговор о захвате Европы и Азии, который они будут осуществлять, подвержен риску, и что бывают поражения, и что

Бисмарк и Фридрих тоже испытывали поражения, и что надо быть готовым к возможности поражения.

Отсюда, из возможности поражения, которое не могло бы случиться без единения и дружбы свободолюбивых народов мира, вытекают и стратегия и тактика, которых придерживаются фашисты вплоть до сегодняшних дней, когда фашизму наносится последний, решительный и смертельный удар... Отсюда, из возможности поражения, и самохвальство Гитлера, крики его, что «все существование зависит от меня, от моего существования, от моих политических способностей».

Обвинение, подтверждаемое фактами, людьми и документами, изо дня в день четко и ясно говорит, что все фашистские организации и члены этих организаций, упомянутые в обвинительном заключении как участники заговора, разделяют ответственность за все свои заговорщицкие и подлые действия.

И тут уж ни за каким военным приказом Кейтелю не спрятаться, и его зеленоватый мундир не скроет его среди рощи документов, которые совсем другого цвета. Обвинение доказывает пункт за пунктом, что дело не только в одном Гитлере и его приказах. Преступления создали все преступники сообща, и если Кейтель попытается сказать, что он слепо повиновался Гитлеру, то документы скажут совсем другое. Дело обстояло проще. Они выполняли не военный долг, не военный приказ. Они сознательно шли на грабеж, насилия и издевательства.

После захвата Австрии в 1938 году, захвата, осуществленного посредством ряда самых гнуснейших и отвратительнейших махинаций, банда преступников, сидящая ныне на скамье подсудимых, вместе с Гитлером начала готовиться к захвату Чехословакии.

Чехословакия. Прекрасная, тенистая, зеленая и трудолюбивейшая страна. На редкость талантливый и поэтичный народ, где каждый человек сверкает поэзией и трудом, как листочки поутру под солнцем, унизанные росинками.

Не только славянские народы Советского Союза, но и вообще все наши народы издавна развивали и закрепляли с Чехословакией самые дружеские и самые доброжелательные отношения. Но если даже допустить, что таких дружеских и братских отношений не было, если допустить, что мы бы находились очень далеко друг от друга, все

равно и тогда то, что сделали фашисты с Чехословакией, не могло не возбудить самого сильного и самого чистого негодования, как вообще не могут не возбудить негодования подлые поступки фашистов в каждом честном человеке.

Чувство негодования встает сегодня с особой силою, когда перед трибуналом развертываются документы, шаг за шагом вскрывающие отвратительные этапы агрессии немецких фашистов, объединенных с фашистами венгерскими и итальянскими, против мирной Чехословакии.

Когда немцы обещают дружбу, жди выстрела в спину.

Геринг заверяет «честным словом», что Германия никогда не нападет на Чехословакию.

Кейтель в это время готовит «инцидент»: убийство германского посла в Праге, дабы был повод для обмана международного общественного мнения, когда германские войска бросятся через чехословацкую границу.

Тощий генерал Иодль, который и сейчас сидит за спиной Кейтеля, отмечает в своем так называемом «карандашном дневнике», выдержки из которого публикуются на суде, все подробности разработки «зеленого плана» — плана уничтожения свободной и независимой Чехословакии. Некий неизвестный день назначен «икс-днем», на некий день нападения надета черная маска, и дата этого дня не сообщается никому, даже Муссолини.

Кейтель пишет «меморандум», направленный Гитлеру,— совет, как внезапно и стремительно может быть захвачена Чехословакия.

Вот и сейчас, когда читают этот «меморандум» Кейтеля, шпаргалку, по которой Гитлер пишет свои категорические «директивы», Кейтель сидит, опустив голову и покусывая зубами желтый карандаш. Он опустил голову не потому, что ему стыдно. Нет, он записывает что-то, может быть, отрицание своего «меморандума», на котором стоят его инициалы и в котором он уговаривал Гитлера учитывать элемент неожиданности как самый важный фактор стратегии. Гитлер принял этот «меморандум» и объявил его «моим свободным решением».

Учитывается в «меморандуме» не только «инцидент» с убийством германского посла, который имеет для этих прохвостов «первостепенное значение», но учитывается даже и то, что во время «инцидента» должна быть благо-

приятная погода для полета бомбардировщиков на Прагу. По подлости документ — явление исключительное, но самыми исключительными являются в нем слова Кейтеля: «Если фюрер согласен с этим планом, нет надобности в дискуссии». Действительно, чего ж тут дискутировать!..

«Икс-день», бандитский день в маске приближается.

Этот черный «икс-день» по-прежнему хранится в глубочайшей тайне.

Дело в том, что и Гитлер, и Геринг, и Кейтель, и другие преступники чрезвычайно заинтересованы в неожиданном осуществлении «зеленого плана» как потому, что внезапный захват Чехословакии скует волю западных держав к выступлению против Германии, так и потому, что немцы желают захватить богатую чехословацкую промышленность неповрежденной, с тем чтобы она работала для осуществления их дальнейших агрессивных планов. За четыре месяца до нападения на Чехословакию фашистские лидеры, сидящие сейчас на скамье подсудимых, уже рассчитали и разложили по графам, что и сколько даст Германии чехословацкая промышленность, если «зеленый план» удастся осуществить.

...В окно комнаты видна нюрнбергская улица. Влево — сильно поврежденное темно-серое здание с колоннами. Над порталом его аллегорические фигуры, так залепленные пеплом пожарищ, что и не разберешь, кого они изображают. Одна фигура довольно ясно видна, и то лишь потому, что основой для этой фигуры была кирпичная кладка и от осколка снаряда кладка эта обнажилась и темно-красный кирпич бросает отсветы на остатки фигуры. Я вижу толстое улыбающееся лицо и руку, приближающуюся к голове. Плющ увил стену здания, и с одной стороны кое-где сохранились изжелта-зеленые листья: морозов еще не было, хотя и сейчас падает мокрый снег. К зданию примыкает дощатый барак, там горит костер, и дым вырывается сквозь щели барака. Через улицу — светло-серое здание с высокой и покатой крышей, этак этажа в два (такие крыши довольно часто встречаются здесь), крыша эта постепенно поднимается вверх и похожа на огромный могильный холм, да вдобавок с окошечками для проветривания. Три верхних этажа этого дома пусты, выгорели, и по ним свободно гуляют ветер и снег, а окна нижнего этажа заложены кирпичом, и

только оставлены в них крошечные оконца, вроде тех, что на крыше. Смотришь, и кажется, что могильный холм наверху и могильный холм внизу, а посредине все выбито. Из нижних окошечек высунулись трубы времянок, идет густой беловатый дым и пахнет бумагой. Рядом с этим домом — большой четырехэтажный, и в трех этажах его окна наглухо заложены кирпичом. Всюду на улицах рядом с тротуарами, у домов, в садиках груды темного битого кирпича и черепицы. Такой вид типичен для Нюрнберга.

В этом же Нюрнберге 19 сентября 1938 года, то есть семь лет и несколько месяцев назад, в одном из таких домов, быть может, в том самом, что украшен аллегорическими фигурами, лежащими теперь на голом кирпиче, Гитлер встретился с Кейтелем, главнокомандующим германскими вооруженными силами. Кейтель докладывал Гитлеру, в каком положении находится армия, техника, и заключил, что все готово для того, чтобы совершенно неожиданно вторгнуться и захватить Чехословакию. Эсэсовские шайки убийц, шпионов и поджигателей, входящие в войска Кейтеля, и гейнлейновские отряды, тоже влитые в его армии, плотно впились в чехословацкую границу и готовы к осуществлению «икс-дня».

И наконец приходит «икс-день», созданный Кейтелем, Герингом и Гитлером путем множества провокаций, подлогов, моря лжи и клеветы. Через чехословацкую границу хлынули войска фашистов точно в таких направлениях, какие тщательно разработал Кейтель, и точно в те сроки, которые он указал.

Но заговорщикам было мало этого. Для того чтобы полностью обезопасить себя и сделать нападение совершенно и абсолютно неожиданным, Гитлер пригласил для переговоров в Берлин семидесятилетнего президента Чехословацкой республики Гаху. Гитлер сказал ему:

— Я дал своим войскам приказ вступить в Чехословакию, чтобы включить ее в состав германской империи. Я дам чехам автономию, какой они не обладали в Австро-Венгерской империи, разумеется, если правительство Чехословакии будет мне помогать. Но я сомневаюсь, чтобы оно могло что-либо сделать в этом направлении.

Какая горделивая улыбка играла на лице Кейтеля, когда он услышал эти слова Гитлера, быть может про-

диктованные им же, Кейтелем, в каком-нибудь меморандуме, еще не найденном!

Каким он чувствовал себя великаном, избранником, и как все то, что он создал, казалось ему великолепным и остроумным! Наверное, и сейчас, сидя в своей одиночке или жуя хлеб на скамье подсудимых, он с удовольствием вспоминает эти дни и мечтает о том, что они вернутся, если, разумеется, удастся сохранить германский генеральный штаб и все то, что приложено к нему, согласно законам фашизма, для того чтобы возродить фашистскую агрессию.

В немецкой газете, выходящей в американской зоне, напечатано письменное интервью Геринга, данное им через своего защитника корреспонденту «Ассошиэйтед Пресс». Расшаркавшись и признав законными все действия трибунала (в чем трибунал вряд ли нуждается и что сделано, конечно, для того, чтобы интервью его появилось в печати), Геринг делает несколько наглых заявлений и в том числе такое: «Я не отрицаю, что работал над вооружением Германии, но я отрицаю, что подготовлял захватническую войну». И это опубликовано после того, как были прочитаны на суде документы, изобличающие Геринга и Кейтеля, да и всех прочих, в самом наглом и самом подлом захвате чужих земель, в захвате Австрии, Чехословакии, Польши и других стран!

На экране в зале суда развернута карта. Серый паук простер во все стороны пятнадцать жадных щупалец. На эти щупальца насажены договоры, которые нарушила Германия. Английский обвинитель говорит о нарушении Германией заключенных ею договоров...

III

В фильме «Нацистский план», показанном трибуналу американским обвинением и смонтированном из немецкой официальной хроники, есть сцена, весьма выпуклая.

Представьте 28 апреля 1939 года: плотно заполненный немцами зал рейхстага. Зал слабо освещен. Весь свет сосредоточен в глубине зала, круто поднимающейся вверх, туда, где во всю стену, купаясь в золотых лучах и словно очерченная колдовским кругом, распласталась огромная

черная свастика, символ смерти и уничтожения человечества. Под этой свастикой большое, с прямой спинкой, кресло. В нем восседает в своем серо-голубом фельдмаршальском мундире с крупными желтыми отворотами толстый, неимоверно жирный Геринг. Иссиня-черные волосы его блестят, точно на голову его свалился и расползся кусок свастики. Заплывшим начальническим оком старого полицейского оглядывает он зал, и когда он хмурится, хмурится и зал, и когда он хохочет, заикающимся от подобострастия смехом отвечает ему зал.

Над чем же так рьяно хохочут фашисты?

Пониже, под Герингом, председателем рейхстага, стоит на трибуне Гитлер. В этот день он читает ответ германского правительства на предложение Рузвельта, советующего Германии прекратить свою агрессию.

В ответе Гитлера поминутные восклицания. Он стучит кулаком о трибуну, то глядя в бумагу, то поднимая вверх свои мертвенно-пустые глаза: «Какая агрессия? Откуда? Что с вами? Мы взяли куски территории, принадлежавшие некогда Германии, и больше ничего не желаем. Может быть, вы думаете, господа, что мы нападем на Францию? Ха-ха! Или на Англию? Ха-ха! Или, что уже совершенно смешно, на СССР?.. Ха-ха!..»

По залу проносятся пустые, скользящие взрывы хохота. Задыхаясь и трясясь всем громадным телом, хохочет Геринг. Ерзает на сиденье Гесс, смеясь, как лакей из притона. Сдержанно выпускает свой смех Риббентроп: «Агрессия? Придумают же! Ха-ха!..»

И под этот тяжелый, нарастающий хохот сцена уходит во мрак.

Но смех этот долгим, нехорошим гнетом остается на вашем сердце.

Фашисты прикрывали этим циничным, лживым и подлым смехом угрозу войн, которые они в то время готовили. Ложь, обман, внезапность нападения и вдобавок тщательно разработанный план лжи, обмана, внезапности нападения — вот каков должен быть, по представлению фашистов, фундамент побед.

Они презирали человечество. Они уже давно поделили между собой чужие земли. Держа в одной руке лопату, изображая мирных людей, фашисты другой держали и прятали за спиной топор, которым оглушали вероломно

ничего не подозревавшую или во всяком случае не ожидавшую нападения жертву.

Третьего февраля 1941 года состоялось тайное совещание у Гитлера. На этом совещании присутствовали многие из подсудимых, которые наконец-то нашли себе подходящее место на соответствующей их поступкам скамье в трибунале. Совещание это обсуждало, как осуществить «план Барбаросса», план агрессивного и долгожданного для фашистов нападения на СССР. Здесь, на совещании, с обычной своей высокопарностью Гитлер сказал: «Когда начнутся операции Барбароссы, мир затаит дыхание и не посмеет сделать никаких комментариев». Слова эти оправдались, но, как часто это случалось с Гитлером, совершенно с обратной стороны. Мир, затаив дыхание, следил довольно долго за тем, как русские армии били немецкие, а что касается комментариев, то они росли и как раз не в ту сторону, какой ожидали Гитлер, Геринг, Кейтель.

Кстати, о Геринге и Кейтеле. На Геринга возлагалось фактическое управление завоеванной Россией, видимо отчасти из тех соображений, что такую мощную тушу не сдуют даже и великие российские ветры. Кейтель уже десять дней спустя после заседания у Гитлера разработал детальный план военных операций, направленных против СССР, с основной целью захватить сразу, первым ударом, прибалтийские страны и Ленинград. Некоторое время спустя этот оперативный план получил дополнения, и 30 апреля 1941 года глава Совета обороны фельдмаршал Кейтель расписал до последней ниточки «план Барбаросса» и, с согласия Гитлера, установил день вторжения в СССР на 22 июня 1941 года.

«Масса русской армии, — говорится в документе, подписанном Гитлером и скрепленном инициалами Кейтеля и Иодля, — собранная в западной России, должна быть уничтожена смелыми операциями: танковые клинья должны быть вбиты глубоко вперед. Отступление боеспособных войск на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. Быстрым преследованием должна быть достигнута линия, от которой русские воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на имперскую территорию Германии. Конечной целью операций является создание защитительного барьера против Азиатской России на общей линии «река Волга — Архангельск».

Таким образом, если необходимо, последний индустриальный район в русских руках в Уральских горах может быть уничтожен воздушными силами».

Здесь в нескольких фразах написан весь план войны против СССР, которому германское командование следовало неуклонно и неутомимо.

Другое дело, что получилось из этого плана и как мы испортили фашистам этот тщательно разработанный и продуманный план.

Массы русских армий не были уничтожены в западных областях Советского Союза. Они отошли и с новых позиций, вооруженные новым оружием, ударили на врага с такой силой, что немцы никак не хотели верить, будто это те же самые армии. Немцы уверяли, что это другие войска, уже много лет тайно обучавшиеся где-то в Сибири, в таежных глубинах.

И танковые немецкие клинья были вбиты глубоко вперед. Так глубоко, что их не могли уже вытащить из этой глубины, которая оказалась глубже самого глубокого противотанкового рва, потому что это была глубина разгрома немецких армий.

Не оправдалась и надежда Гитлера и Кейтеля, что советские самолеты не смогут бомбить имперские земли Германии. Самолеты наши не только бомбили Германию с нашей территории, но пришло такое время, когда бомбили, базируясь на немецкую территорию.

Но вот все же фашисты достигли «конечной цели», так отчетливо и коротко обозначенной в «плане Барбаросса», — создания защитительного барьера на линии реки Волга. Уложив дорогу до Волги самыми доброкачественными завоевательскими трупами, немцы вдруг встретили на Волге такой барьер, при виде которого о собственном защитительном барьере и думать уже не приходилось. С этого барьера некоторое время спустя Кейтелю пришлось прыгнуть за тот самый дубовый барьер трибунала, где мы видим его сейчас вместе с другими его спутниками, с кем Кейтель и Геринг отыскивали на линии Волги защитительный барьер против Азиатской России, с тем чтобы бомбить оттуда индустриальные центры Урала.

Фашисты встретили барьер Сталинграда.

Когда трибуналу показывают фильм, изобличающий захватнические планы заговорщиков или их зверства при осуществлении их планов, свет в зале тухнет. Еле-еле сквозь тяжелые бархатные занавеси, свисающие с огромных окон, пробивается редкий луч дневного света. Но снизу, с пола, лица преступников подсвечиваются чуть видными лучами.

Я назвал их призраками как потому, что в них невозможно найти хоть малейшие черты человечности, так и потому, что соображения, по которым они замышляли и осуществляли агрессии, в сущности призрачны, неправдоподобны, чудовищно тупы. Однако как ни грубы, античеловечны и антиморальны замыслы гитлеровцев, они имеют свою почву хотя бы потому, что войны развязывались, агрессии осуществлялись. Значит, призраки эти источают яд и доныне. Да и верно. Стоит вглядеться в них, когда они смотрят какой-либо фильм. Чувствуют ли они раскаяние, содрогание или отвращение к тому, что они делали? Не думаю. Самое сильное впечатление произвел на них фильм о концентрационных лагерях, но только, разумеется, потому, что они отчетливо разглядели за ним виселицу. Недаром же самый активный из преступников, Геринг, поспешил вскоре дать интервью корреспонденту «Ассошиэйтед Пресс», в котором заявил, что хотя он, Геринг, действительно придумал концентрационные лагеря, но он к ним и к зверствам в них не имеет отношения, так как, видите ли, коварный Гиммлер, стараясь испортить Герингу карьеру, оттеснил его от управления лагерями... Они настолько пропитались ядом ненависти ко всему человечеству, что, когда смотрели фильм «Нацистский план», где показывались бесконечные фашистские парады в Нюрнберге, дурацкие факельные шествия, сожжение книг, идиотские выпады против культуры и гуманности, все показываемое на экране, по моим наблюдениям, не представлялось им вздорным, глупым, грубым, не возбуждало даже грустного настроения. Они глядели и как будто бы недоумевали: почему им это показывают? Впрочем, чего же, собственно, можно ожидать от плоских и бедных, как у насекомого, умов фашистов?

Это призраки, окостенелые в своей ненависти. Это призраки, до краев наполненные ужасным и отвратительным ядом, который они источают и поныне, и чем скорее освободится от него человечество, тем лучше. В сущ-

ности, перед вами наяву то, что народ называл упырями, вампирами, вурдалаками: существа, которые не могут жить без человеческой крови, которые ею наливаются. Разве вы не читаете во взглядах, что они бросают на вас: «Только бы мне волю! Только бы мне напиться кровушки! Ух, как бы я теперь, умеючи, высоко вознесся! Как бы я разрумянился, пополнел, окреп и каких бы разрушений теперь наделал! Какие б капиталы нажил!»

А капиталы хотелось нажить большие. За восемь месяцев до вторжения в СССР Геринг, крупный специалист по наживе, присоединяет к стратегическому «плану Барбаросса» и экономический план захвата России. Собственно, Геринг и будет заведовать экономическим грабежом СССР. Изучают наличие сырья, заводы, проектируют, куда и какого немецкого промышленника посадить, чтоб он управлял во славу фашизма русским предприятием. Создается Экономический генеральный штаб под кличкой «Ольденбург», с соответствующими экономическими инспекциями, экономическими командами, снабженными самыми широкими полномочиями.

Когда ты, колхозник Орловщины, Кубани или Дона, или ты, колхозник Украины, или ты, колхозник Белоруссии, смотришь на свой сожженный немцами двор, когда твоя жена вспоминает угнанный скот, когда ты со вздохом говоришь, какая у тебя в селе была великолепная школа, когда видишь сады твоего колхоза, вырубленные и вытоптанные танками, жалеешь свои тракторы, увезенные в Германию или взорванные, и, когда, наконец, ты рыдаешь над убитыми родственниками или друзьями, которые вместе с тобой сопротивлялись фашистскому вторжению, — знай и помни, что все зло, причиненное тебе, причинено вот этими мерзавцами, которые сидят ныне на скамье подсудимых в Нюрнберге. Крайний справа из них — бывший фельдмаршал Геринг, председатель рейхстага, тот самый, который хохотал 28 апреля 1939 года, когда справедливость стучала в дверь Германии, желая ее предупредить, и когда эту справедливость осмеяли. Этот фельдмаршал Геринг, что сидит ныне на скамье подсудимых в сером мундире, в этом же самом мундире подписывал приказы и требования, по которым разоряли, грабили и уничтожали нашу страну. Небрежно облокотившись о барьер, щуря глаза, с тщательно приглаженными черными воло-

сами, он слушает, как защитник упрекает суд в тенденциозном подборе документов, по пути убеждая, что немецкое племя — а в особенности представители его, сидящие за барьером, — всегда отличалось гуманностью. И, горько улыбнувшись, вспомнишь ты тех зверски убитых женщин, стариков и детишек, кого закололи немецкие солдаты по приказу этих самых «немецких гуманистов».

И когда ты, рабочий Донбасса, Ленинграда, Харькова, Киева, Минска, восстанавливаешь сейчас в холод и непогоду разрушенные немцами корпуса заводов, университеты, музеи, дома; когда ты едешь мимо сгоревших железнодорожных станций, взорванных мостов, разве ты, глядя на эти разрушения, вспоминая погибших при этом разрушении товарищей, забудешь про Геринга и его дела, забудешь тщательно разграфленный им экономический раздел «плана Барбаросса», раздел, согласно которому предполагалось дотла уничтожить экономическую мощь Советского Союза, ту мощь, которую мы создавали столько лет с такими усилиями и любовью!

Но одно дело — предположить разрушить все дотла, а другое — разрушить.

Этому разрушению помешало одно обстоятельство: единство советского народа и вдохновение, охватившее его в борьбе с немецким фашизмом.

Если Геринг старается быть развязным, Гесс ерзает и готов ринуться в любые разглагольствования, лишь бы пустили его; если Кейтель изображает несправедливо обиженного служаку-солдата, то один из ревностных создателей и осуществителей «плана Барбаросса» Альфред Розенберг хочет остаться незамеченным. И костюмчик на нем под цвет дубовой скамьи, на которой он сидит, и по всей фигуре его видно, что он рад бы погрузиться в эту дубовую скамью, слиться с ней. Он прижимается к этой скамье изо всех сил, он глядит такими глазами, будто на него непрестанно надвигается острие штыка. Лицо у него сжатое, очки вспотели, и кажется, слышишь, как зубы его щелкают от страха.

Розенберг среди фашистов считался, так сказать, философом. Кроме того, будучи по происхождению каким-то прибалтийским подонком, он воображал себя знатоком России и «таинственной, загадочной» русской души. Ис-

ходя из этих соображений, его и назначили 20 апреля 1941 года имперским уполномоченным по вопросам, связанным с управлением восточными областями. Кейтель, как видите, указывал фашистским войскам, куда удобнее направить смертельный удар, который бы сокрушил СССР, Геринг должен был уничтожить или парализовать ее экономическую мощь, превратив СССР в задний скотный двор Германии, Розенбергу же надлежало главным образом вырезать мозги у советских граждан и вставлять в череп пластинку с несложной фашистской мудростью: «Смирно. Работать на Германию. Сознавай, что ты славянин, а значит, раб. Впрочем, если ты даже и не славянин, а просто подданный СССР, любящий свою родину, ты тоже раб. Германия и фашизм — бог, и нет бога выше Германии и фашизма». Такова вкратце философия Розенберга, которому особых красок от природы не было отпущено. Да и нужны ли ему эти особые краски, что он с ними будет делать? Вообще-то трудно подыскать даже определение Розенбергу, когда глядишь на него. Непонятно, то ли это кусок мочалы, то ли нечто вроде куста, ощипанного козами, то ли просто дрянь, скотски скучная, унылая и гадкая. Одно несомненно: призрак этот чрезвычайно, почти неправдоподобно прожорлив, вреден и подлежит несомненному уничтожению.

Ведь подумать только, что эта дрянь писала, печатала, а миллионы идиотов читали ее писания, верили им и маршировали по нашей стране с автоматами наперевес, убивая и грабя во имя подслеповатого соображения, что «Россия — историческая несправедливость» и что ради исправления этой несправедливости надо всех русских переселить на восток, за Урал, а все российские пространства до Урала заселить немцами... И, упоенный этой затхлой глупостью, самодовольный дурак восклицает, что решение это будет «одобрено Россией, хотя, быть может, и не скоро, через тридцать или сто лет». Какие масштабы!

Архивы этого одичалого мерзавца захвачены полностью, и трибунал слышал достаточно много доказательств и примеров этого на редкость полного умственного разложения. Тут вам и Балтийское море, рассматриваемое фашистами как внутреннее море «великой триумфальной Германии». Тут вам и планы, куда и как выселить из Прибалтики литовцев и латвийцев, «чтобы усилить германизацию на границах Восточной Пруссии». Тут вам

и то великое соображение, что вот, мол, семь столетий назад германские «псы-рыцари» грабили Литву, да недограбили — их побили, — так теперь надо во имя этого поганого и низменного наследства взбесившимся ныне псам «третьей империи» довести оный рыцарский грабеж до подлинного конца.

«История, — по словам Розенберга, — приготовила для русских тяжелые годы». Он подразумевал под этим осуществление «плана Барбаросса». Не спорим. Победа досталась нам в тяжелой борьбе. Но вряд ли об этом, о нашей победе, думал Розенберг. Он думал о тяжести рабства, которую он хотел нам на столетия взвалить и удушить этим рабством нас.

Но не подумайте, будто один Альфред Розенберг набрасывал такие обширные планы удушения нашей страны. Все подсудимые трудились над «планом Барбаросса» сообща, и, хотя брали частные секторы, они ни на секунду не теряли из вида общих очертаний плана. Между ними в этом направлении существовало завиднейшее согласие. Все имперские министерства горячо обсуждают и страстно желают скорейшего осуществления «плана Барбаросса». Чтобы не упустить момент, не прозевать лакомый кусочек, между министерствами, с одной стороны, и Розенбергом — с другой, непрерывно ездят особые офицеры связи. Кейтель и Иодль ведут с Розенбергом частые переговоры и совещания. В документах то и дело слышишь эти имена рядом. Геринг, Функ, адмирал Реддер, Фритше — все они знают о том, что делает Розенберг, все помогают ему, и он всем помогает. Две недели спустя после вторжения немецких армий в СССР Розенберг, очевидно боясь, что его минует награда, пишет разоблачающий его махинации «отчет о подготовке работы в восточных районах». В отчете этом исчерпывающе описано, с кем он трудился по детальному уточнению плана вторжения и дальнейшего управления оккупированными областями СССР, к которым, по его словам, необходим «другой подход, чем к странам Западной Европы». Народы Советского Союза вскоре узнали, что́ это такое «другой подход», и трибунал приводит этому потрясающие доказательства, когда начинает говорить о том, как фашисты собирали в восточных областях рабочую силу и что творилось в концентрационных лагерях.

Документ «план Барбаросса» начинается так:

«Германские вооруженные силы должны быть готовы победить Советскую Россию в быстрой кампании даже до окончания войны против Англии. Армия должна использовать для этого все находящиеся в ее распоряжении силы, за исключением тех, которые необходимы для защиты оккупированных территорий от неожиданностей».

Геринг, Гесс, Кейтель, Розенберг, Риббентроп и другие, находящиеся ныне на скамье подсудимых, уверяют, что они только покорно следовали «плану Барбаросса». Документы с полной и абсолютно понятной очевидностью говорят и обличают. Нет. Подсудимые страстно желали появления и осуществления этого плана.

Кровавые призраки войны, они не могли существовать без войны, а Советский Союз был всегда могучим оплотом мира и залогом процветания народов Европы. И вот почему, злорадно хихикая, создавали они этот план и поразительно тщательно и долго хранили тайну его создания. Тайна создается и хранится прежде всего глубокой заинтересованностью в ней творцов и участников заговора.

Злоба влекла за собой эти призраки. Злоба и поныне держит их на привязи, возле себя. Злоба собрала громадные вооруженные силы Германии и бросила их против Советского Союза. И задолго до вторжения та же злоба обучала солдат, отливала пушки на всех заводах Европы, готовила танки и самолеты и назначила не только точный день вторжения, но и час его.

И немцы вторглись в точно намеченные день и час.

И казалось, было соблюдено все и все расписано. Тайна вторжения, орудия, самолеты, танки. Солдаты, испытанные в боях и воодушевленные легкими победами, покорившие почти всю Европу. Самоуверенные полководцы. Казалось, шагни — и ты войдешь в СССР с легкостью, как входят в соседнюю незапертую комнату.

Не учли одного. Да и как могли учесть это и поверить этому наглые политиканы, отборные обманщики, гнойные циники и поминутно харкающие ложью негодяи? Посмотрите на их морды. Разве они способны верить в человечность, истину, правду, справедливость, патриотизм и самопожертвование?

А именно патриотизмом, самопожертвованием, верой в правду и справедливость победил и будет побеждать советский народ.

На заводы Урала, которые хотели бомбить с приволжских своих аэродромов геринги и кейтели, не упало ни одной бомбы. Тогда как фашистские заводы, даже спрятанные в глубоких подземельях и глубоких тылах Германии, взлетели на воздух от наших бомб самым разлюбезным образом.

Народ наш легко вздохнул, почувствовал себя свободным и от войск немецкого фашизма и от тяжелого стыда, что на земле может существовать такой позор и могут править такие страшные, кровавые упыри, как гитлеровцы. Этот стыд существовал, и не нужно, чтоб он возвращался. Вот почему призраки, источающие яд, должны быть стерты с лица земли, и вот почему нужен полный и совершенный, не только политический, но и моральный разгром фашизма, который ныне склонен к мимикрии и переодеванию. Слишком много пролито крови, слишком много испытано страданий, и бесчисленны тени мучеников, погибших в эту войну за счастье человечества, за его свободу. Не должно быть смеха и надругательства над мечтами этих мучеников. А их мечтою было одно — уничтожить фашизм, зорко смотреть за тем, чтоб он не возрождался ни под какой маской.

Подсудимые в зале много пишут. Больше всех, почти все время, пишет Геринг. Много пишет Риббентроп. Я не думаю, чтобы они писали мемуары, в которых бы искренне рассказали о своих преступлениях. Несомненно, они пишут другое — то, что проскальзывает в речах их защитников. Они хотят оболгать суд, оболгать документы, оболгать и обмануть человечество еще раз. Не удастся им это, никак не удастся! Человечество освободится от этого ужасного прошлого, сбросит его вместе с его бумагами в могилу и начнет новую и счастливую жизнь. Человечество упрямо и упорно. Он хочет, чтоб потомки наши не прочли на лице своих отцов виноватого и угрюмого выражения. Они должны увидеть и прочесть на нашем лице счастье полной победы над фашизмом.

И ты, не мигая, смотришь вдаль. Тебе чудятся огни радости, бесчисленные толпы людей, празднующие окончательное уничтожение фашизма и интриг фашиствующих

пособников, чудятся торжественные звуки музыки, крики радости, и где-то позади тебя остался тот помост, с которого столкнули в петлю Кейтеля, Геринга, Риббентропа и других... И впереди тебя радость творчества и радостная творческая жизнь людей, которые боролись со всей яростью за это творчество, за эту бессмертную и неистребимую радость жизни...

Ноябрь — декабрь 1945 года

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

БРОНЕПОЕЗД 14-69

Глава первая

„КАК МОЖНО СКОРЕЕ!“

Был мутный рассвет. Гости толпились на крыльце. Пирушка окончилась. Варя, невеста капитана Незеласова, замешкалась во внутренних комнатах с Верочкой, дочерью полковника Катина, коменданта крепости. Незеласов стоял у порога, держа в руке слегка влажную от тумана шелковую накидку.

Офицеры смеялись. От крепостной стены, прятавшейся в морской туман, к домику медленно идет часовой. Не дойдя шагов тридцать, он круто поворачивается и снова уходит в туман. А внутри домика сам полковник Катин, который любит «проветривать», открывает окна.

Затем, неслышно опустив крышку рояля, Катин подошел к капитану Незеласову и спросил твердым и ясным голосом, который так всем нравился:

— Довольны? Хорошо потанцевали? Люблю молодежь. Жаль, много курите. Верочка жалуется на голову... Верочка, Верочка, приятелей провожать пойдешь?

Из комнат донесся свежий голос, очень похожий на голос самого полковника:

— Нет, папочка, что-то нездоровится.

Вышла Варя и, принимая накидку от жениха, сказала, поводя многозначительно бровями:

— Верочке плохо, Саша. Ее знобит. — И добавила совсем тихо: — Не тиф ли?

Затем полковник Катин, провожавший гостей до крепостных ворот, повернулся к Незеласову и своим попрежнему громким и самоуверенным голосом спросил:

— Говорят, капитан, вы — в тайгу? На усмирение мужиков?

— Мой бронепоезд здесь нужнее, — сухо ответил Незеласов. — Да, нужнее, господин комендант крепости!

— Ну что вы, я пошутил, капитан! Я вашим бронепоездом не командую... Вы какой-то сегодня подозрительный.

Ах, если бы быть еще более подозрительным — и капитану, и коменданту, и всем вообще! Густой голубоватый туман окружал офицеров, которые шутили, что теперь очень легко похитить любую даму. В этом липком тумане Незеласову послышался — не то на крепостной стене, не то вблизи ее — какой-то странный звук. Дернув за рукав полковника Катина, капитан спросил:

— Слышите?

— Ничего. А вы?

— Почудилось, — смеясь и слегка передразнивая голос коменданта, ответил Незеласов.

— Туман, — зевая, сказал полковник. — А вот и крепостные ворота. Эй, кто там! Пропустить! Надеюсь, дальше вы и без меня найдете дорогу? Я отдохну часок, а там — в обход. Тюрьма у меня серьезная: и Пеклеванов и его сообщники.

За крепостными воротами туман еще гуще. Офицеры взялись за руки, смех стал еще веселее, и Варя весело обратилась к Незеласову:

— Ах, Саша! Какой на площади подъем был сегодня!

— Вчера, — вставил поручик фон Кюн со смехом.

— Да, да, вчера! — подхватила Варя. — Какой духовный подъем! Когда прошли союзные войска и за ними двинулись наши, дружина Святого Креста, — весь город начал сбор пожертвований. Победить большевиков или умереть! Генерал Сахаров, командующий армией, перед отъездом в тайгу против партизан последнее столовое серебро пожертвовал.

— А епископ Макарий, — сказал торопливо юнкер Сережа, — крест, осыпанный бриллиантами.

— Я тоже не вытерпела и отдала свое последнее бриллиантовое кольцо!

— Разве у тебя два кольца? — полуиронически, полупечально спросил Незеласов. — Которое же на пальце?

— То есть я хотела отдать, но еще не отдала... Да, господа, поздравьте брата Сережу! Он вступил в дружину Святого Креста. Ты представляешь, Саша, когда епископ Макарий, который пожелал командовать дружиной, наденет высокие охотничьи сапоги и сядет верхом на лошадь...

Незеласов сказал холодно:

— Это будет внушительно.

Сережа, бренча на гитаре, запел. Дамы подхватили.

Тяжело дыша, верхом проскакал к городу пожилой офицер Фомин, помощник коменданта крепости.

— Господа, тише! Несчастье!

— Гражданская война кончилась? — засмеялся фон Кюн.

— Из крепостной тюрьмы бежал Пеклеванов. И все провода перерезаны!

— Я слышал на крепостной стене подозрительные звуки, — вспомнил Незеласов. — Пеклеванов спустился к морю, Фомин!

— По нашей крепостной стене? Невозможно! У нас точные сведения, что Пеклеванов пробрался переодетым через крепостные ворота и — в город!

И он поскакал к городу.

Незеласов с презрением посмотрел ему вслед и сказал глухо:

— Вот и воюй под их командованием!

Офицеры, по-прежнему шутя, медленно шли вдоль железнодорожной линии к городу.

Три юнкера вели арестованного матроса.

«Болваны! Конечно, приняли матроса за Пеклеванова!» — подумал Незеласов.

Фон Кюн сказал юнкерам:

— Позвольте, господа! Это матрос Семенов, с моего катера! Семенов, ты здесь откуда?

— Так что, ваше благородие, любовное свидание. А господам юнкерам померещилось...

— Пеклеванов! — сказал старший юнкер. — Переодетый, ваше...

Фон Кюн весело захохотал:

— Он?! Семенов?!

Капитан, под гитару, запел очень нравившуюся ему

песню; слезы показались у него на глазах: не то от песни, не то от того, что Варя яростно кокетничала с фон Кюном, а тот косил большие выпуклые глаза в сторону капитана: «Незеласов, кажется, ревнует?»

Марш вперед, Россия ждет
Счастия, отрады.
Марш вперед, друзья, в поход:
Красным нет пощады!

— Незеласов, я слышал: вам как можно скорее — в тайгу, с бронепоездом?

— Глупости! Я хочу ловить Пеклеванова. Никто, кроме меня, его не поймает, клянусь.

— А почему именно вы?

— Потому, что вы пьянствуете, а я изучал город и знаю его как свои пять пальцев. Кто подавлял восстание? Вы? Я!

В то самое время по еле различимой крепостной стене ползли две тени. Со стены из-за тумана порт не виден, и тем более не видны городские дома; даже крепость на горе, свисающая к морю, не видна. Впрочем, ползти от этого не легче.

— К морю! К морю, Илья Герасимыч, как можно скорее...

— Да я, кажется, не задерживаюсь, Знобов.

Звякнула цепь. Пеклеванов быстро прошептал:

— Тише, Знобов!

— Говорил, Илья Герасимыч, позвольте сразу распилить...

— В тюрьме — слышно, а здесь — пили!

Легкий звук напильника словно всколыхнул туман. Часовой, идущий от домика коменданта к стене и лениво улыбающийся нестройной, но шумной песне офицеров, поднял голову и без особенного, впрочем, внимания оглядел стены. Звук напильника смолк.

— Масла, масла ка́пните, Знобов. И не торопитесь.

— Ничего. Сейчас, по моему расчету, железнодорожники загудят. Мы под гудок и уйдем спокойно.

— Хорошо!

— Что, Илья Герасимыч?

— Все хорошо, Знобов! Вот только города не видно, жаль. У меня там невеста.

— Знает, что мы убежали?

— Если любит — почувствует.

Слышны частые гудки паровоза. За первым паровозом загудел второй, третий...

Цепь наконец перепилена, и Пеклеванов, держа в руке кандалы, тихо спросил:

— Куда же цепь, Знобов?

— А бросайте себе в море.

Цепь падает в море. Потом, несколько дней спустя, ее найдут вместе с напильником и догадаются, каким путем убежал Пеклеванов. Сейчас же из-за гудков, тумана, плеска моря часовой, ничего не подозревая, спокойно шагает от крепостной стены к домику коменданта.

Услышав шаги часового, Пеклеванов и Знобов, спустившиеся со стены, припали в кусты.

Часовой прошел мимо.

Они ползли по краю берега. Знобов бросил в море камушек. Неслышно появилась лодка. Знобов помог Пеклеванову спуститься, и лодка скрылась в тумане.

Никита Егорыч Вершинин как раз накануне бегства Пеклеванова собрался в город. Разумеется, Вершинин ничего не знал о предполагаемом бегстве — Пеклеванова он видел как-то на митинге, когда еще город не был захвачен белыми, — и никак не предполагал Никита Егорыч, что пути их сойдутся!

А они сошлись.

Телега миновала высокую каменную церковь, стоящую на косогоре, откуда далеко видно жнивье побуревших уже по-осеннему полей, горы, тайгу, широкую темную реку с медлительным течением, туманное море.

— Пахать бы да пахать, — сквозь зубы сказал Вершинин, — боронить бы да боронить, сеять бы да сеять...

— А ты и паши, — проговорила Настасьюшка.

— Для кого?

Борона с покривившимися зубьями занимала бо́льшую часть телеги. Настасьюшка, жена Вершинина, придерживала борону. Всхлипывающие ребятишки бежали за телегой. Настасьюшка погрозила им, указывая на Вершинина, который, отвернувшись, улыбался совсем не грозно.

Навстречу от реки шли рыбаки с сетью и рыбой. Тощий рыбак Кольша спросил:

— В кузню, Никита Егорыч?

— В кузню да в город, — дрогнувшим голосом объяснила Настасьюшка. — Ребятишки, гляди-ка, Кольша, орут!

— Ничего, через день — другой вернетесь.

— Да ведь война, Максимыч! В городе, сказывают, мериканцы, японцы, хранцузы эти...

— Война? У нас? — смеется Вершинин. — Откуда? В тайге да глухомани?

— Глухо-то, Никита Егорыч, глухо, — вставил приземистый рыбак Сумкин, — а вот даже мы на рыбалке, в селе-то пять ден не были, а слышим, будто наши сельские восстание подняли... Верно?

— Какое восстание? Престол справляли. Ну, стражники сначала к девкам лезли, а там начали у мужиков самогон требовать. Их и стукнули. — Вершинин поправил шапку и строго прикрикнул на ребят: — Домой! — Не утерпев и потеряв строгость, он спрыгнул с телеги и расцеловал ребят.

И опять — село, огороды, домики, лавка; на крыльце лавочник Обаб, зевая, смотрит в небо и, покосясь на Вершинина, кивает ему. Старик Обаб вежлив.

Телега останавливается у кузницы. Пожелтевшая береза клонит свои ветви. Вершинин легко сбросил борону в тень березы.

— К весне готовишься, Никита Егорыч? — спросил кузнец.

— Кто осенью к весне не готов, тому весной готовиться поздно.

Вершинин прошел с женой за кузницу, на край поля. Задумчиво посмотрел, наклонился, взял горсть земли.

— Благодать, — говорит жена, тоже разминая землю.

— Благодать-то благодать, да дадут ли попахать? Не успели землю поделить, как новых хозяев надо веселить.

Настасьюшка вздохнула в ответ на его слова. Заговорил Никита Егорыч складно — значит, на душе у него слякоть.

Телега, уже без бороны, покинув кузницу, быстро катилась среди полей.

Путь от села до города далек: телегой — до реки, там — паромом, за паромом — тайгой, по красному песку, среди лиственниц и сосен, затем — морем, мимо мокрых голубоватых скал, затем — пролив, морская губа и, наконец, порт, город. Время осеннее, над морем туманы, грести трудно, дышать нелегко. Куда, казалось бы, спешить? Лучше, пожалуй, истопить печь да на полати.

Какие там полати! Спеши, спеши! Время тревожное, а улов хороший, рыба в цене. Ребятишкам и старикам надо запасти одежонку. На войне не столько окоп спасает, сколько новость. Хотя Вершинин и подсмеивается — война, мол, тайгу минует, но в душе он не уверен, что это так и случится.

Мужики уважают молчаливость и скрытность. Вершинин знает это. «Соболь всех зверей и молчаливей и пытливей, оттого и красив», — говаривает он. Поэтому он держит длинные речи лишь на сходках, а дома или с приятелями предпочитает отделываться короткими побасенками или поговорками, которые в большинстве придумывает сам.

Сказать по правде, молчание ему дается нелегко: он любознателен. У него водятся кое-какие книжки, большей частью по естествознанию: вулканы, грозы, землетрясения занимают его чрезвычайно. «Божескую силу ищешь?» — спросит его какой-нибудь грамотей, просматривая книжки, которые Никита Егорыч держит на божнице. Вершинин ответит уклончиво: «Бог-то он — ничего, да ему попы мешают». Когда он попадает в город, он непременно идет в синематограф, но интересуют его там не драмы, а видовые картины. «Красива земля, — скажет он, выходя из здания синематографа и с любовью глядя на жену. — А человек зол. С чего бы?»

Вершинин молод, ему совсем недавно исполнилось тридцать. Борода, высокий рост и некоторая сутулость старят его. Он знает об этом и недоволен: «Боюсь я старости — старики много брешут». Поэтому, наверное, он редко расспрашивает, несмотря на всю свою любознательность, стариков, а больше обращается к странникам, прохожим, бродягам, среди которых он известен как «жертвователь». Хозяйство его не богатое, да и не бедное: рыбачит, звероловит он усиленно. Пахал бы он тоже немало, но до 1917 года земли у него не было, а после февраля 1917

вроде бы и подойдешь к земле, а только она от тебя прочь.

— Ой, не рвись ты, Никита, к богатству: хлопоты, — скажет на его речь о земле какой-нибудь богатей вроде старика Обаба.

— Я к земле рвусь, — ответит Вершинин, — а не к богатству. Я землю исправить хочу. Попорчена она.

— Кем?

— Да вами.

— Ну, не ври! Тесть у тебя разорился, так ты сам его превысить хочешь.

Действительно, отец Настасьюшки был богат, вел большое хозяйство, но пожадничал, вздумал торговать и даже в торговле побить старика Обаба. Троих своих дочерей он отдал за богатых, отвалил хорошее приданое, а четвертой, младшей, Настасье, и ниточки с иголкой не досталось. Женихи, узнав о разорении, отлетели, и пришлось Настасьюшку отдать за Никитку Вершинина: он давно возле вертелся.

Новый зять удивил сразу. Под венцом он стоял важный и строгий, а только убрали венцы, он не вытерпел, захохотал и тут же на всю церковь объяснил: «Нам, которые несостоятельны, для счастья надо, стало быть, вас, богатеев, разорять!» — и указал глазами на тестя. Впрочем, зятем он оказался лучшим, чем другие: когда тесть разорился окончательно и от разорения захворал, Никита стал помогать ему хлебом, рыбой, одежонкой. «Не от себя помогаю, — говорил он в ответ на благодарности тестя, — а от дочери вашей. Она у вас выше кедра».

Настасьюшка, если понимать эти слова буквально, была женщина рослая, с длинными пушистыми ресницами, похожими на кедровую хвою. В хозяйстве она была сметливой и работящей, с мужем спорила редко, и даже тихий, чуть хриповатый голос ее чрезвычайно нравился Никите. Да и как не нравиться? Раньше она была певуньей, но подорвала голос на покосе, не оттого, что много пела, а оттого, что, когда Никита сказал ей о своей любви, решилась запеть на весь мир.

— Живу, слава богу, хорошо, — говорил наедине с женой Никита, неподвижно и нежно глядя на нее своими карими длинными глазами, — жаль одного: земли вижу мало.

— Увидишь.

— Да старею ведь! И на германской был, а что видел? Госпиталь да бинты.

И верно. Привезли солдат с Дальнего Востока, из вагонов выгнали на замерзшие болота где-то в Восточной Пруссии, а утром, когда кончилась метель, — атака, ранение в грудь, короткая койка возле позиции в палатке, затем опять вагон, Омск, высокая кирпичная стена вокруг трехэтажного здания с неимоверно узкими окнами, а там — освидетельствование, комиссия, чистая. Рана зажила, никакой работе, даже звероловству, не мешает, и голова вроде веселее стала. Говоря о ранении, Вершинин с ухмылкой добавлял: «Это меня доктора в село не к добру отпустили». Говорил он эти темные слова так многозначительно, что собеседник бледнел. Лет сто или двести назад быть бы ему, пожалуй, коновалом и колдуном. Но сейчас он над колдовством посмеивался: «В городе ноне в университете такое узнали, что все прежнее колдовство им, ученым, и в подметки не годится». Церковь он посещал, но не из уважения к богу или благолепию, а чтоб не считали его блажным. Когда при нем говорили о вере, он непременно вставлял:

— Помню, в детстве ходил я с отцом по приискам в Иркутской. Там тогда шаманы встречались часто. Вот это вера так вера! Во что шаман верит? Человек-де бога может уговорить! Ежели, скажем, ты к речи способен, то и бог тебе нипочем, а? Ну, конечно, за такую веру и уважение к человеку наши попы всех шаманов перебили.

После 1917 года сходки в селе стали часты. Появились агитаторы, представители разных партий, стали выбирать в сельские и волостные советы, затем в Учредительное, затем прошла с пулеметами белогвардейщина, и все замерло.

Перед самой белогвардейщиной большевики и Ленин объявили мужикам землю. Когда на сельской сходке прочитали декрет про землю и наступило ошеломленное молчание, Вершинин подал голос:

— Даром? Землю, спрашиваю, дают даром?

— Даром, — ответил читавший.

— Ну, быть каторге.

— Это в каком же смысле, гражданин? — спросил его читавший.

— А в таком, — ответил Вершинин, — что будут нам

богатеи строить каторгу. Ну да, бог даст, отобьемся! Плечи, вишь, зудятся — к грозе.

Белогвардейщина, подъяпонщина, подамериканщина и просто японцы, американцы и все другие, которых взяли, чтобы показать: вот, дескать, все народы против большевиков, — нахлынули так быстро, что хотя плечи и зудились, но рука, согласно старинной песне, размахнуться не успела.

Всему должно быть свое время.

Лодка плыла в легком и неподвижном тумане, среди Голубых скал. Недалеко и порт и город. Вершинин греб не спеша. Ему вспомнился кузнец. Кузнец этот был еще совсем недавно балагур и песенник, а сейчас что-то умолк, притих, передний угол своей горницы заставил иконами, лампадку зажег и каждый вечер, говорят, справляет всенощное бдение. С чего это он? Белогвардейщины боится?

— Гляди-ка, Никита, — сказала Настасьюшка, — никак Хмаренко?

Хмаренко, отставной матрос и плотник, жил рядом с постоялым двором, где обычно останавливался Вершинин. Жил, впрочем, он очень плохо и, надо думать, голодал, потому что всегда радовался, если Вершинин давал ему рыбы. А голодать такому, должно быть ученому, человеку не следовало бы. Книжки, которые он доставал Вершинину, были очень умные, и восбще, судя по намекам, отставной матрос Хмаренко знал многое.

— Рыбачить?

— Да где рыбачить! К тебе.

Хмаренко подвел свою лодку вплотную к лодке Вершинина, попросил табачку, набил трубку, но курить не стал, а, бросив потухшую спичку в море, проговорил:

— Ты бы не торопился в город-то, Никита Егорыч.

— Рыба протухнет.

— Лучше рыба, чем ты сам.

— Я не воюющий.

— Воюющий не воюющий — всех обыскивают.

— Чего ищут?

— Пеклеванова.

— Я бы его и сам поискал. Знаток, сказывают. Ученый. И за границей бывал, и в царских тюрьмах, и жизнь свою едва ли не в девятьсот пятом начал.

— Твоих лет, Никита Егорыч.

— Не годы учат — битвы.

— Верно.

— А того верней, кажись, Хмаренко, что этого Пеклеванова за восстание беляки в крепостную тюрьму посадили и крепость ту чуть ли не бронепоездом стерегут.

— Бронепоездом четырнадцать — шестьдесят девять! Там, братан, в бронепоезде командир есть, Незеласов, — из молодых, да ранний злодей.

— Крепко, значит, стерегут?

— Стерегли.

— Ишь ты! — сказал спокойно Вершинин.

— Убежал.

— Из крепости? Из-под бронепоезда? Смелый. Отправили вы его куда?

— Я-то тут при чем?

— Ну, буде, буде, вижу!

— Еще не отправили, — помолчав, сказал Хмаренко.

— Надо отправить.

— Надо. Да не каждому доверим Пеклеванова.

— Где — каждому!

— Тебе бы, Никита Егорыч, партия доверила. В тайгу спрячешь?

Вершинин ухмыльнулся:

— Да господь с тобой, Хмаренко! Как я могу в вашу войну ввязываться? Наша душа — хрестьянская, мирная. Мы соху, землю, море да лодку только и знаем. Ничего не вижу, кроме своего поля. Куда нам воевать?

Настасьюшка подхватила:

— Наша душа хрестьянская, хозяйственная, мирная, господин Хмаренко. Нам воевать не годится.

Вершинин продолжал:

— И люди мы неученые, неграмотные, и семья у нас крупная. Не считая стариков — жена, племяши да своих ребят двое — Митька да Сашка.

— И ведь, сказать, ребята! Такие все к жизни справные...

— Ребята ничего, обходительные, веселые. Нет, я в войну вмешиваться не могу...

И он налег на весла. Лодка Хмаренко не отставала.

— Восстали ваши мужики, сказывают? — спросил Хмаренко.

— Восстание? Никакого восстания не было! Так, двух стражников по пьяному делу стукнули.

— А у меня беляки позавчера брата расстреляли, Никита Егорыч.

— Павлушу?

— Павлушу.

— Да ведь ему и семнадцати, поди, нету? Славный был парень. Ну, царство небесное!..

— Никита Егорыч!..

— Не могу я, Хмаренко. Пойми ты, ради Христа, не могу! Ну зачем я буду военных прятать? Я-то ведь не воюю! Я — мирный! — И, помолчав, подняв весла, добавил задорно: — Другое дело — пройдет мимо заимки в тайге странник какой... Такой, что мимо нас, вроде, сейчас проплывет в лодке, ежели, скажем, он тут поблизости, в скалах спрятан... Ну, такого я пожалею, пущу, кормить и защищать буду, и хоть миллион за него обещай — не выдам. Понял, что ли?

— Как не понять!

И Хмаренко, вполголоса запев: «Долго я звонкие цепи носил...», уплыл в туман, за скалы.

Вершинин, глядя ему вслед, сказал задумчиво:

— Нехорошо у меня на сердце, Настасья.

— А зачем принимать Пеклеванова?

— Не о Пеклеванове, о другом... Торопились мы с тобой, Настасья, спешили, а беда-то скорей всех бежит. Боюсь, не из-за одного Пеклеванова он, Хмаренко-то, подплывал. Слышишь, за скалой Кольшин голос? Опередил нас Кольша!

— Да откуда тут Кольше-рыбаку быть?

— Опередил, — сказал с тоской Вершинин.

Из тумана уже отчетливо слышался голос рыбака Кольши:

— Никита Егорыч? Настасьюшка! Здеся вы?

— Ой, не к добру! — закричала Настасьюшка, поднявшись в лодке. — Здеся!

Подплыла лодка с рыбаками.

— Никита Егорыч, тебя ищем, — тихо сказал Кольша.

— Для горя, Никита Егорыч, — еще тише шептал Сумкин.

— Для горя, мужики? — почти с воплем спросила Настасьюшка.

— Да какого горя? — взволнованно сказал Вершинин.

— Беда, Никита Егорыч, — ответил Сумкин. — Волость послала за тобой.

— Ну коли волость послала, значит, плохо.

— Окружили наше село каратели: сынок нашего лавочника старика Обаба, прапорщик. Поставили пулеметы. Только, значит, ты уехал, они по нас — из пулеметов. И в старого и в малого, не глядя!

— И в малого, говорите?

— И в малого, Настасья Митревна.

— И в малого? Да что же это такое, господи? По ком панихиду-то служили? Которого? — спросил Вершинин.

— Когда мы уезжали, ваш тятенька — Егор Иванович — по детям панихиду служили. И Митю, значит, и Сашеньку поминали.

— И Митю, говоришь, и Сашеньку? Обоих?

— Обоих.

— Мамонька! — истошно закричала, причитая, Настасьюшка. — Панихиду по Митеньке!.. По Сашеньке!.. Детоньки мои!..

Рыбаки, приплыв в город, поспешили на постоялый. Они действительно опередили Вершинина, но, все еще не веря в это, отправились к Хмаренко. Отставной матрос и обрадовался им и огорчился. Его огорчило несчастье Вершинина и обрадовало, что есть теперь место в тайге, куда можно безопасно спрятать Пеклеванова. Хмаренко немедленно послал своего друга, тоже матроса, Семенова в море к Знобову, к Голубым скалам.

Хмаренко был членом подпольного ревкома и знал, что Знобов, устраивавший бегство Пеклеванова, намеревался временно скрыть его в расщелинах Голубых скал. Семенов уже слышал о восстании в селе на родине Вершинина, но он не знал подробностей, не знал, что дети Никиты Егорыча погибли. Он слышал только, что мужики после стычки с белыми ушли в тайгу. А стычки ведь бывают не всегда кровопролитны. Матрос Семенов был поэтому весел, да и Пеклеванов не грустил.

— Ожидаючи Вершинина, может быть, мне побрить вас, Илья Герасимыч? Сбреем тюремные невзгоды, а?

— Следует.

— Бороду оставим клинышком, Илья Герасимыч?

Пеклеванов, улыбаясь, ответил:

— Можно клинышком. А то Вершинин подумает, что председатель ревкома совсем молод.

— Да и Вершинин не старик.

— Знаю, знаю. Ах, уж этот мне ваш Вершинин!

— Утверждаем, Вершинин из всех мужицких голов — голова первейшая, право.

Знобов зачерпнул ведерком воду. Пеклеванов наклонился над морем и стал с наслаждением умываться. Знобов тем временем оглянулся, полотенца в лодке не оказалось, он моргнул Семенову, и Семенов быстро снял свой белый китель. И то, что Пеклеванов не заметил, чем вытирается, тоже понравилось Семенову. «Вот это — мыслитель!» — подумал он с восхищением.

Пеклеванов спросил:

— «Графа Монте-Кристо» читали, Знобов?

— Читал, Илья Герасимыч.

— Помните, матрос, как его, Дантес, что ли, вырвался из тюрьмы замка Иф волосатый, вроде меня, ха-ха!

— Ему хорошо: много лет просидел, никто в городе не узнавал, а вы месяц ведь сидели, вам вредно.

— И все-таки хочется в город. Ах, как хорошо! А что, не опасна Вершинину наша встреча?

— Море для рыбака — самое безопасное место, Илья Герасимыч, — ответил Знобов.

— А члены ревкома уверены, что Вершинин — наиболее подходящая кандидатура? Я ведь его сам-то не видал. Служил он в армии? Долго? Кем?..

В тумане послышался женский вопль.

Лодка Знобова борт о борт неслышно плыла рядом с лодкой Вершинина. Рыбаки держались в некотором отдалении. Вершинин сидел сгорбившись, опустив руки на голову жены. Пеклеванов, прислонясь к мачте, молча глядел на Вершинина. Вечерело. Синеватая дымка тумана колыхалась, прикрывая лодки.

Наконец Пеклеванов сказал:

— Пока мы плыли к вам, Никита Егорыч, мы с товарищами из ревкома подсчитывали свои силы. Получается, одолеем. Надо городу еще восставать. Теперь одолеем! Если, разумеется, вы поможете нам.

— Кто это — «вы»? — спросил Вершинин с горечью.

— Мужики.

Знобов попробовал разъяснить:

— Возьмутся все — получится! Мы — в городе, вы — в тайге. Вот хочешь ты, Никита Егорыч, чтоб прошел мимо тебя Илья Герасимыч странником...

Вершинин, взгорев гневом, сказал, тяжело дыша:

— Были странники, да все кончились! И жизнь была, и дети были, и дом, и уважение, и село. А вчера нашим селом каратели небо освещали! Огонь-то хлебом крестьянским дышал. Да хлебом ли одним? Детей моих сожгли вместе с хлебом. Туда, в небо, дымом!..

— Огромное у вас горе, Никита Егорыч, — проговорил Пеклеванов тихо и прерывисто. — И как я понимаю его, ах как понимаю!..

Лодки медленно двинулись.

Пеклеванов говорил Вершинину:

— Мир, великий мир труда и социализма, придет через большие битвы. Наука, как побеждать интервентов, помещиков и буржуазию, — трудная наука. Здесь очень многому нужно учиться. Скажем, к слову, Никита Егорыч, вот у вас влияние на целый уезд, а ведь, возможно, и таблицы умножения вы не знаете?

— Не знаю, брат, — сказал Вершинин, не поднимая головы. — Не знаю, угадал.

— А таблицу умножения надо знать детьми.

— Таблицу умножения... детьми?! Вот бы мои дети... О-о-о!

И он зарыдал, охватив руками плечи жены.

Туман. Море. Лодки. Пеклеванов говорил:

— Партизаны действуют разрозненно, Никита Егорыч. Будем большевиками — соединим партизан в армию! Дисциплинированную, стойкую!

Берег, по-видимому, близко. Оттуда слышны звуки флейты. Пеклеванов посмотрел вопросительно на Знобова. Знобов сказал:

— А там, на набережной, нищий студент на флейте играет. Сочувствующий, Илья Герасимыч. Тут кругом сочувствующие расставлены. Есть даже из беженцев.

— Кстати, о беженцах, — сказал Пеклеванов. — Никита Егорыч, когда вам подвернутся беженцы, не трогайте их.

— Чего?

— Беженцы — лучшие наши помощники, — ответил с

легкой улыбкой Пеклеванов. — Они сеют панику. И сеют очень хорошо.

Он сидел на скамейке, положив ногу на ногу, сгорбившись и глядя в дно лодки. Вершинин ему очень нравился, и хотелось долго-долго говорить с ним... Вздохнув, Пеклеванов поднял голову:

— Короткая у нас встреча, Никита Егорыч, ничего не поделаешь. Другие, надо думать, будут длинней?

Взволнованно ответил ему Вершинин:

— Спасибо тебе, Илья Герасимыч, справедливый ты человек, простой. Поговорил я с тобой, и стало у меня на душе светлей. И плечи зазудились, ух как зудят! К грозе.

Глава вторая

„ЕВГАНЕИ“

— Сашенька, к тебе приходил Обаб. Он только что из деревни, из карательной экспедиции. От нас он пошел искать тебя к коменданту крепости. Нашел?

— Да, да...

— Говорил он с тобой?

— Кажется, да... на пирушке...

«Позвольте, да ведь я тогда, на пирушке, — думал Незеласов, сонно глядя на мать, — у коменданта, не сказал Обабу ни слова! И вообще, был ли он на пирушке? Не помню. Конечно, мы стали терпимыми и, так сказать, привлекаем к защите отечества людей из народа, но все-таки — сын какого-то лавочника Обаба из таежного села, туп, глуп...

Нет, не говорил я с ним, это отлично помню. А теперь принимать его на этой дурацкой квартире? Как я ее ненавижу, ах как ненавижу! Дешевка, пошлость! А мама довольна, доволен и Семен Семеныч, и Сережа, и даже Варя, хотя у нее превосходный, тонкий вкус... — думал Незеласов, с омерзением глядя на узлы, которые развязывал денщик. — Да, да, квартира! Ха-ха! Логово!»

Раньше здесь, в центре города, был большой цветочный магазин, а теперь, видите ли, живет знаменитый капитан Незеласов, о котором высоко отзываются все — вплоть до союзного командования — и которого из-за этих высоких отзывов не повышают в звании. Зависть, зависть, интриги, боязнь Бонапарта!

Вдоль стен — широкие пустые полки, в углу еще валяются вставленные один в другой цветочные горшки с продырявленными донышками. Сквозь стекла витрины видна улица, за ней — портовые сооружения, железнодорожные постройки, а еще дальше — мол и море. По улице идет толпа, изредка кто-то остановится, посмотрит на витрину тупыми, мертвыми глазами, нервно поправит манишку и затрусит дальше.

Денщик и два артиллериста с бронепоезда продолжали вносить тюки. Надежда Львовна, мать Незеласова, тщательно и заботливо осмотрев каждый тюк, приказывает побыстрее распаковать его.

Ей помогает Семен Семеныч, отдаленнейший родственник Незеласовых, барин, человек добрейший, но чрезвычайно глупый. Глупость его, пожалуй, пышнее его бороды. Боже мой, что за борода! Когда потом, в тайге, Незеласов вспоминал цветочный магазин, Варю, множество пустых горшков, которые торчали во всех углах магазина, — ему в каждом горшке мерещилась уложенная туда борода Семена Семеныча. Огромнейшая борода не вмещается в горшке, торчит оттуда...

Разумеется, Незеласов любит свою мать, но почему она болтает такие глупости, а Семен Семеныч важно покачивает своей пышной, поразительно русой бородой?

— А народу, Сашенька, все прибывает и прибывает, — говорит, вздыхая, Надежда Львовна, — и все беженцы, все беженцы...

— И все беженцы, беженцы, — подхватывает Семен Семеныч.

— Тише, солдатики, пожалуйста, — снова слышится голос Надежды Львовны. — Это ваза! Ваза есть, а цветов даже и в цветочном магазине нету. — Она считает тюки: — Восемнадцать... двадцать один! Ну, кажется, теперь все. А полочку для книг Сашеньке заказали, Семен Семеныч?

— Заказано.

— Теперь Вареньке ширмы — и полный порядок.

Семен Семеныч надуто, словно обижаясь на то, что кто-то подумает о нем, будто он умен, спешит вставить свою очередную глупость:

— Александр Петрович! Встречаю сегодня городского голову Трофима Ефимовича Преображенского, помните? Бесстрашный! На собственной тройке — от Самары до

Омска, а оттуда до самого Красноярска бежал. Тысяча верст! Только в Красноярске на поезд пересел, и то оттого главным образом, что все кони передохли. По-прежнему — весь общительность, сигарой угостил.

— Сигарой? А новостью он вас не угостил, Семен Семеныч? Пеклеванов бежал из тюрьмы и скрылся.

— Кто такой Пеклеванов?

О боже! Капитан схватил тяжелый том словаря и отыскал то слово, на которое он наткнулся вчера. Очень многозначительное слово. Тут есть нечто и от Гвинеи, куда, по-видимому, суждено всем бежать, и от евангелия, и просто от бессмыслицы, которой так полна наша жизнь!

Он прочел грустно и насмешливо, вслух:

— «Евганеи. Племя, обитавшее в глубокой древности в северо-восточной части Апеннинского полуострова и вытесненное оттуда венетами». И уже нет ни евганеев, нет ни венетов: тех и других вытеснили! Тех и других забыли. Вот и нас с вами, Семен Семеныч, так же вытеснили. И так забудут, что даже в словарь не попадешь, ха-ха!

Семен Семеныч вслушивается: он уважает книги. Надежда Львовна по-прежнему бормочет свое:

— Вот и обедать уже можно вовремя, а значит, и воевать обязаны по порядку. До океана добежали, до самого Тихого! Дальше бежать некуда. Хочешь не хочешь, а воюй. Иначе как же? По улице идешь: теснота, во всех окнах узлы да чемоданы. Теснота! Я как посмотрю, у нас просто счастье, что мы в цветочном магазине поселились. Другие в совершенно неприличных местах живут.

— Именно, — подтвердил Семен Семеныч. — Мне вот обещали в одном месте службу. Похвалили: голос, говорят, у вас звучный. Голос действительно, может быть, и звучный, но почему — голос, когда это не опера и не храм, а интендантское управление?

Болтовню «евганеев» прерывает Обаб. Прапорщик входит, и фуражка в его руке дрожит от волнения:

— Я вас сегодня целый день искал, господин капитан. На бронепоезде три раза был. Вследствие приказа начштаба восточного фронта генерала Спасского сего числа назначен в ваше распоряжение для действия против партизан.

— Позвольте, но ведь вы только что усмиряли?

— Пожег, побил, да не всех.

— В тайгу, в леса, в горы? — спрашивает Надежда Львовна, отрываясь от вещей.

Обаб, глядя в лицо Незеласову, отвечает:

— Так точно, в тайгу приказано.

Незеласов даже завизжал от негодования:

— Приказано? Кто приказывает? А вам известно, Обаб, что бежал из тюрьмы Пеклеванов?

— Раз бежал — поймают.

— Кто?

— Наши поймают. А наши не поймают — японцы поймают. А японцы не поймают — американцы поймают. Кто-нибудь да поймает.

— А если не поймают? А если Пеклеванов снова поднимет восстание? Повторяю: кто подавил все восстания рабочих? Я! Мой бронепоезд! В сущности говоря, мне пора командовать гарнизоном, — и в чине полковника, не меньше. А я по-прежнему капитан.

Обаб, многозначительно пожевав губами, вдруг предложил Незеласову отправиться в артиллерийские склады под городом.

Да, да, все решалось на складах!

Над артиллерийскими складами тоже туман. Обаб с неимоверным лязгом раскрыл широкие двери. Длинный склад весь забит пушками. Подмигнув, Обаб сказал Незеласову:

— Пушечки, Александр Петрович, первый сорт. Американские. А снарядов, извольте вглядеться, маловато. По одному боевому комплекту.

— Снаряды на другом складе. Американцы, уж это-то я знаю хорошо, выгрузили очень много снарядов.

— Выгрузили, действительно. Только генерал Сахаров снова их погрузил.

— На пароходы?

— В свои железнодорожные составы, Александр Петрович. Генерал Сахаров сам — против партизан. «Надо стереть их с лица земли, пока не объединились!» У него не то пять, не то восемь этих составов. А может, двенадцать.

Незеласов дрогнувшим голосом спросил:

— Ну зачем генералу Сахарову так много снарядов? Двенадцать составов!

— Сказать по правде, и все пятнадцать наберется.

— Вот я вас и спрашиваю.

— А затем, Александр Петрович, что боится. Военные нонче народ ненадежный. Разгромишь партизан, будешь возвращаться со славой к друзьям, а друзья-то твои тебя снарядами и встретят. — И Обаб тихо добавил: — Начштаба восточного фронта генерал Спасский говорит, что ежели вам последить за генералом Сахаровым, то вы легко дойдете до полковника, Александр Петрович. Очень вам будет к лицу чин полковника! А то выходит вроде подлость: увозит все снаряды в тайгу, и наш бронепоезд остается без снарядов. А если Пеклеванов сызнова поднимется?

Ну конечно, все решилось на складах! До́ма, разумеется, не обошлось без красивого жеста! Как же иначе? Евганеи!

Варенька — невеста, значит, надо блеснуть перед ней отвагой, и надо, чтобы она думала, будто под ее влиянием капитан Незеласов увел в тайгу бронепоезд. Варя бывает довольно часто у Спасских. Хотя генеральша, помешанная на котах и кошках, — дура, а генерал Спасский, дядя Вяча, книжки все сшивает, переплетами интересуется... Впрочем, пусть узнают, что Незеласов решил — в тайгу! И даже полезно, если она сболтнет про дерзость Незеласова. Сколько помнится, Бонапарт тоже был дерзок на язык, а если не так, то и черт с ним, с самим Бонапартом: мы будем похлеще!

Началось с речей подрядчика Думкова. Этот белокурый, смазливый господин ухаживает за Варей, и едва ли безнадежно. «Впрочем, дело не в Варе и не в любви, а в звании полковника и в славе! Когда прославимся, таких Варей будут сотни!»

Итак, за вечерним чаем гости — и подрядчик Думков — говорили, что белую армию спасут лишь дружи́ны Святого Креста.

Незеласов со смехом прервал подрядчика:

«Крестоносцы! Пять тысяч верст вы бежали к Тихо́му океану только затем, чтобы выдумать эти дурацкие дружины Святого Креста».

«А ты что, не бежал? — спросила Варя с негодованием. — Ты что, упал с неба?»

«Варя!» — пыталась успокоить ее Надежда Львовна.

«Нет, Надежда Львовна, я скажу все!»

«Верно!» — сказали в голос юнкер Сережа, подрядчик и даже дурак Семен Семеныч.

«Я знаю, знаю все, что вы скажете. Трус, окопавшийся в тылу, болтун, интриган...»

Незеласов повернулся к Обабу и рыдающим голосом, потрясая кулаками, закричал:

«Прапорщик! Бронепоезд 14-69 — в тайгу!»

«Евганеи, прочь!»

И вот он в тайге.

— Приказ генерала Спасского.

— О чем?

— Сахаровские составы со снарядами все на станции Мукленка.

— Ну?

Ах, боже мой! Какое было ужасное потрясение, когда узнал, что все, решительно все артиллерийские снаряды генерал Сахаров, командующий армией, увез с собой в тайгу. И всего ужаснее было то, что в этом чрезвычайно неприятном потрясении было что-то и приятное: генерала Сахарова теперь считают мошенником, и если капитан Незеласов «пристукнет» командующего и возьмет, так сказать, бразды правления и снаряды в свои руки, то путь для славы будет открыт чудовищно быстро!

— За номером...

Цифры, цифры! Приказы генерала Спасского вообще пестрят цифрами.

«Бронепоезду 14-69 как можно скорее, никак не позднее 2 сентября, быть на станции Мукленка и занять позиции у реки того же наименования: подле разъезда 85, прикрывая мост № 37. Начштаба восточного фронта генерал-майор Спасский».

Цифры на дверях бронепоезда, на рамах окна, ремнях и кобуре револьвера. Даже на американских сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан Незеласов и пепел которых мягко таял в животе расколотого бронзового китайского божка, тоже множество цифр.

— А черт бы побрал эти цифры! — сказал с раздражением Незеласов.— Обаб, они, по-видимому, свойственны нашим дням, создавая видимость реальности. Бронепоезду — номер... приказ — номер... в направлении —

номер... А на самом деле ничего нет. Нуль! Нулевые дела! Нам нужно быть в городе, чтоб ловить Пеклеванова, а мы прибыли «в направлении — номер» к генералу Сахарову, которого здесь нет и который неизвестно где! «Как можно скорее», ха-ха!.. Конечно, если меня им надо уничтожить, это самый лучший способ, а если они хотят извлечь из меня пользу...

— А зачем им посылать нас в тайгу без пользы, господин капитан? — сказал Обаб. — Без пользы и прыщ не вскочит, ха-ха!

— Ну, разумеется: стекаем, как гной из раны... на окраины. Мы — на окраины тайги, а беженцы и правительство — на окраины жизни!

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:

— Вам лечиться надо. Да!

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезня». Капитана Незеласова уважал: «техник», в Петербурге служил в бронетанковых частях и даже пробовал вывести их в дни Октября на улицы против большевиков. Правда, не сумел, но ведь тогда никто не сумел, чего же на какого-то капитана пенять! Надо сейчас вот не упустить момента, а момент-то, пожалуй, повыгоднее, чем в Октябре. Сейчас и землицы нарежут сколько хочешь, и денег, и почестей... Скажем, атаман Семенов — тот своих награждает, лихо глядеть. Устал, конечно, капитан Незеласов, измотался...

— Без леченья плохо вам. Позвать фельдшера?

Незеласов торопливо выдернул сигаретку.

— Заклепаны вы наглухо, Обаб!.. — И, быстро стряхивая пепел, визгливо заговорил: — Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали все — нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-ас-чет получайте... И не расчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!!

— В тайгу-то — расчет? Да бог с вами, Александр Петрович! Почетное поручение: поймать Вершинина.

— Почетное?! Когда вы колете скотину, что раньше всего вы отделяете — голову или хвост?

— Голову, — подумав, ответил Обаб. — А потом ноги. Я студень люблю.

— Пеклеванов — голова, а Вершинин — хвост.

— Ну нет! Вершинин — тулово. Да и голова ли Пеклеванов, еще вопрос. Я, Александр Петрович, в рабочих вообще не верю, особенно в наших, приморских. Пьяницы, шантрапа! На мой взгляд, главная сила — мужик. Только он, Александр Петрович, избаловался, сволочь! Его прежде всего надо пороть. Скажем, атаман Семенов. Он не мозгует, не эсерствует, а бьет беспощадно!

— Разумеется, атаман Семенов имеет свои достоинства... Решимость, скажем.

— Верно! Он в два счета...

Опять эти цифры! Они словно частокол, словно жерди загона, которым суждено удержать неразумное стадо. Хорошо этому тупому быку Обабу толкаться в стаде, а каково-то тебе, если ты награжден индивидуальностью и сообразительностью? Вот он, — точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные плечи, — развалился, прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова. Откуда его принесло? Зачем? Где он его встретил впервые? В свите генерала Спасского? Да, кажется, там.

— Верно же!

«Только верно ли? — думал Незеласов. — Во-первых, верно ли со снарядами; во-вторых, верно ли, что Пеклеванов бежал в тайгу, и, наконец, верно ли, что Вершинин и партизаны так уж сильны?»

Ничего узнать нельзя, все перепуталось, перемешалось. Генерал Сахаров, вместо того чтобы ждать бронепоезд 14-69, отодвинул свои части на окраину тайги, к полям возле Мукленки, которые, кстати сказать, правительством недавно пожалованы генералу. Разумеется, его можно понять — поля не малые, три тысячи десятин отличнейшей земли, но почему все-таки этот идиот и подлец не оставил Незеласову даже записки: извините, мол, и прочее?

Капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвысил голос:

— О рабы нерадивые и глупые! Душно с вами.

Незеласов поднял окно. Обаб спал.

Пахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.

Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой. Всюду пыль, грязь, клейма бегства!

— Еще телеграмма, господин капитан, — сказал, входя, артиллерист.

— А, что? — закричал, проснувшись, Обаб. — Генерал Сахаров? Где?

Незеласов нехотя теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба. Побаивается он чего-то? Ну, уж если Обаб побаивается — дела наши неважные.

— Телеграмма из города, — сказал Незеласов. — Генерал Спасский, начштаба восточного фронта, телеграфно приказывает найти генерала Сахарова. Но где же этот сукин сын? Почему он скрывается? Он что, переворот готовит? К большевикам перешел? Где он? О, господи!

— Это верно.

— Что?

— А вот насчет господи, — сказал Обаб. — Надо богу молиться, а они уставились на нас, будто на бога.

— Кто?

— Да беженцы.

Незеласов высунулся.

Беженцы, столпившись, восхищенно разглядывали броню вагонов. Учитель, в чистой фуражке и грязном пальто, бережно держа в коротких руках широкий жестяной чайник, ласково обратился к окну:

— Господин капитан! Многие интересуются, почему во время маневрирования на путях ваш паровоз стоит то во главе бронепоезда, то в середине его?

В глазах у учителя такая тоска, что, кажется, она, отражаясь, дрожит, увеличенная во много крат, на выпуклых боках чайника. Жестяная тоска! Незеласову, на мгновение впрочем, жалко учителя, и он говорит с преувеличенной любезностью:

— У нас, господин учитель, машинист новый, с товарного поезда. Он не привык водить бронепоезда, и, когда его сердце колеблется, он по старой привычке ставит свой паровоз во главе бронепоезда. Зато он очень верен бе-

лому движению и не предаст нас. Эй, Никифоров, покажись!

Это очень хорошо! И беженцы обрадованно закивали головами. Они-то уверены в силе капитана Незеласова, но если еще эта сила вдобавок помножена на преданность нового машиниста — тем лучше. Ах, как приятно видеть такой могучий бронепоезд! Сколько стали, пушек, грохота, дыма, какие подтянутые артиллеристы и как вежлив сам командир бронепоезда, которому, видимо, предстоит великое будущее.

«Так-то оно так, — подумал Незеласов, — но где, однако, этот мерзавец, генерал Сахаров?»

И ему вспомнился вдруг город, вокзал, мастеровой в рыжих опорках, пьяно и вяло плясавший у трактира возле депо, куда Незеласов в сопровождении Обаба и только что взятого машиниста Никифорова пришел осматривать бронепоезд. Осматривал тщательно, лазил среди колес, взбирался на крышу и наконец с удивлением сказал:

«Отлично отремонтировали, шельмецы!»

«По инструкции», — отозвался Никифоров.

«Хочу их «поблагодарить». Мне их исправность подозрительна: не для себя ли ремонтируют? В голове небось дума: «Упустит капитан Незеласов бронепоезд, а мы его — хап!»

Но помешал генерал Сахаров.

Возле депо, на шоссе, показалась его коляска. Незеласов, погрозив кулаком рабочим, побежал:

«Ваше превосходительство, ваше превосходительство!..»

Коляска остановилась. Послышался сытый и равнодушный голос генерала Сахарова:

«Говорят, капитан, вы согласились-таки в тайгу? — И добавил насмешливо: — Очень признателен. Там встретимся».

Незеласов обратился к нему почти умоляюще:

«Снаряды, снаряды мне надо, ваше превосходительство...»

Генерал прервал:

«Повторяю, встретимся! Кстати, вам сообщили, что вы, капитан, наделены землей почти рядом со мной?»

«Землей?»

«Да, вам пожаловали двести пятьдесят десятин. Но я спешу в штаб Дальневосточного командования, извините...»

И, указывая на мазут, которым испачкался капитан, генерал с легким смешком сказал:

«Не надо уж так подчеркивать свою черную кость, ха-ха!.. Вы ведь по происхождению, кажется, мещанин? Впрочем, это пустяки, шутка».

Именно в ту минуту, когда Незеласов собрался «благодарить» рабочих депо, которые курили возле дверей, туда пришел китаец Син Бин-у. Китаец сразу узнал капитана, несмотря на то, что Незеласов изрядно испачкался мазутом. Син Бин-у хотел было уйти, но ласковые, пожалуй намеренно ласковые, улыбки рабочих остановили его. Китаец сказал со злостью, поведя плечом в сторону капитана:

— Его меня мало-мало убивай хотела. Моя фанза тут была. Моя флонт окоп копала. Моя плиехала — фанза нетю, дети нетю, жена нетю.

— В восстании, что ли, обвинили? — спросил дюжий, рослый слесарь Лиханцев.

— Да, да. Восстание обвиняй его! Его селдце больно. Его селдиться надо...

Старый железнодорожник Филонов, показывая узелок, сказал китайцу:

— Сердись не сердись, а такая жизнь. Две недели я тоже хожу: передачу сыну не берут... тоже арестован за восстание...

— Моя твоя понимая есть! — закричал китаец.

— Работенку бы ему подыскать, — сказал Лиханцев.

— Пошлем к грузчикам, в порт!

— Нет, слесаря, — вполголоса сказал Шурка, помощник машиниста Никифорова, — лучше пробраться ему в партизаны.

Лиханцев повел, однако, китайца в порт, но в порту тоже признали, что китайцу, пожалуй, лучше отправиться к партизанам. Тогда Син Бин-у поехал на станцию Мукленка. По мнению рабочих, именно на Мукленку, на узловую станцию, должны вести наступление партизаны, там и встретится с ними Син Бин-у.

Глава третья

ВОЗЛЕ КУДРИНСКОЙ ЗАВОДИ

Городской врач Сотин, пожилой, морщинистый, истощенный заботами, торопливо собирался к больному. Введено военное положение, а на улице уже вечер. Хорошо бы остаться дома, слушать в кресле, как Маша рядом перелистывает Глеба Успенского и гладит кошку, которая то вспрыгнет к ней на колени, то заберется на стол и дотронется осторожно лапкой до книжного переплета.

Жена стоит с раскрытым чемоданчиком, и глаза ее перебегают с лица мужа на лицо дочери. Какая тревога в ее глазах! Как много она чувствует — и как мало понимает в том, что происходит!

Вдруг Маша поднимается и книгой сгоняет со стола кошку, отбрасывает стул и берет накидку.

— Маша? Опять хлопотать?

Мать понимает смысл каждого ее движения. Понимает и Сотин. Он говорит, вздыхая:

— Хлопоты перед властями уже не помогут.

Дочь перебивает его:

— Однако полковник Катин еще третьего дня обещал...

— И обещания его не помогут. Дело в том...

На лице врача — и ужас перед властью, и смирение перед действительностью, и восхищение подвигом, и самое обыкновенное стремление сообщить новость.

— ...дело в том, что телефонировал Иван Николаевич: Пеклеванову удалось... — И врач добавил шепотом: — Бегство.

— Откуда? — спрашивает мать, хотя она великолепно знает, где находится Пеклеванов.

— Из крепостной тюрьмы. Бежал вместе с кандалами! Казанóва!

— Но он же не скроется? Власть так прочна.

Не то с насмешкой, не то всерьез врач сказал:

— Слабую власть сбрасывают, от прочной бегут. В тайгу, по-видимому, убежал. Все почему-то убеждены, что он возле Кудринской заводи скрывается. Места подходящие: тайга глухая. Но именно потому, что подходящая, он там не будет скрываться.

Мать, поняв наконец все происшедшее, перекрестилась на образ и боязливо сказала дочери:

— Ах, как неприятно! Пеклеванов ведь ухаживал за тобой, Маша.

— Не только ухаживал, мама, — он любит меня. Он сделал мне предложение, и я согласилась быть его женой.

— Женой беглого каторжника?!

Маша молча пошла за отцом. На улице, многозначительно взглянув друг на друга, они расстались. Сотин направился к городскому базару, а Маша — в сторону порта.

Вечер. На каланче скоро ударят восемь: час, после которого движение по городу разрешено только тем, кто имеет особые пропуска. Поэтому все спешат, не глядя друг на друга. Даже туман, клубами катящийся с моря, спешит осесть на улицах и с особым усердием почему-то в городских переулках. Там особенно грязно.

Не обращая внимания на слякоть, старый железнодорожник Филонов, размахивая узелком, быстро шагает по набережной. Вот он остановился возле Проломного переулка, где находится его лачуга, и подумал: «А может быть, вернуться в крепость и попросить еще раз? Пожалуй, успею до восьми». Ему не хочется домой. Жена опять встретит воплями. Вдвоем горе непереносно.

Его обгоняют два незнакомца в одежде железнодорожников. Один из них, тот, что пониже, возвращается, смотрит ему в лицо и крепко жмет руку.

— Илья Герасимыч? — изумленно и взволнованно спрашивает Филонов. — Откуда?

— Проездом, — улыбаясь, говорит Пеклеванов. — А ты-то куда поздним вечером?

— Сыну передачу в крепость несу.

— Он, никак, артиллерист? — спрашивает Пеклеванов.

— Вот и забрали за пропаганду среди артиллеристов. — Поморщившись, Филонов продолжает с огорчением: — Илья Герасимыч, беда! Афишки-то про себя читали?

— Какие афишки? — спрашивает Знобов.

— А вон, на будке.

И Филонов поворачивает к крепости, бормоча про себя:

— Беда! Сыну передачу несу, Пеклеванов — здесь... Сыну, стало быть, хуже будет?.. Беда...

Знобов читает объявление, обещающее награду за поимку Пеклеванова. Портрет мало похож. Знобов сравнивает портрет с оригиналом и удовлетворенно улыбается: не узна́ют!

— Тридцать тысяч обещают за Илью Герасимыча. Дорогая голова, — бормочет, скрываясь в тумане, Филонов.

Он и верит и не верит себе. Пеклеванов?! И как бесстрашно подошел, будто во сне. Значит, опять восстание готовит? Иначе зачем ему артиллеристов вспоминать? Ах, господи! Хорошо, если Пеклеванов успеет Сережу освободить. А если не успеет? Господи! «Нет, в крепость я уж не пойду, а пойду домой. Говорить старухе о встрече? Старуха, конечно, не болтлива, но все-таки: Пеклеванов, похоже, скрывается в нашем же Проломном переулке. Лучше уж помалкивать».

Нет, Пеклеванов в Проломном переулке не скрывался. Он прошел его, вышел на большой пустырь, пересек его. Клубы тумана перекатывались через темные здания артиллерийских складов.

Пеклеванов, смеясь, сказал Знобову:

— Даже сердце забилось. Никак, артиллерийские склады? Люблю, грешный, пушки. Их здесь, поди, немало? Да и снарядов тоже? Свои тут есть?

— Свои? Большевики?

— Нет, монархисты, — смеясь, ответил Пеклеванов.

— Нету, Илья Герасимыч.

— А надо бы. Давно надо бы.

Какой-то встречный показался Знобову подозрительным. Он увел Пеклеванова в арку ворот. Ожидая, когда опустеет улочка, Пеклеванов спросил тихо:

— Вы, кажется, тоже артиллерист, Знобов?

— На военной был морским артиллеристом.

— Я когда-то тоже был артиллеристом, только сухопутным. И некоторое время даже обучался в артиллерийском училище. — Пеклеванов, посмеиваясь, потер себе щеки ладонями. — Сырость какая. Не очень-то оригинально, говоря об артиллеристах, вспомнить Толстого. Помните «Войну и мир»?

— Не читал, Илья Герасимыч.

— «Войну и мир» не читали?

— Не осилил, Илья Герасимыч. «Графа Монте-Кристо» осилил, а это не мог.

— Ну, осилите попозже. Не все сразу. Да, очень, очень хорошо написано! — Указывая на дома, он спросил: — А здесь по-прежнему ночлежки грузчиков? И по-прежнему много сочувствующих?

— Пожалуй, больше, чем раньше.

Миновав ночлежки, Пеклеванов и Знобов спустились в ложбинку китайского квартала. Лачуги, теснота, грязные улочки — и над всем этим господствует холм, на котором развалины каменного дома.

— Вон там, за развалинами, и наша фанзочка, Илья Герасимыч. Здесь и будет ваше проживание. Здесь вас никому не найти.

— Кроме любви.

Стараясь не думать о любви, а думать о чем-нибудь другом, скажем, об артиллерии, Пеклеванов, ухмыляясь, спросил:

— Да, был я артиллеристом и даже офицером. Вам это не странно, Знобов?

— Чего, Илья Герасимыч?

— А что председатель революционного комитета — бывший офицер?

— Это я прежде думал, Илья Герасимыч, что все офицеры подлецы. Теперь кое в чем разбираюсь. Но, конечно, были. Помню одного мерзавца на корабле. А голос! Прямо протодьякон. Запоет — весь корабль дрожмя дрожит.

— Но это еще не такая большая подлость.

— Подлость была в другом. Мы его как-то спрашиваем после революции: ты, дескать, каких убеждений? «Я, отвечает, за монархию». — «Ах, вот как? Монархия, брат, утопла. Топись и ты». И мы его в море. Ничего, утоп спокойно. А без этого дельный был бы офицер.

...В эти же приблизительно минуты Маша срывала объявление с будки на улице. Неслышно подошел ее отец и положил ей руку на плечо.

— Маша, домой!

— Я не вернусь, отец.

— Уйти надо умеючи. Идем, я тебе кое-что объясню.

Врач Сотин вместе с дочерью вошел в столовую своей квартиры. Тяжело дыша, он вынул из портфеля довольно плотную пачку объявлений и не без гордости бросил ее на стол. Жена его, развертывавшая скатерть, застыла у стола. Сотин, придав своему лицу холодное выражение, сказал жене:

— Купил за большие деньги.

Жена его молчала, а дочь сказала растроганно:

— Спасибо, папа! Но вряд ли твой поступок помешает розыскам Пеклеванова.

На каланче били восемь. А в столовой все трое повернулись почему-то к большим дубовым часам, которые слегка отставали, и стали ждать, когда они будут бить. После того как замолк последний удар, врач Сотин, заложив за спину руки, грузно прошелся по столовой, остановился у пачки объявлений и сказал с умилением:

— Я горжусь Пеклевановым. Он — действительно за Россию. Все политические партии, кроме большевиков, лижут сапоги интервентам.

Жена его, рассердившись и покраснев, застучала щипцами о сахарницу:

— Запрещаю тебе это говорить, запрещаю!

— А я запрещаю ей здесь оставаться! В эти опасные минуты она должна быть с ним.

— И тебе тогда надобно быть с ним!

— Может быть, и буду.

Жена, в негодовании хлопнув дверьми, выбежала. Дочь, плачущая и потрясенная, обняла отца. Мать, приоткрыв дверь, крикнула:

— Проклинаю! Обоих!

— Слушай меня, Маша...

Сотину нравится, что он говорит убедительно, что они хорошие, честные люди, что помогут другим жить честно и хорошо, — а если придется, то и погибнуть за такие мечты не тяжко!

Слезы показались на глазах у Сотина.

— Иди, Маша, иди! Иди к нему.

— Но как, папа, его найти? Кроме того, меня ведь знают. Начнут следить... Боюсь навести на его след!

— Бери афишки — и на окраину. Расклеивай! Там, где больше всего тебя будут бранить, быть может, даже бить, — там близко Пеклеванов! Его товарищи узнают тебя и проводят... Дай я тебя благословлю! Конечно, я

по мировоззрению атеист и благословлять мне тебя, собственно, не следовало бы, но примета есть примета. — И он со всей силой, на которую был способен, громко и пронзительно выкрикнул: — Иди! Ищи! Если понадобится, даже и на Кудринской заводи его ищи.

Благодаря ли совету отца, или благодаря каким-либо другим обстоятельствам, но однажды, как раз перед тем, как на каланче с особенным усердием должны были бить восемь, Маша постучала камушком в дверь фанзы, где скрывался Пеклеванов. В сенях послышались шаги. Маша узнала их. Дверь фанзы приоткрылась.

— Зачем ты сюда, Маша? Зачем?

Маша влюбленно и слегка сердито — ласковей надо бы встретить! — смотрела в его бледное молодое лицо. Затем взор ее упал на его руки со следами кандалов, и она, плача, схватила их и заговорила, тяжело лепеча:

— К тебе, к тебе! В тюрьму, в подполье, на каторгу, куда угодно, только бы к тебе, Илья! На Кудринскую заводь даже!

Пеклеванов обнял ее.

— Дорогая, милая моя! Жена моя!

Темной ночью, верстах в тридцати от Кудринской заводи, через село, сожженное карателями, шел с фонарем в руке Вершинин, окруженный несколькими крестьянами. Один из них, шумно дыша, тащил пулемет. Карателей из села выбили недавно, недавно и погасили пожар. Вокруг еще шипели, бросая искры, головешки.

Свет от фонаря упал на лицо мертвеца, лежащего возле сгоревшей школы. Во тьме слышны были рыдания детей учительницы. Вершинин отвернулся и пробормотал:

— А я-то говорил — мимо пройдет война! Вот тебе и мимо. «Война нам не годится!» Кому же она годится? Антервентам, белогвардейщине, карателям? Эй, мужики! — И голос его загремел над пожарищем. — Хватит, поплакали! Собирайся, мужики! Почтенные! Собирай оружие, кто какое может!

На рассвете в его отряд, который придвинулся к Кудринской заводи еще верст почти на пятнадцать, приехало много стариков, выборных от разных сел. Они не вмещались в охотничьей избушке и сидели на земле, возле

окна и двери. Вершинин подошел к столу из жердей, на котором Миша-студент разостлал межевую карту.

— От всех назначенных волостей собрались? — спросил Вершинин, кланяясь старикам. — От вас, старики, ждем совета, а от вас, молодежь, — силу.

— Совета хочет!

— Силы!

— Надо обговорить...

— Тише!

Когда все утихли, Вершинин, прищурив один глаз, опять обратился к старикам:

— Ну что ж, мужики, помогайте — надо Расею спасать.

— Надо, надо, — тихо закивали старики.

Слова их искренни, но слегка ленивы. Вершинин, возмущенный этой холодностью, покраснел и, стиснув зубы, сказал:

— Надо, надо... А может, побойчей ответите?

— Да ведь ответили, Никита Егорыч!

— Ну? Кто тут сосновские?

— Мы, Никита Егорыч.

— Сосновцев здесь много.

Вершинин взял холщовый мешок, достал пачку фотографических карточек, завернутых в газетную бумагу, медленно развернул ее и проговорил:

— В Сосновской волости, как раз возле Кудринской заводи, сказывают, начальство отрезало генералу Сахарову пять тысяч десятин земли. Сказывают тоже, он на эту нарезанную ему землю войска привел. Верно?

— Верно, — ответили хором крестьяне.

— Кусок хороший!

— Как не привести войска!

Вершинин продолжал:

— Дал мне товарищ Пеклеванов землемерную карту всех волостей, и вашей — тоже. А там, когда я разговаривал с Пеклевановым, на берегу играл в дудку...

Вершинин, вспоминая разговор с Пеклевановым, задумался, покачал головой, зажмурился.

— Играл там студент Миша, землемер, вот этот.

— Я в Горном институте учился, Никита Егорыч.

— А разве гора — не земля? Земля, только что потверже пашни. Горы умеешь мерить? С чего же пашню не намерить и не разделить?

Громкий голос спросил:

— А разве нам пора делить землю?

Вершинин достает фотографию и показывает.

— Узнаете?

— Каратель!

— Генерал Сахаров!

— Верно, — говорит Вершинин. — Ему отрезано на карте земли столько, что мы его землю вровень закроем его портретом. Так ведь, Миша?

— Приблизительно, Никита Егорыч.

— А говоришь — не знаю землемерства.

Вершинин положил фотографическую карточку на те земельные участки, которые на межевой карте отмечены как собственность генерала Сахарова. Затем он достал другую фотографию и протянул ее Мише.

— Кто тут? Мелко написано, не пойму.

Миша читает:

— Министр земледелия Приморского правительства скотопромышленник Пименов.

— Накрывай его земли. Дальше кто, на этой карточке?

— Атаман Малашин на этой.

— Накрывай!

— Это кто, мужики? Узнаете?

— Купец Баляев Григорий Иваныч.

— Накрывай!

— Это?

— Кулак Обаб.

— Накрывай!

Горько мужикам, печально. С недоумением глядели они друг на друга, со злобой — на карту, всю покрытую фотографиями.

Вершинин сказал, разводя руками:

— Вся земля поделена, мужики! Либо отдана она кулаку, либо купцу, либо казачьим атаманам, либо генералам. Да еще об антервентах не забывайте! Им тоже немало надо. Вот для них-то вы и будете обрабатывать эти земли!

— Барин идет на землю, братцы! — раздается чей-то возбужденный и словно проснувшийся только что голос.

— Отберут землю!

— Отбить!

— Не давай землю, Никита Егорыч!

Вершинин, потягиваясь от удовольствия, с радостью прислушивался к возрастающему шуму голосов.

Он спросил:

— Так что же делать, мужики?

Седой старик, расталкивая всех, подковылял к столу.

— Тебе чего, дед? — спросил Вершинин, ухмыляясь.

— Земли!

— Какой волости?

— Мутьевской, Никита Егорыч.

— Миша, где у нас Мутьевская волость?

— Нету ее, Никита Егорыч.

— Как так нету? — с возмущением спросил старик.

Вершинин сказал, пожав плечами:

— Нету, дед! Видишь, все барскими портретами закрыто.

— А я вот этим барам покажу!

Старик хватает карту за край и сбрасывает все фотографии на пол.

Мужики захохотали.

Каратели отступали и окопались в селе Большое Мутьевское. Село с большими огородами протянулось вдоль реки Мукленки, той самой реки, мост на которой должен был прикрывать своим бронепоездом капитан Незеласов. Мукленка, часто виляя среди тайги и гор, впадает здесь в Кудринскую заводь. От села до железной дороги верст двадцать, не больше.

Между железной дорогой и селом лежат богатые нивы и луга. До революции эти места принадлежали Кабинету Его Величества. После революции мужики их пахали и косили для себя, а теперь места эти подарены генералу Сахарову. Сахаров думает заняться здесь хлебопашеством и скотоводством. Пожалуй, преимущественно скотоводством. Луга удивительно пышные! Особенно пышны они возле холмов, прикрывающих Кудринскую заводь. Заводь, к сожалению, мелка и доступна только лодкам, так что генерал предполагает, разбогатев от скотоводства, прорыть через заводь канал, чтобы вывозить оттуда зерно и скот.

Пока в селе и в его окрестностях нет ни скота, ни зерна, а огромные огороды заросли главным образом бурьяном. По бурьяну крадутся мужики с ручными гра-

натами и ружьями. Ночь лунная, но часовые не видят мужиков. В огородах им стоять страшно, и они предпочитают ходить по улице — дисциплина среди карателей по ночам нельзя сказать, чтобы была крепкой.

В пятистенном доме просвирни вповалку, на сене, спят несколько офицеров. Обеденный стол занят, на нем, положив голову на кулаки, спит старший офицер. Поэтому допрос китайца Син Бин-у ведут в сенях. Молоденький прапорщик, то и дело сползая с сундука, обитого скользкой цветной жестью, глядит со скукой в лицо связанного Син Бин-у. В лампе мало керосина, и офицер, прибавляя огня, спрашивает, зевая:

— Китай, как ты сюда попал? К большевикам пробирался? К партизанам?

— Китай моя ехать надо.

— Враки. Китай твой совсем в противоположной стороне.

Высокий рыжий офицер, что спал, положив голову на стол, поднимается. Размякший и отяжелевший от неудобной позы, он начинает приседать, скрипя сапогами. Приседая, он говорит прапорщику:

— Ах, какой я сон видел, Павел Андреевич, какой сон! Волга, Нижний, ярмарка...

— Не мешайте, — бормочет ведущий допрос. — Я его никак имени записать не могу. Как тебя зовут?

— И дался вам этот китаец! Пристрелите, и конец. Или лучше дайте мне, я пристрелю.

Рыжий офицер придвигает к себе кобуру револьвера. Прапорщик прерывает допрос, подходит к столу, наливает из чайника в жестяную кружку холодного чаю и нехотя пьет. Офицерам скучно.

— Который час?

— Половина четвертого.

— Боже мой, какой сон!

Высокий, тревожно подняв голову, прислушивается и говорит серьезно:

— За окнами кто-то ходит!

— Часовой!

— Шаги не наших.

Син Бин-у, тоже, по-видимому, поняв, что за окнами творится что-то неладное, старается отвлечь офицеров:

— Семечка моя покупала. Села, плиехала семечка покупать. Семечка нету. Семечка нету, чем толговать буду?

Высокий офицер, ударив кулаком по столу, говорит:

— Проснитесь, господа! За окнами возятся. Проверить!..

Он не успевает закончить приказание, как рама с треском вылетает, и в комнату, прямо на стол, прыгает с гранатой в руке Вершинин.

А вот и Кудринская заводь, луга, нивы, холмы. Как тут свежо, светло, обширно! Какой здесь был бы покос, какие богатые пашни, кабы некошеный луг не истоптали солдаты, кабы нивы не пересекли окопы с колючей проволокой, кабы на холмах в отдалении не укрепился сам генерал Сахаров, который перевез сюда, говорят, несколько поездов со снарядами. Со всех шести окружных волостей приказал Сахаров согнать подводы. Две недели возили снаряды, и десять дней артиллеристы помогали своим упряжкам катить пушки: из-за дождей дороги были вязки.

Хорошо, хоть дожди кончились, а то попробуй подползти по этой черной и вязкой земле к позициям генерала Сахарова! Все равно, впрочем, трудненько будет атаковать Кудринскую заводь. Эх, кабы хоть парочку пушек да полвагона снарядов! Какие там пушки, когда для пулемета не хватает патронов, не говоря уже о винтовках. Конечно, сибирский мужик привык беречь снаряды, но ведь тут злость какая! Для этакой злости и миллиарда патронов было бы мало.

Далеко впереди отряда, в сухой осенней траве, наблюдая за холмами, где хоронились белые, лежали Вершинин, Миша-студент, Син Бин-у и трое мужиков. Из окопов слышна ружейная стрельба.

Вершинин спросил, глядя в небо:

— Остальные-то мужики ползут? Долгонько.

Взволнованно и сердито он повторил:

— Подошли, спрашиваю, остальные роты?

— Не подошли, Никита Егорыч, — ответил Миша.

— Нету, — сказал китаец. — Нисиво нету.

— Петров, сюда! Где мужики, что они?

Подполз мужик Петров. Вершинин посмотрел на него вопросительно.

— Отползли, — со вздохом сказал Петров. — Отступили.

— Винтовок испугались?

— Не винтовок, Никита Егорыч. На позициях генерала Сахарова, гляди-ка...

Вершинин всмотрелся.

— Пушки, Никита Егорыч. Того гляди, грохнут.

— Да, пушки, оно, конечно... — с уважением и завистью начал Миша.

Вершинин сердито прервал:

— Чего — оно? Ничего не оно! Ну, пушки, пушки...

Он обратился резко к Петрову:

— Поди к мужикам, скажи, что я... я их люблю!

И повторил уже растроганно:

— Я их, скажи, сильно люблю. Так люблю, что вот сейчас встану во весь рост перед винтовками, окопами, перед этой самой колючей проволокой, перед пушками! И буду стоять до тех пор, пока мужики не вернутся или пока не убьют. За землю буду стоять, за Расею!

Петров отполз.

Вершинин скрутил папироску, затянулся два раза и передал папироску Мише.

— Не курю, Никита Егорыч. Неужели встанете?

— А чего не встать?

— Никак я этого понять не могу!

— А и не надо. Ты себе лежи, Миша. О чем ты думаешь?

— Я? Я, Никита Егорыч, мечтаю о будущем, вспоминаю прошлое, и очень мне, знаете ли, хорошо. И читать хочется. Дайте я вам почитаю Тургенева, Никита Егорыч, наизусть?

— Чего?

— Книгу почитаю.

— Ошалел! Да ты оглянись, Миша, место-то какое!

Вершинин медленно поднялся, вытянулся во весь свой рост и молча стал глядеть на виднеющиеся вдали окопы и холмы. Выстрелы оттуда учащались.

— А луга-то, голубчики, — сказал громко Вершинин, вздыхая, — не кошены. Жаль и глядеть! Трава по пояс, пройтись бы с косой... — Приложив руку к глазам, он вглядывался. — И впрямь — пушки. Генерал-то Сахаров тоже, по-своему, прыткий.

А в овраге, перед спустившимися сюда партизанами, бегал Петров, яростно размахивая руками.

— Поймите же, мужики! Вершинин под пулями стоит!

А вы — в овраге отдыхать? Ради любви к мужикам, говорит, стою! И буду стоять, покеда не убьют меня белые! Слова-то какие, господи!

Молчание. Наконец из толпы раздается строгий голос:

— Нехорошо мы сделали, мужики!

— Нехорошо, — подтверждает после небольшой паузы второй голос.

Петров подсел к мужику, который сказал «нехорошо», и сказал ему вполголоса:

— И нехорошо и стыдно!

Мужик вскочил, закричал:

— И нехорошо мне и стыдно! И чего я вас, дураков, послушался?

— Пушки же!

— Ну и пусть пушки, — продолжал мужик. — А у меня сердце болит! Убьют Вершинина! На всю жизнь — обида!

Молчание. Но это совсем уже другое молчание. Петров, поняв перелом, свершившийся в сердцах, схватил винтовку:

— Стройся!

И мужики выскочили из оврага.

Луга. Холмы. Хороша ты, Кудринская заводь!

Пули либо не долетают, либо перелетают через Вершинина.

Внезапно китаец Син Бин-у поднялся:

— Не могу, нельзя, надо моя стояла лядом!

— Оно, конечно, неприлично, и удивляюсь я самому себе, — сказал Миша, тоже поднимаясь.

Трое стоят в ряд!

Подползают и встают с ними оставшиеся мужики.

Один из них, глядя на следы пуль, обрадованно говорит Вершинину:

— Никита Егорыч, а ведь белые-то солдаты в нас не целятся.

— Ну, брось!

— Вот те крест!

Кто-то строго проговорил, размышляя:

— Может, не хотят? А может, и не умеют?

И когда в стрельбу вступил пулемет, мужик, дотрагиваясь до Вершинина, сказал с восхищением:

— А там, от белых, гляди-ка, кто-то ползет. Храбры, мошенники, ничего не скажу.

Мужики взялись за винтовки. Вершинин приказал тихо:

— Обождать! — И громко спросил: — Кто там, в траве?

— Свой, — донесся срывающийся голос.

— Много вас таких, своих, — кладя руку на курок, сказал Вершинин. — Отвечай! Земля?

Срывающийся голос приближался.

— Народу.

— Фабрики?

— Обязательно.

— Мир?

— Без аннексий и контрибуций!

Вершинин опустил винтовку.

— Подходи.

Из травы выкатился Васька Окорок в кумачовой длинной выцветшей рубашке; в руках у него тоже выцветшая фуражка с голубым околышем. Окровавленный, он стоит еще на коленях, как бы не веря в свое спасение.

— Расстрелять хотел генерал Сахаров, а я...

— За что — расстрелять?

— Секретарь я сто двадцать четвертого революционного полка и прокрался к нему внести разложение в ряды противника.

— А где твой полк?

— Как с фронту шел, так по домам целиком разошелся. А у меня дома нету — раз я секретарь революционного полка, — сожгли каратели.

— Грамотный?

— Пишу, читаю.

— Таблицу умножения знаешь?

— Плохо, Никита Егорыч.

— Откуда известно мое имя?

— Ребята сказали, которые должны были расстреливать. «Стоит, говорят, такой в поле, не иначе Никита Егорыч Вершинин, — беги!» Они для виду постреляли мне вслед и только, гляди, щеку задели.

Засвистели пули.

— Э! — вскрикнул Вершинин. — Хорош! Мимо!

— Ранило?

— Хуже. Сапог разорвало. Стяни.

Васька стянул сапог, перевязал рану.

— Наши все тут, Никита Егорыч, подползли.

Вершинин поворачивается в сторону мужиков.

— Давно пора. Теперь и присесть можно. Нечего бога гневить. Перед атакой, значит.

Присели.

Вершинин, обняв винтовку и постукивая пальцами по ее стволу, с горечью сказал Окороку:

— У нас тоже всякие вояки есть. Видел, отступили! А еще большевиками себя называют.

— Надо бы тебе, Никита Егорыч, ячейку, — сказал Васька Окорок. — Будь ячейка, они б ни за что не отступили.

— Откуда взять ее, ячейку-то?

— А может, наберем?

— Об этом надо с Пеклевановым посоветоваться. Очень он мне доверяет. «Иди, говорит, под твоим влиянием целый уезд». А какой уезд? Дай бог, волость. Это он намекнул: добивайся, дескать. Ну, и пришлось. И, главное, комиссара не дал. Он мне доверяет, а я ему — вдесятеро, во как!

Вершинин сорвал горсть травы, долго смотрел на нее, думал, а затем спросил Ваську:

— Генерал Сахаров и все чины его, стало быть, на холме?

— За холмиком, в блиндаже, Никита Егорыч. Как ударим с правого флангу, так получится возможность зайти в тыл противника.

— И пришло мне, товарищ, в голову... Делай, что буду делать!

Все опять поднялись вслед за Вершининым. Вот он обсосал палец и поднял его кверху. Остальные, без всякого размышления, так же. Только один Миша-студент подумал: «Грязный палец — в рот?!» А что же делать?

Сели. Вершинин спросил:

— Узнали, откуда ветер дует?

— В спину, Никита Егорыч, — быстро ответил Окорок.

— Подожди, тебя как звать-то? — спросил Вершинин.

— Васька Окорок.

— Окорок? Да что ты, свинья, что ли?

— Фамилия моя была — Василий Окороток. Парни смеются: «Как же короток, когда длинный? Вот мы тебя укоротим: будешь ты у нас Окорок». Так оно и прилипло: Окорок, Василий.

— Миша, откуда ветер?

— У меня, Никита Егорыч, спина от волнения мокрая, поэтому ветер со спины.

Подполз Петров:

— Полк, Никита Егорыч, в полном порядке.

— Ладно. Собери у всех серянки. Пускай, которые помоложе, бегут вдоль всего фронту и зажигают степь. Атака пойдет за огнем!

Молодые партизаны бросились в траву, рвут ее, складывают, зажигают.

Ветер гонит пламя по траве прямо к окопам белогвардейцев.

Дым с огнем проносится над окопами, устремляясь к блиндажам и пушкам.

— Ура!

Мужики с винтовками, берданками, а то и просто с топорами — в атаку.

Рубят проволочные заграждения. Врываются в окопы. Бегут по ним. Бьются.

У подножия холма, на котором стоят пушки, возле блиндажа — группа офицеров и сам генерал Сахаров.

Вершинин медленно подошел к генералу, остановился и, перебирая пальцы левой руки пальцами правой, спокойно спросил:

— Генерал Сахаров? Командующий?

Генерал, не глядя на Вершинина, ответил:

— А ты кто?

— Вершинин. Мужик.

— Вижу, что не баба.

Вершинин сорвал с генерала погоны и бросил.

— Только зря русское золото носишь! — И спросил у стариков: — Что с ним делать, деды?

Старики переглядываются. Слышно, как один из них достает тавлинку, нюхает и чихает, а другой смущенно кашляет.

Наконец третий, худенький старик, сказал густым басом:

— Расстрелять!

Очень почтенный, бородатый, осмотрев генерала с ног до головы, обратился к Вершинину:

— Повесить бы, Никита Егорыч, — право, повесить лучше.

— Чего?

— Наших он вешал с усердием, ну и нам надо поусердствовать. Опять же, расстреляешь — надо могилу копать, землю на него тратить. А тут повесим на сосне, пускай болтается. И ворону пища.

Молодой коротконосый офицер вышел вперед и, делая под козырек, сказал Вершинину с чувством:

— Я адъютант генерала Сахарова. Это изверг. Я негодовал на него и негодую! Разрешите мне, гражданин командующий, веревку...

— Чего?

— Разрешите мне веревку намылить. Испытаю истинное удовольствие.

Вершинин посмотрел на адъютанта широко открытыми глазами и несколько отступил. Затем он сделал шаг вперед и — не то испугавшись, не то удивившись — дотронулся до рукава адъютанта, как бы не веря себе, что существуют такие дикие люди.

— Веревку — своему командиру?! Ах ты, сукин сын, сукин ты сын! И, поди, таблицу умножения знает.

И он обратился к генералу:

— Я бы тебя расстрелял, генерал, но — старики. Старики у нас нынче страсть злые. Пиши, Васька, ему приговор. Постой...

Подумав, он указал на адъютанта и сказал сурово:

— И этого тоже впиши в приговор! Его повесить первым!

Глава четвертая

ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬСОВ

— Партизаны у рельсов, — хрипло сказал Обаб, показывая телеграммы. — В телеграмме пишут: у рельсов вершининский отряд показался... А в городе спокойно.

Обаб грузно отодвинулся от окна.

— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина жиды. Дайте сигарету. Этот Пеклеванов непременно жид.

— Почему?

— Всех обвел. Он непременно у Вершинина. Разве бы он мог без Пеклеванова такое — с генералом Сахаровым...

— А что с генералом? Где он?

Обаб поднял высоко руку и помахал ею в воздухе. Сердце Незеласова похолодело.

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик, кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Сахаров.

— Ага! А где он?

— Партизаны повесили.

— Ага!.. Так, значит, мы с вами одни?

— Американцы подходят на помощь. Опять же японцы.

— А им известно о судьбе генерала Сахарова?

— Пока нет.

— Так и не сообщайте.

— Убегут?

— Непременно.

Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками:

— Люблю!.. — Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал: — Люблю, когда союзники бегут, — добра оставляют много.

— А если вас?

— Что?

— Оставят.

— Я двужильный, спасусь.

— Набрать воды и приготовить бронепоезд к отправлению!

Обаб ответил глупо, в рифму:

— По какому направлению? — И добавил: — А сахаровские угодья, Александр Петрович, теперь к вам, что ли, перейдут?

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну, не рассуждать — исполняйте приказание», — а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага! Кого мы с вами по телеграмме... Постойте.

Обаб шлепнул по животу бронзового кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.

— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стрелять — очень просто.

И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе, Обаб шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность... думать... Я что... лента, обойма... Очень нужно...

Капитан выскочил на перрон; надо проверить все самому: машинист Никифоров исполнителен вроде Обаба, но так же глуп. Кроме того, можно ожидать телеграмм из города. Вакансия командующего свободна. Кого-то назначат? Неужели дядю Вячу, переплетчика, генерала Спасского? Странно все-таки, черт побери! Как же это, Вершинин, мужик, мог захватить командующего вместе с его штабом? А не прав ли Обаб? Вдруг да Пеклеванов действительно руководит частями партизан? Значит, Незеласов должен сейчас во что бы то ни стало уничтожить Вершинина? Тогда, естественно, он встанет на место Сахарова? Ого! Иначе и быть не может! Значит, сейчас прежде всего нужно узнать, где главные силы Вершинина? «Ага! Он идет к станции? Отлично! Тут я его и встречу!» Сколько американцев и японцев? Ну что же, их можно поставить в центре, чтобы, так сказать, бодрость от союзников лилась равномерно во все стороны. Итак, нужно ждать подхода союзных войск!

«Ах, какая отвратительная, грязная станция! И неужели именно на этой станции родится моя слава?»

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуированными беженцами.

«Ненужная Россия, — подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив: — и ты в этой России».

Капитан сказал громко:

— Дурак!

Густо нарумяненная женщина оглянулась. Печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.

Пахло из теплушек пóтом, пеленками, и подле рельсов пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:

— О-о-о-е-е-е...

«Дизентерия, — подумал, закуривая, капитан. — Значит, капут».

Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колун и, шаркая босой ногой с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

— Куда повезут.

Кадык у него — покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.

«Редко, видно... говорить-то приходится», — подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля, — любовно проговорил старик, — отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля, — чекань монету... А вот, поди ж ты, бросил.

— Жалко?

— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно идти далеко... очень...

Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал головой. Как-то плечами остро и со свистом вздохнул:

— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблаго, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном. — А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надёжа на бронипоезду. Только. Ишь ты... Значит, нету?

— Никого нет...

— Совсем, вашблаго, прекрасно. Може, и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куды я обрать попрусь, скажи-ка ты мне?..

— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.

— И то говорю — умрешь еще дорогой.

— Не нравится здесь?

— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка рус-

ского не понимает. Зачервивешь тут. А может, лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?

— Не знаю, — ответил капитан.

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштановом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:

— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершинин подходит.

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции — солдаты звали его «четырехэтажным», — большеголовый, с седыми прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь.

— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!

— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.

И, втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил:

— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт подери!

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю. Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звоном шумел мокрый гаолян.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп фельдфебеля.

— Партизаны его... — зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой. — Вершинин... Они...

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

— Партизаны... Партизаны...

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:

— Ваш поезд нас не бросит?

— Не мешайте, — сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину. — Нельзя разговаривать!

— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..

Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к черту!

Опять принесли телеграмму. Кто-то неразборчиво и непременно припутывая цифры приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги.

— Но где же американцы, Обаб?

— Приближаются.

— А японцы?

— Рядом с нами. По ту сторону реки Мукленки, за мостом.

— А этот китаец откуда?

— Семечками торгует.

— Семечками — для отвода глаз. Все они, желтоглазые, так. Спросите, кокаин есть?

— Кокаин, ходя, есть?

— Кокаин нетю. Семечки есть.

Обаб и Незеласов ушли. Китаец Син Бин-у, глядя им вслед, спросил машиниста Никифорова:

— Его, капитана, шибко селдитый есть? Его солдаты мало? Палтизана боится.

— Солдат хватает.

— А сколько?

— Тебе какое дело?

— Моя дела нетю.

— Ну и молчи! Закон не велит говорить, понял? Я, брат, закон чту выше всего. И когда я его особенно чту, я, ходя, паровоз ставлю согласно закону о товаро-пассажирских поездах впереди поезда, понял?

— Это — холосо.

— Чего лучше!

— Смотли, амеликанса!

— Нет, первыми согласно закону подойдут японцы.

Действительно, первыми привезли японцев. Американцы появились часов пять спустя.

Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перрону.

Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорит по-русски, стараясь ясно выговаривать букву «р»:

— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо... Тя. Я есть коман-н-тил-л-рр-лован вместе.

И, внезапно повышая голос, выкрикнул, очевидно, твердо заученное:

— Уничтожит!.. Уничтожит!..

Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объясняли.

— Хорошо, — сказал Незеласов. — Прикажите, Обаб, готовить к бою.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел! — визгливо кричал он.

И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.

Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов...

Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

Капитан Незеласов сказал:

— Ну, бронепоезд 14-69, последнее слово российской техники, вперед, к славе!

«Объединенными русско-союзническими войсками, при поддержке бронепоезда № 14-69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка союзников выше всяких похвал. Преследование противника продолжается.

Начбронепоезда № 14-69 капитан Незеласов, № 8701-19».

Подписав приказ, Незеласов рассмеялся:

— Собственно, кто кого разбил — непонятно. Во всяком случае, генерал Сахаров повешен. Просто неприлично.

— Прикажете огласить второй приказ, господин капитан? — спросил почтительно Обаб.

— Какой?

— О присвоении вам чина полковника.

— Пожалуйста!

Незеласов был доволен: не тем, конечно, что ему командование, шагая через чины, дало полковника, а тем, что ему удалось захватить на одной из станций порядочно-таки вагонов со снарядами, принадлежавшими генералу Сахарову. Не спрятал, подлец, не скрыл!

— Ха-ха! Каково, повесили! Очень, очень жаль. Ему соседом бы быть по имению... мне! Знаете, мне рядом с

ним нарезали землю?.. — Незеласов вскочил: — Открыть огонь! Партизаны у рельсов!

Обаб бежал по бронепоезду, кричал артиллеристам:

— Огонь, огонь!

Глава пятая

ЧЕЛОВЕК ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, — пустота, бессочье.

Шестой день партизаны трех волостей, вожаки которых еще не успели связаться с Вершининым, уходили в сопки.

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади, по линии железной дороги, и глубже — в полях и лесах — атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, партизаны, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

А на седьмые сутки пришел в горы китаец Син Бин-у и рассказал о том, как Вершинин разбил части генерала Сахарова, а самого генерала повесил.

Мужичонка с перевязанной щекой, пришедший вместе с Син Бин-у, достал мелко исписанный листок бумаги, передал его начальнику отряда и сказал:

— А вам приказано идти на всеобщее соединение к Вершинину!

Партизаны собрали сходку, поговорили — и в ту же ночь свернули вправо, чтоб через Гранитный перевал пробиваться к Вершинину.

А к полудню другого дня Вершинин, подергивая мужичонку с перевязанной щекой за рукав рубахи, спрашивал:

— Лошадей-то много пригнали?

— Да есть, Никита Егорыч.

— Сколько?

— Да десятка два.

— Голова! Сотню, не меньше! Мне пушки сахаровские надо поскорее к рельсам. Осень. — Он тревожно посмотрел в небо. — Осень, того гляди — дожди, дороги разбухнут, земля здесь хлипкая, как доставим пушки к рельсам? А без пушек бронепоезда нам не взять! А на себе пушки к рельсам не потащишь, понял? Они тяжелые.

— Лошади будут, — сказал мужичонка неопределенно.

Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо... У-у-ух, как била! Амеликанса — тоже!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца и американца.

Вершинин сказал Ваське Окороку:

— Японец для нас хуже тигра. Тигр-от, допрежь чем китайца жрать, одежу с него сдерет — дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет — вместе с сапогами слопает.

Китаец обрадовался разговору о себе и сказал:

— Велно!

— «Верно, верно!» — с мягким неудовольствием поддразнил Вершинин. — А где кони? Где, я спрашиваю, кони для пушек? Уйдет, понимаешь, бронепоезд!

— Не уйдет, — сказал китаец. — Его метайся: туда-сюда метайся. Его не знай, что делать! Я на станции была, видала.

— Так-то оно так, а все-таки...

Широкие, с мучной куль, синие плисовые шаровары плотно обтягивали большие колени, а лицо Вершинина, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Расеи-то, Никита Егорыч, беспременно вавилонскую башню строить будут. И разгонют нас, как ястреб цыплят, беспременно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: «Никита Егорыч, самогонки хошь?» А ты — тала-бала, по-японски мне. А Син Бин-у-то, разъязви его в нос, на русском языке запоет. И чисто так, а?

Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел: не веря ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах земли и деревьев.

— Ой, не к добру эта теплынь, мужики, — сказал Вершинин. — Быть дождю.

Из лесов и сопок, клокоча, с тихими, усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры. Сердце, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

— Нонче в обоз ездил. Потеха-а!..

— Ну? — спросил Вершинин.

— Петух орет. Птицу, лешаки, везут! Я им: «Жрите, мол, а то все равно бросите».

— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души, значит, тяжесть...

Син Бин-у сказал громко:

— Казаки бу-хао. Нипонса — куна, мадама бери мала-мала. Бу-хао! Казаки пылоха. Кырасна руска...[1]

Он, скосив губы, швырнул слюной сквозь зубы, и лицо его, цвета золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыбалось.

— Шанго!..

Син Бин-у в знак одобрения поднял кверху большой палец руки.

Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

— Пылыохо-о... — и тоскливо оглянулся.

— А чем же плохо? — спросил Окорок.

— Дождь будет, — объяснил слова китайца Вершинин. — Это он к дождю тоскует. Вперед, ребятушки, поспевай!

Отряд пошел быстрее.

---

[1] Казаки плохие. Японец — подлец, женщин берет. Нехорошо! Казаки плохие. Красные русские...

Оглядываясь на горы и все ожидая коней, Вершинин не спеша шел за отрядом.

У подножия крутого, скалистого берега дорога обрывалась, и к утесу был прикреплен балконом плетеный мост. «Матерая», главная сила струи потока рвалась в камни, гремела, кидала вверх брызги: мост был весь мокрый, скользкий. Партизаны, ни минуты не задумавшись, вступили на мост.

— Мужики у нас хорошие, смелые, — сказал со вздохом Вершинин. — Вот кабы коней мне да пушки...

— Да бронепоезд! — подхватил Васька.

— А ты чего смеешься?

— Ну, куда нам, Никита Егорыч, на бронепоезд!

— А на вавилонскую башню хочешь ведь?

— Я шутя.

— А я всурьез.

— Про вавилонскую, Никита Егорыч?

— Нет, про бронепоезд.

— Ну?!

— Достань коней, тогда и нукай.

Перейдя подвесной мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привала, однако, решили не делать. Пройти Давью деревню, а там — опять в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины — ограды Давьей деревни — босоногий мужик подогнал игреневую лошадь и сказал:

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с партизанами дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а, чаем, придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да в сопки с вами думаем.

— Кто партизаны-то? Чьи?

— Не знаю. Не нашей волости, должно. Христьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строчат.

На широкой улице валялись телеги, трупы людей и скота.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно

стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их, — сказал Окорок. — Срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда, — спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю — тошнота с народом. Никоды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — нá, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно, что ехали-ехали, дедушка, а телега-то — трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

— Царева телега, говорю, сгнила.

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:

— Не пойму я... А?

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, бормотал:

— Ну, ну... какие нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.

Собачонка не переставала визжать.

Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно поцарапался.

— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит... Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожат все и опять-таки пожгет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул.

— Без рельсы пойдет! Раз они с японцами связались.

Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то...

— Зол дюже, и росту, бают, выше сажени, а борода...

Вершинину надоело слушать старика; подозвав мужичонку с перевязанной щекой, Вершинин сказал:

— Нашли мы у генерала динамит. Мукленку знаешь, мост?

— Маловопытные мы, Никита Егорыч.

— Других нету. Получай динамит и, покедова бронепоезд возится в тайге, взрывай мост.

С холма видно: скачет по лугу телега. В ней сидят трое партизан, держа на коленях ящик с динамитом. И видно им оттуда, наверное, мост через речку Мукленку. Кабы да сотни две таких лошаденок, и му́ки бы как не бывало! А то угнали мужики сахаровских коней, и теперь попробуй верни их обратно: конь сейчас дорог, ох как дорог, понятно. Понятно-то понятно, а коней надо собирать!

— Никита Егорыч, а?

Васька Окорок докладывал:

— Товарищ командующий! В направлении к бывшим позициям генерала Сахарова движется ему на подмогу американская сила.

— Американцы? Сколько?

— Силою до одной роты!

— Пошли мукленский отряд.

Подходили молодые парни с винтовками и гармошкой, горланя:

Ах, шарабан мой, американка!
А я, девчонка, да шарлатанка...

Вершинин недовольно поморщился и даже топнул.

— Да что они, другой песни не нашли?

— Песня хорошая, Никита Егорыч, веселая, — недоумевая, сказал Васька.

— Для пляски, а не для бою! Для бою песня должна быть плавная, дьяволы!.. Семью семь — сколько?.. Ну, никак не упомню!

В городе тоже жарко. Море недвижно. Эта морская тишь как бы помогает кораблям — один за другим входят

они в порт. С крепости доносятся салюты, и обыватели, шатающиеся вдоль набережной, одобрительно переглядываются: ах, эти слухи! Болтают, будто бы генерал Сахаров увез с собою все снаряды. Как же все, если пушки в крепости палят нещадно? И еще осмеливаются говорить, будто генерал Сахаров повешен партизанами!

— За подобные слухи, господа, вешать, да-с, вешать!

— А этот розовый корабль чей же?

— Итальянский.

— Извините, не итальянский, а португальский.

— Не все ли равно?

— Вот именно-с! Вешать!

По набережной идут подрядчик Думков, Надежда Львовна Незеласова и Варя.

— Сынок ваш как там? — спрашивает Думков. — Александр Петрович, то есть?

— Воюет, — со вздохом отвечает Надежда Львовна.

— Сюда бы его. Верно! Беда, скажем, с грузчиками.

— А что?

— Задумались. Мне вот корабль надо выгружать. Американцы товары привезли.

— Снаряды?

— Со снарядами что-то путаница. Ну, они пока мануфактуру.

— Слава тебе, господи! А то что же получается: спасаем Россию в голом виде.

Прогуливающиеся проходят мимо грузчиков, которые, прислонившись к сараю, лежат, глядя в небо. Надежда Львовна и Варя не замечают их, но Думкова бесит это несомненно намеренное равнодушие грузчиков.

Извинившись перед своими спутницами, Думков большими шагами идет к грузчикам и решительно останавливается.

— Ребята, али команды не было выгружать?

— Была.

— Чего же вы?

Молчание.

— Кто я вам?

— Подрядчик.

— Чего ж не выполняете моего приказания?

— А выполняй сам.

— Полицию позову, казаков, японцев!

— Дудки!

Мимо идет старый железнодорожник Филонов со своим узелком:

— Передачу сыну носил, не принимают. Докуда, господи!

— До забастовки.

— Забастовка! — шепчет подрядчик, поспешно отходя.

Филонов говорит грузчикам:

— Забастуете — либо вас всех перестреляют, либо в белую армию мобилизуют.

Слесарь Лиханцев, который тоже лежит среди грузчиков, продолжает рассказ, прерванный приходом подрядчика:

— И вот, значит, братцы мои, отвечают те французские докеры тем французским солдатам...

— Гляди-кось!

Веселый розовый молодой грузчик, приподнявшись, указывает на корабль. Гремит цепь, падает якорь.

— Японец?

— Американец, — отвечает веселый грузчик. — Понятно?

— Поношенный, понятно.

Мимо идет взвод американских солдат, навстречу которому — взвод японцев. Офицеры козыряют друг другу, а веселый грузчик говорит:

— Американец-то тоже поношенный. Ха-ха!

— Да и японец не лучше, ха-ха! Одежда новая, а рожи изношенные. Война.

— Конец! — И, обращаясь к Лиханцеву, грузчик спрашивает с интересом: — Ну и что же те французские докеры?

— ...и отвечают французские докеры тем французским солдатам: «Дудки!»

— Подожди! — прерывает веселый грузчик. — Я хочу спросить...

Ему хочется спросить, где Пеклеванов, в тайге или в городе, и что он думает. Но грузчик, взглянув в лица товарищей, которые, по-видимому, думают то же, что и он, понимает, что спрашивать сейчас о Пеклеванове нельзя...

— Чего ты?

— Не, я так... про себя...

Вечером начинается забастовка грузчиков.

Ночью в фанзу Пеклеванова приходит слесарь Лиханцев, а через полчаса Знобов. По мнению Знобова, забастовка грузчиков перерастет во всеобщую, а всеобщая...

И он, затаив дыхание, широко раскрыв глаза, смотрит на Пеклеванова.

Пеклеванов, понимая радость и тревогу, которой охвачен Знобов, говорит, кладя ему руки на плечи:

— Знобов! Лиханцев тоже принес важнейшее известие: артиллерийские склады действительно пусты.

— И верится и не верится, Илья Герасимыч. Может, беляки ловят нас на провокацию?

— На какую?

— На преждевременное восстание.

И Пеклеванов, хлопая в ладоши, говорит со смехом:

— Ах, как хорошо!

Нерешительно, как-то боком, словно все еще не веря приятному известию, он подходит к Маше:

— Маша, слышала? Как хорошо!

— Белые есть белые, — говорит Маша. — Выродки.

— Но все-таки не до такой степени! В такой ответственный момент увезти из города решительно все снаряды, а пушки оставить!

— Положим, у Сахарова пушки есть.

— Мало, мало!

Немного спустя пришел матрос Семенов. Знобов отвел его в угол фанзы и сказал, что решение ревкома — отправиться ему, Семенову, к Вершинину.

Семенов побледнел.

Знобов, не замечая бледности матроса, продолжал:

— Познакомишь Вершинина с нашим планом восстания и вернешься. Убеди его, чтобы вышел на линию железной дороги. Снаряды нам нужны, снаряды! Генерал Сахаров увез все артиллерийские снаряды. Пушки в городе есть, а снарядов нету.

— Знаю, — откачнувшись и бледнея еще сильней, проговорил Семенов, — да ехать не хочется!

Пеклеванов подошел и взял Семенова за руку.

— Мы не можем навязывать Вершинину свои планы. Но все-таки желательно, чтоб Вершинин, выйдя к линии железной дороги, захватил бронепоезд. И составы со снарядами! И, как предел наших мечтаний, привел бы их в город!.. Ах, как было бы хорошо!..

— Илья Герасимыч! Мне же хочется участвовать в восстании.

— Товарищи настаивают, Семенов.

Тайга горит.

Американский отряд идет по опушке леса, с опаской поглядывая на пожар, который медленно приближается. Пепел покрывает песчаную дорогу, плотные молодые сосны возле дороги. От дыма вокруг сумрачно, почти темно. Копоть ложится на лица. Куда ни взглянешь, все кладет на душу неприятный осадок.

Позади отряда небольшой обоз.

От обоза отстал возок, наполненный металлическими бидонами. Возница — молодой низенький солдат — спрыгивает с возка, осматривает колесо: кажется, повредилась ось. Второй солдат — высокий, узкий, с длинным лицом и большими зубами, в летах — смотрит на горящую тайгу и хрипло говорит:

— All is on fire, all! Why are we here? [1]

Молодой солдат поднимает голову:

— I'l tell you... [2]

Он не успевает докончить. Из плотных сосенок выскакивают с винтовками два мужика и две бабы. Солдат помоложе пытается сопротивляться, но баба пестом по голове успокаивает его.

— Вяжи! — приказывает рябой мужик самому себе и связывает высокого солдата.

Одна из баб — Настасьюшка Вершинина. Она молча смотрит, как ее подруга открывает бидон, заглядывает туда, поднимает его и пьет. Бидон дрожит в ее руках, и жидкость выливается.

— А скусно! — говорит баба, оборачиваясь к Настасьюшке. — Гляжу я на тебя, Настасьюшка, ты даже и не побелела. Неужто воевать-то тебе не страшно?

— Страсть страшно!

— А пошла?

— Мужик у меня стал сердитый, — говорит Настасьюшка. — И то сказать, не легко ему и не весело. А раньше веселый был.

---

[1] Все горит, все! Зачем нас сюда пригнали? *(англ.)*

[2] Вот что я тебе скажу... *(англ.)*

— Ничего, повеселеет.

Неподалеку слышны выстрелы, крики. Бабы, схватившись за руки, смотрят в сторону выстрелов.

Подходят партизаны:

— Чего это вы натворили?

— Да вот, человека чужих земель оглушили.

Мимо обгорелых изб, по косогору, к церкви шел Вершинин. Весь косогор заполнен всадниками, телегами, шалашами. К церкви, тоже основательно пострадавшей от пожара, ведет широкий проход.

— Никита Егорыч, из города какие вести? — спрашивали с телеги.

— Ждем, ждем!

Босой седенький мужичонка в рваной рубахе и портках остановился на дороге и горестно закричал:

— Никита Егорыч, исстрадался! Мировая революция скоро?

— А вот мы и есть мировая революция.

— Мы?

— Ты да я.

Босой мужичонка осмотрел себя с великим удивлением.

— Господи!

Навстречу Вершинину бежал Окорок.

— Васька! Как там у моста?

— Никита Егорыч, часа полтора прошло после взрыва — и никаких вестей! Взрыв все слышали — и ничего!

— Пошли навстречу.

— Никита Егорыч, мериканца, пришло сообщение, побили. Слышал?

— Не велика победа: какая-то там рота.

Вершинин шел на крышу церкви.

К церкви приставлены леса из бревен и сделано что-то вроде наката, пологой лестницы, по которой можно легко подниматься — и не одному, а многим: крыша церкви теперь и наблюдательный пункт, и местопребывание штаба.

Крыша обгорела, железо попортилось, валяется под ногами; проходящие часто задевают его, оно грохочет. Стропила отведены в сторону, кое-где настланы доски, а на колокольне, под колоколом, язык которого привязан

синим кушаком, — письменный стол, несгораемый шкаф и стулья.

Вершинин спросил у бритого партизана, который что-то писал в ученической тетрадке:

— От моста вести есть?

— Нету, Никита Егорыч.

Вернулся Васька. Вслед за ним плелся ветхий дед.

— Дед, а тебе чего?

— А я помолиться хотел. Вошел, а в храме-то пулеметы да ружья. Вы что с храмом божьим сделали, дьяволы? Бога рушить хочете?

— Тебе Расея, дед, нужна? — спросил Вершинин.

— А как же мне без Расеи жить-то? Чать, я тоже русский.

— Ну, так молись, дед, за Расею да за то, чтобы мост через Мукленку хорошо взорвали.

— Мост взрываешь? А кто мост этот строить будет? Опять мы?

— Откуда он взялся, провокатор тиковый? — воскликнул Окорок. — Дать, Егорыч, этой стерве в зубы?

Вершинин бормотал, сидя за столом и глядя в поле:

— Бог... Бог-то бог, да сам не будь плох. Бог вон дал карателям все село спалить, а себе колокольню оставил. Нам такого бога не надо! Трижды семь — двадцать один. Вот это верно. А то — бог!.. А девятью девять сколько? Вот это бог его знает. Васька, что там внизу орут?

— Подкрепление прибыло. — Наклонившись вниз с колокольни, Васька заорал: — Ребята, вы каких волостей?.. Подлисьевцы да комендантцы пришли, Никита Егорыч. Сколько народу-то подняли мы, Никита Егорыч! Не меньше как мильён!

Загрохотал настил под тяжелыми шагами, и показалась баба в розовом платке и высоких охотничьих сапогах.

— Православные! Никита Егорыч! Пленные! И сказывают, будто твоя Настасьюшка ловила!

— Хаживала и в море, чего ей на интервента не сходить, — спокойно сказал Вершинин.

Мужик, лысый, вполпьяна, бешено выгнал из переулка игреневую лошадь.

Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. — Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?

Колокольня наполнилась народом, прибежал и Син Бин-у. Поднялся рябой мужик, сопровождающий высокого американца. Рябой мужик сказал не спеша:

— Привели мы его к тебе, Никита Егорыч, как, значит, о справедливости твоей слава. Судите.

— Сам-то ты какой деревни? — спросил Окорок.

— Кто?

— Ты, говорю.

— Я-то? Мы вместе с нашим селом воюем... Пепино село, слышал?

— Пожгли, сказывают?

— Пожгли. Вот у вас хоть колокольня осталась, а у нас все село спалили. Ух, ты! — Рябой мужик смазал американца по шее, хотел смазать еще, но Окорок остановил его. Тогда рябой мужик продолжал: — Ну, встретили мы нонче баб по дороге. Те говорят: «Мериканцы, грит, шалят тута, ищем». Ну, пошли мы...

Рябой мужик хотел сплюнуть, но, оглядевшись и только сейчас поняв, что находится на колокольне, снял шапку, подошел к стропилам и сплюнул вниз. Держа шапку в руке и почтительно глядя на колокол, рябой мужик продолжал со спокойной злостью:

— А ехали они, мериканцы-то... В жестяных ведерках молоко везли! Чудной народ, как посмотрю! Завоевывать нас приехали, а молоко жрут с щиколадом!

Американец стоял выпрямившись по-солдатски и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились. Гнев их возрастал.

На американца пахнуло табаком и крепким мужицким потом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего там!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого его движения еще сильнее захлестнула тела мужиков злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь, забрались!

— Просили их!

— Дай ему в морду — и с колокольни!

— Чего там судить? Давно их осудили!

— Просили мы таких хозяев?

— Убить! — пронеслось в толпе. — Убить его, и никаких!

— Васька, не заслоняй. Ненароком и тебя заденем!

Ваську испугать трудно. Американец прижался к нему, и Васька с раздражением спросил у толпы:

— Убить? Убить человека всегда можно. Очень просто. Вон их сколько по нашим деревенским улицам, убитых-то, валяется. А нонче у нас, братцы, счастье. Генерала Сахарова повесили, американцев побили, мост через Мукленку взорвали, бронепоезд четырнадцать — шестьдесят девять в угол загнали! Мы вот пообедаем, самогону выпьем, а тогда, почесть, голой рукой этот бронепоезд заберем. Вот и выходит, что... Надо нам, братцы, упропагандировать эту американскую курву!

От слов Васьки мужики развеселились, захохотали.

Лысый мужик, брызжа слюной, закричал Ваське:

— Да ты хоть прореху-то застегни, Васька!

— Валяй, Вась, запузыривай!

И между собой, на крыше и по настилу, мужики разговаривают:

— Васька любому втемяшит.

— На камне и то слова долбят, а это, какой ни есть, человек.

— Вникай... — сказал важно китаец.

— Лупи!..

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые красно-бронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Васьки, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни. Подробно. Нехорошо, мол.

— Зачем нам мешать!

— Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди вы хорошие, должны понять. Такие же крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Окорок тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас, поди, этого не знают, за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...

— Верно: чужой земли человек.

Китаец Син Бин-у подхватил:

— Своя земля в полядок, а? Моя Китая тоже в полядок нада, а?.. Твоя полядок нам не нада!

— Верно, верно, китай!

— Тоже — человек чужой земли, а понимает.

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I don't understand! [1]

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не Вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики несколько отступили от американца.

Вершинин почувствовал смущение.

---

[1] Я не понимаю! *(англ.)*

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, — сказал он.

Васька не соглашался, упорно твердя:

— Нет, он должен нас понять! Тут надо слова найти... Эх, кабы книжку с картинкой... С картинкой бы, говорю, черти!

— Да какие там картинки, Васька, — сказала баба в розовом платке. — Были книжки, да ведь русские, а и те покурены.

— Он поймет! Тут только надо книжку... али слово какое... такое, чтоб...

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син Бин-у лег на землю подле американца и, закрыв ладонью глаза, пронзительно тянул китайскую песню.

— Му́ка мученическая, — сказал тоскливо Вершинин. — Нету никаких слов!

— Есть, — задумчиво и еще нерешительно, еще не веря, сможет ли достаточно веско проговорить это слово, сказал Васька. — Есть! Есть слово.

Васька радостно взмахнул руками, схватил американца за грудь, подтянул к себе и в упор сказал:

— Ты, парень, слухай!

Васька очень раздельно, все более повышая голос, закричал:

— Ле-е-е-ни-ин... *Ленин!..*

Это слово гремело над крышей, над настилом, который заполнили партизаны, над площадью. Мужики, бабы, дети подняли головы все вверх, высунулись из шалашей, замерли на конях.

— *Ленин!*

— Ленин? — тихо, словно не узнавая своего голоса, спросил американец. — Ленин?

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин, — повторил твердо и громко Васька и както нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— That is a boy! [1]

---

[1] Вот это парень! *(англ.)*

Васька стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— Ура! Hurra! All right! [1]

Мужики радостно захохотали:

— Понимает, стерва.

— Вот сволочь, а!

— А Васька-то, Васька, по-мерикански кроет!

— Васька, ты ихних буржуев-то...

— По матушке!

Сквозь толпу баба в розовом платке притащила снизу, из церкви, громадную икону, объясняя по дороге:

— Вот разве по такой картинке? Она хоть и святая, так и тут святое дело разъясняется.

Васька взял у нее икону и, не задумываясь, весь охваченный восторгом, сказал:

— Святая? Мы и по святой можем.

Послюнив палец, Васька растирал надпись, чтобы прочесть.

Икона, намалеванная без особого искусства, изображала библейскую легенду: бог, чтобы испытать верность Авраама, велел ему принести в жертву сына своего Исаака. Авраам немедленно повиновался — он положил Исаака на связку дров и занес над ним нож. Бог на облаках с умилением созерцал это жертвоприношение. Икона новая — ее совсем недавно пожертвовал в церковь лавочник Обаб, заказавший ее в городе — за полпуда муки — известному художнику, беженцу, когда-то богатому петербуржцу. Лавочник, слушавший проповеди епископа Макария о крестоносцах и о жертвенности Авраама, решил, что сам он не хуже ветхозаветного Авраама, а сын его, прапорщик Обаб, тоже вроде Исаака. Дай бог, чтоб кончилось тем же, чем кончилась история с Авраамом: там, кажется, господь отвел руку его...

Васька, тыча пальцем в икону, медленно прочел американцу:

— «Авраам приносит в жертву Исаака». Очень хорошо. Слухай! Вот этот, с ножом-то, буржуй. Ишь, брюхото распустил! Часы б ему с цепочкой на такое брюхо.

---

[1] Прекрасно! *(англ.)*

А вот тут, на бревнах-то, связанный вьюноша — пролетариат лежит. Понял? Пролетариат.

— Пролетариат. Работчи... я... работчи... — показывал жестами американец. — Ауто... I am a worker from Detroyt auto-works [1].

— Поняли? — закричал всем Васька. — Рабочий он! Насильно его буржуи мобилизовали! — И Васька продолжал: — Смотри. Ну вот, лежит наш пролетариат на бревнах, а буржуй его режет. А вот тут, на облаках, в виде бога, американцы, японцы, англичане, вся эта сволочь империализма сидит и войной распоряжается! Против нас, понял?

— Империализм? — спросил американец. — Империализм долой!

— Верно! Долой.

— Гони их!

Васька с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Империализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а. Мерикансы ресыпубылика-а — бу-хао. Нипонсы бу-хао, нада, нада ресыпубылика-а. Крыа-а-сна ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец кверху, проговорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

— Кому глаза завязывать? Никому глаза завязывать не будем: пусть все видят, как мы свою советскую землю защищаем.

И мужики согласились:

— Не выдаст.

А Васька кричал с крыши:

— Упропагандировал! Разъяснить всем можно. Надо только сердце иметь.

---

[1] Я рабочий Детройтских автомобильных заводов *(англ.)*.

И он запел, и молодые парни подхватили:

Табак английский,
Мундир российский,
Погон японский,
Правитель омский...

Эх, шарабан мой, американка!
А я, девчонка, да шарлатанка!
Табак скурился,
Мундир сносился,
Погон свалился,
Правитель скрылся...
Эх, шарабан мой, американка!..

Под эту песню Вершинин спустился по настилу вниз, в толпу, через которую вели повеселевшего американца.

— Васька! — крикнул Вершинин вверх. — Сказывают, скачет кто-то, погляди. Не от Мукленки ли? Где они пропали?

Спустился Васька и тихо сказал:

— От Мукленки все нет и нет. А это кто-то другой.

Вершинин посмотрел в бинокль, опустил его и с тревожным видом сказал:

— Матрос Семенов, из города.

— Не от Пеклеванова ли?

— От кого другого ему и ехать? Беспокоюсь я, Васька. Пеклеванов дисциплину потребует, а у нас? Где, скажет, кони? Кого в пушки запрягать?

Поэтому Вершинин разговаривал и радостно, и сдержанно, и грустно. Семенов его хвалил, передавал похвалы Пеклеванова и всего ревкома, а Вершинин, нехотя улыбаясь в бороду, бормотал:

— Зря хвалишь, зря. Вот мост через Мукленку взорвали... жду вестей, а их нету. Речь мужикам не скажешь ли?

— Можно.

Семенов говорил речь о забастовке в городе, которая уже переросла во всеобщую, о том, что вся РСФСР с напряжением наблюдает за борьбой партизан против интервентов, — говорил он долго, пылко, так пылко, что кожаная потрескавшаяся и порыжевшая куртка на его плечах взмокла и стала черной. А Вершинин все думал о Мукленке, о сахаровских пушках и лошадях. Лошадей все нету и нету. Когда Семенов, окончив речь, весь дрожа

от пережитого волнения, спустился к Вершинину, он услышал все то же:

— Ничего от Мукленки нету, беспокоюсь.

— Боишься, не победим?

— Зачем бояться? — ответил Вершинин. — Конечно, может, нас с тобою, Семенов, ухлопают, а мы таки победим. А если сказать по правде, я вот больше всего боюсь того, как мы такой страной будем править?

Семенов, вытирая нос рукавом, ответил:

— Научимся, Никита Егорыч.

— Научимся! Ты бы вот ране платок завел, а потом и хвастал. Васька, принеси-ка генеральских платков.

Васька ушел. Вершинин объясняет Семенову:

— Парень хороший, но болтун. Отчего же тебе не страшно, что мост через Мукленку уцелеет?

— Оттого, Никита Егорыч, не страшно, что ревком просит тебя забрать бронепоезд и составы с артиллерийскими снарядами, которые этот бронепоезд конвоирует. — И Семенов тихо говорит: — Все снаряды генерал Сахаров отправил в тайгу, а пушки частично. Ясно? Пушки, оставшиеся в городе, мы можем захватить, а какая в них сила, если нет снарядов? Ясно?

— Ясно-то ясно... — Помолчав, Вершинин спросил: — Ты вот говоришь, научимся. И что же, долго учиться придется?

— Кому?

— Нам с тобой?

— Лет пять.

— Ну?

— Что, мало?

— Нет, не мало. А кто меня это время кормить будет?

— Народ.

— За что?

— За твои заслуги.

— Да нету их пока, нету! — Вершинин спросил тихо: — На какой день восстание назначено?

— Сегодня воскресенье. В среду, значит. Ясно? Что же сказать, Никита Егорыч?

Вершинин, помолчав, ответил:

— Как здоровье-то Ильи Герасимыча?

— Здоровье ничего.

— Умный человек. — И, еще немного помолчав, добавил: — Все, что ревком приказывает, сделаем.

Тарантас ускакал. Уехал Семенов. Подбежал Окорок, подал Вершинину пачку носовых платков. Вершинин отмахнулся.

А к Вершинину медленно и боязливо идет мужик с подвязанной щекой.

— Скорее! — закричал Вершинин. — Ты от Мукленки?

Подбежав и откинув назад голову, словно боясь удара, мужик с перевязанной щекой хрипло прошептал Вершинину:

— А моста-то мы, Никита Егорыч, не взорвали.

— Не взорвали? — стиснув зубы, спросил Вершинин.— А грохот откуда?

— Ребята маловопытные, пробовали, что ли... Я позади шел, кисет искал. Ну и вышло, что сами себя взорвали. Подбегаю. Кровь да шапки... Один только, Никита Егорыч, я и уцелел.

— Уцелел ли? — спросил Вершинин, стреляя в мужика.

Вершинин со сжатыми кулаками, подергивающимися губами, побелев от гнева, шел вверх по накату к колокольне.

Он дошел до стола, опустился на стул, обхватил голову кулаками и завопил во весь голос:

— Стыд-то какой! Наврали мы с вами, мужики, Илье Герасимычу, нахвастались! А, горе! «Поднимай восстание, Илья Герасимыч, мы снаряды привезем!» Где там снаряды привезем! Бронепоезд в город прорвется.

Он вскочил, рванул кушак, которым привязан язык колокола. Вне себя от бешенства закричал:

— Всем в бой! Набат бью, набат!

Над толпой тревожно, набатно звенел колокол.

Туман стелется над мостом через Мукленку, над насыпью, покрывает поля, подходит к косогору, на котором церковь, занятая штабом партизан.

Вечер. Тихо. Не колеблясь, горит огонек керосиновой лампы. За столом — Вершинин, два рыбака, Син Бин-у, а несколько поодаль — Васька Окорок и Настасьюшка. Вершинин говорит партизанам:

— Туман лег. Поедете морем. Каждый в отдельной лодке. Син Бин-у, проводи их до моря.

Вершинин неподвижно смотрит в стол. Потом, не глядя на партизан, глухо говорит:

— Скажите Илье Герасимычу: боимся мы, не успеем к среде.

— Где успеть! — говорит рыбак Сумкин. — Я объясню.

— К мосту послал отряды. Да там казаки, пулеметы, дня три, не меньше, будут биться. Опять же и у капитана Незеласова орудия! И тут туман. Того гляди — дождь, грязь... — И он добавил: — Просим Илью Герасимыча, чтоб хоть дня на три отложил восстание. На воскресенье просим назначить.

Он пристально смотрит на партизан:

— А только дойдете ли вы до города?

Опять помолчав, подумав, хрипло говорит:

— Настасья!

— Позвольте мне, Никита Егорыч, — просит Васька Окорок.

— Молчи. Настасья!

К столу подходит Настасья.

— Тоже пойдешь к Илье Герасимычу. Слышала, что говорить? Но чтоб у меня... Белые поймают, жилы вытянут — молчи.

— Да уж знаю, Никита Егорыч, когда молчать, — ответила Настасьюшка. — Да только малограмотная я...

— Тут не грамота нужна, Настасья, — смелость.

Глава шестая

„ГДЕ НАКРАПЫВАЕТ, А ГДЕ ЛЬЕТ“

Восемь ворот рынка уставились на широкую набережную, мокрую от мелкого дождя, на который, впрочем, никто и внимания не обращал.

Блестели овощи, телега, глиняная посуда, приказчики играли ситцами в лавках, из трактира несло запахом щей, звенел бубен, и пела цыганка. В чешую рыб ныряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно кричали:

— Покупайло еси?.. А-а?

Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнущий илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил матросу Семенову с неудовольствием:

— Наше дело рушить, а? Рушь да рушь, надоело. Когда строить-то будем! Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос Семенов спустил ноги к воде, играя подошвами у бороды волны, спросил:

— На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки, — рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город...

«Веселый человек, — подумал Знобов. — Беззаботный».

— Японца я могу. Японца здесь много!

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, проговорил шепотом:

— Японца надо особенного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай! Можно и войскам ихним.

Он представил себе желтый листик бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся.

— Они поймут!

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе как только наткнешься.

Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу.

— Ишь, сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь!

Знобов вздохнул:

— Найти трудно. А надо.

— Найдем. — И матрос тихо спросил: — К Пеклеванову нам не пора?

— Попозже, когда дождь разойдется. Как там, у Вершинина, насчет дождей?

— Вроде начались.

— Помешают?

— Могут и помешать, если ливни.

— Вот я и говорю: хорошо бы прокламацию. Нам мешают дожди, им — прокламации.

— Так и сравняемся, ха-ха!

— Смешлив ты что-то.
— Время. Со смехом веселее.
— Гм. Им что, тоже веселее?
— Кому?
— Да вон этим, интервентам!

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шхуны, лодки рыбаков.

— Кабак, а не Расея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди, мы им холку натрем.

— Пошли? — спросил Знобов.

— Давай выигрывай ветра. Бейдевинд, ха-ха!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на матросов, нагло хохотали.

— И-й, матросики! Чей же океан-то теперь? Японский, американский или все-таки русский?

Прошли молча: конспирация.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строют. Да и ухни он! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос Семенов повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиновый хворост, изморенные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные

грязным бельем телеги. Белье эвакуировали из Омска по ошибке вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстания.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море. И по-иному из-за далекой линии горизонта — тонкой и звенящей, как стальная проволока, — задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Семенов торопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.

Знобов думал о японцах и, выбирая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо:

— Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают. — Он ухмыльнулся: — Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?

— Троих взяли.

— Да-а... Ты уж Пеклеванову об этом не говори: зачем волновать?

— А он и не взволнуется. Кроме того, у меня ему подбодрение есть.

— Какое?

— Услышишь.

— От Вершинина?

— Нет, городское.

— Ну-у?!

Пеклеванов очинял ножичком карандаш; на стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.

— Вы часто приходите, товарищ Знобов, — сказал Пеклеванов. — Чрезвычайно часто. А, Семенов! Добрались к Вершинину?

— Так точно, добрался.

— И?

Семенов положил потрескавшиеся от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:

— Народ робить хочет.

— Ну?

— А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне было неловко, будто невесту богатую уговариваю.

— Понимаю.

Семенов, передавая мысли партизан, продолжал с несвойственным ему напряжением:

— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чисто огонь — не разбират.

— Пройдет.

— Знаем. Кабы не прошло, за что умирать? Мост взорвать хочут.

— Прекрасно. Инициативу нужно. Чудесно!

— Вершинин сказал: «Начинайте восстание, а я приду к сроку».

— Так и сказал?

— Прямо.

— Великолепно! Город ведь готов, да?

Знобов снял фуражку, пригладил волосы, словно показывая, как готов город.

— Обязательно.

— Бейдевинд, ха-ха!

— Что? — спросил Пеклеванов.

— То есть корабль на правильном курсе, товарищ председатель ревкома.

И Семенов продолжал:

— Не знаю, как у вас, товарищ председатель, а у меня такое чувство, что мы в городе не одни.

— Ну, само собой разумеется! Нас — тысячи, десятки тысяч.

— Нет, я в смысле руководства.

— То есть?

«Ага, это и есть приготовленная радость», — подумал Знобов, с любопытством глядя на матроса Семенова. Пеклеванов тоже смотрел на него с не меньшим, чем Знобов, любопытством.

— То есть, Илья Герасимович, есть признаки, что в городе существует второй большевистский центр — так сказать, пар... пара...

— Параллельный?

— Вот-вот!

— А зачем он? — спросил Знобов.

— Один провалится, другой берет восстание в свои руки: чтоб без осечки. Иначе многое непонятно...

— Даже многое? — сказал Пеклеванов, с возрастающим интересом прислушиваясь к словам Семенова. — А именно?

— Ячейки имеются в таких местах — скажем, в штабе военного округа, — куда доступ членам нашего ревкома невозможен. Ко мне сегодня подошел один служащий из штаба — и день восстания в качестве мандата назвал. Я сначала подумал, что провокатор, а вгляделся — наш. И трое еще...

— Чудесно! Я рад.

Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянит щеки.

Матрос протянул ему руку, пожал, будто сок выжимая.

— Я тоже рад, Илья Герасимыч.

А Знобов подумал с умилением: «Вот они, большевики-то! Другой бы разозлился: что это, мол, параллельный центр заводите, не известив, обиделся бы: мол, не доверяете моим способностям, а этот только радуется».

От забот и трудов Пеклеванов в последние дни очень изменился, похудел. «Да и, должно быть, тюремная жизнь откликнулась!» — продолжал думать Знобов, глядя с жалостью на Пеклеванова.

«Хороший ты человек, а начальник... того... хлипкий». И ему захотелось увидеть другого начальника — здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову.

На столе валялась большая газета, а на ней хмурый черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахару.

«Птичья еда, — подумал с неудовольствием Знобов. — Может, это от плохой пищи он так похудел? Да и жена тоже. Чем бы помочь?»

Знобов раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь...

— Напечатаете?

Семенов отозвался:

— А типография штаба округа зачем? Там же существует ячейка... — И он проговорил с усилием: — Параллейная!

— Тогда печатайте!

И Пеклеванов передал Семенову написанную утром прокламацию. Семенов взял ее дрожащими от изумления и восторга пальцами.

«Вот это да, революционер! Не нам чета».

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу, Илья Герасимыч!

Когда Семенов и Знобов вышли, Маша сказала обиженно:

— Предыдущий?! Дурацкое слово.

— Почему?

— Человек прошлого, значит.

— Ну да! Но что здесь обидного? Ведь он имеет в виду, что «пред'идущий человек» — это человек пред'идущей революции, то есть революции тысяча девятьсот пятого года.

— А я и не поняла!

— Семенов сложноват в речи, но прост в делах и мыслях.

— Пожалуй. А параллельный центр, по-твоему, существует?

— У меня похожая мысль мелькала и раньше. Во всяком случае, об этом приятно думать, верно? И, разумеется, не ослаблять работы... Позволь, а это что такое? Откуда?

Пеклеванов, щурясь, наклонился.

У ножки стола, полускрытая вязаной скатертью, стояла бутылка водки.

— Семенов принес. И колбасу.

— Тоже превосходно.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

— Да-а... предыдущий.

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.

Выйдя из переулка на улицу, Знобов увидал у палисадника японского солдата.

Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.

— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Ню! Сиво лезишь!

Знобов скривил лицо и передразнил:

— Хрю! Чушка ты. К тебе с добром, а ты с хрю-ю! В бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых ресниц оглядел Знобова поперек — от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика сюпולочь. Ню?..

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел на задорно блестевшие бляшки пояса. Сказал с сожалением:

— Дурак ты, милый мой, дурак!

А дождь, холодный почти по-зимнему, стегал да постегивал разгоряченные их лица.

Японец ушел. В палисаднике стайкой, дружно, словно подбадривая один другого, чиликали воробьишки. Поглядывая на них, Знобов думал об японце. Будь бы их тут несколько, а не один, может быть, и разговорились бы.

— А одинокому не чиликается!

Мелкий ледяной дождь пробивался сквозь туман. Морские волны мельчали. «Ситничек, — думала Настасьюшка, держась за борт лодки, — а гляди-ка, море усмирил. Компас-то есть ли у рыбаков? Как бы нам с курса не сбиться».

Точно отвечая на ее мысли, рыбак Сумкин сказал:

— С курса не собьемся, а вот, кажись, катера японские снуют, это верно. Суши весла, ребятушки! Надо разобраться.

В тумане послышался отдаленный свист. Сумкин привстал и тоже начал насвистывать. Минуту спустя показалась легкая и узкая лодка. Приблизился совсем древний старик, весь укутанный сетями. Помахивая рукой, точно отгоняя комаров, он сказал беззаботно:

— Поворачивай, Сумкин. И другим передай, если есть

другие, чтоб поворачивали. Катера через каждые двадцать сажен. Где пробиться?

— Чугункой ей пробиваться, что ли?

— Должно быть, чугункой.

Лодка повернула к устью реки.

По дороге к станции Настасьюшка и Сумкин обогнали китайца Син Бин-у. Китаец, мелко шагая, тащил на спине большой мешок семечек.

— Ты в город, китай?

— Не, — весело отозвался китаец, — моя опять станция посылай. Моя опять капитана Незеласов, его блонепоезда смотреть нада.

— Повесят тебя, — сказал Сумкин, — вот тогда и насмотришься.

— Твоя моя не узнавай, тогда вешать нетю, — по-прежнему весело улыбаясь, ответил китаец. — Твоя моя не знай.

— Ладно, ладно, не узнаем, — отозвалась Настасьюшка. — Ты вот только скаже мне: Никита Егорыч коней получил, чтоб пушки везти?

— Его коней нетю. Его мужикам сказала, что пушки на себе тащить нада.

— Плохо.

— Пылыохо, пылыохо, — все еще весело скаля зубы, проговорил китаец. — Площай!

— Прощай!

Хотя станцию от моря отделяли горы и тайга, морской туман и мелкий дождь здесь такие же, как и на море. Дым из тайги, смешиваясь с туманом, придавал совсем мрачный вид бревенчатым зданиям станции, вагонам бронепоезда и множеству теплушек, возле которых толпились беженцы. Возле составов с длинными платформами, покрытыми брезентом, ходили часовые. Там мелькнул Син Бин-у. «Должно, снаряды на платформах, — подумала Настасьюшка, — чего их иначе прикрывать?»

Сумкин передал ей узелки, и Настасьюшка попробовала втиснуться в теплушку. Дама в меховом манто спросила у нее:

— Почему это, на какую бы станцию ни пришли наши теплушки, туда непременно явится бронепоезд? И еще вдобавок целые составы снарядов! Вдруг да подойдет Вершинин и начнет взрывать эти снаряды? Мы не только сгорим от таежного пожара, но вдобавок и взорвемся.

Шел, пошатываясь, прапорщик Обаб. «Ой, узнает!» — подумала Настасьюшка со страхом и прикрыла лицо узелками. — У пьяного на знакомых глаз вострый, а он гляди как налакался».

Беженка в манто закричала Обабу:

— Господин прапорщик, что слышно про Вершинина?

— Американцы ухлопали, — ответил пьяным голосом Обаб. — Так в городе и скажите. Ухлопали, мол, Вершинина, конец его безобразию. Сейчас к бронепоезду тело его привезут.

— Мы успеем посмотреть?

— Некогда, некогда.

«Брешет! Брешет же!» — уговаривала себя Настасьюшка.

Ей не хотелось теперь идти в теплушку, но толпа втолкнула ее, и поезд отошел.

А по перрону шел Син Бин-у с корзинкой семечек. Он брал горсть, сыпал ее обратно в корзинку и приговаривал:

— Сипко холоси семечко есть! Покупайла, покупайла.

Опять к нему подошел Никифоров, машинист с бронепоезда; только теперь его сопровождал помощник Шурка. Никифоров, как всегда хмурый и неторопливый, подставил карманы и, как всегда, сказал:

— Сыпь. Два стакана.

— Ды-ыва?.. А-а!.. Моя твоя знай ести... Никиполов ести? А-а! Знай! Твоя сильно инстлуксия исполняй ести?

— Инструкция? Вот дам по ряшке, так узнаешь инструкцию! Инструкция есть закон. Понял? А без закона человек до чего доходит? Царя свергает, бестолочь! Сыпь, тебе говорят, два стакана.

Син Бин-у насыпал.

— Дыва. А деньга?

— Чего? — в негодовании спросил Никифоров.

— Деньга давай.

— Патент имеешь?

— Патента? Нетю.

Никифоров замахнулся. Но, несмотря на взмахи его кулака, Син Бин-у тащился за машинистом через всю станцию. Наконец Никифоров крикнул охрану, и тогда китаец отстал. Но тут к нему подбежал Шурка. Китаец

протянул ему корзинку. Шурка, глядя неподвижно на китайца, с напряжением думая о своем, тихо сказал:

— Мне семечки, китай, не надо. Не до семечек мне. Ты слушай меня, китай. Не могу я белым служить, не могу! К партизанам хочу.

Китаец с деланным недоумением спросил:

— Кто его, палтизана, есть?

— Не морочь мне голову! Я тебя знаю. И хочу я не бежать, а сдаться партизанам вместе с бронепоездом.

— Блонепоезда капитана есть. Твоя есть помосника масиниста. Твоя сдавать плава нету.

Шурка быстро и страстно заговорил:

— Слушай, китай! Сейчас отправляемся. Туман, пойдем медленно. Что-нибудь на линии устрой... Ну, положи... тушу там, чтобы кто-то двигался, шевелился... человек, что ли... Согласно инструкции...

Ледяная тоска, недоверие мешали китайцу. Преодолевая эту тоску, китаец вглядывался пытливо в разгоряченное лицо Шурки. Да нет же! Какой он предатель. Сквозь весь окружающий туман и дым душа паренька рвется к свету и ликует. Нет, ему можно довериться.

— Его, масиниста, живи по инстлукции, а?

— Вот-вот, по инструкции! Положите на рельсы тушу. Машинист товарного поезда, увидав тушу, должен остановиться. Он живет пока по товарной инструкции, понял?

— Его нету туша. Его лошадей нету. Его лошадей собрать не можно. Человека положить можно.

— Ну, и человека.

— Меня положить нада, а? Знакомый? Его думай — китайца бандита убила, китайца ему масиниста смотреть нада, а?

— Вот-вот.

Давно уже слышен был голос Никифорова, который звал Шурку на паровоз, а Шурка все еще шептал китайцу:

— Машинист голову высунет, ты его снимай! Пулей. Понял? А я, китай, притворюсь, что не могу вести бронепоезд.

— Шурка!

— Бегу! Китай, понял? Человека-а...

Шурка, щелкая семечки, убежал.

У себя в купе Незеласов встретил прапорщика Обаба очень недовольным взглядом. Что таскаться к телеграфисту, если вести одни и те же? Прапорщик, кажется, пьян? Хуже — он растерян.

Ворочаясь на диване, Незеласов сказал:

— Неудобно. Неудобно тут лежать. Сколько за войну валялось людей на этом диване, подумать страшно.

— Разрешите доложить.

— Нуте, докладывайте, голубчик.

— Для успокоения взволнованных, господин полковник, распространяю слух, что Вершинин убит и тело его с минуты на минуту будет доставлено в бронепоезд.

— Неглупо. Телеграфная связь с городом восстановлена?

— Так точно.

— Пошлите телеграммы. Шифрованную в контрразведку и нешифрованную — Варе. Текст телеграмм основываю на вашей выдумке. «Имею связь Вершининым точка Вершинин согласился указать местонахождение Пеклеванова».

— Да это же неправда, господин полковник!

— Ложь?

— Так точно, ложь.

Незеласов посмотрел в потолок, сел, закурил и сказал мечтательно:

— А какое удовольствие распустить косу или заплести косу своей невесте!

— Теперь ведь они стригутся! — воскликнул Обаб с ужасом.

— Именно, именно стригутся. — И, стуча кулаками по столику, Незеласов крикнул: — Поймать мне какого-нибудь мужика! Это все для той же цели, которая обозначена в телеграмме.

Выдумка Обаба казалась Незеласову очень удачной, а выдумка относительно Пеклеванова — еще удачнее. Город болтлив вообще, а в эти дни, объятый страхом, стал болтливым вдесятеро. Слух о предательстве Вершинина окажется чрезвычайно полезным. Сторонники Пеклеванова не будут столь ретивыми, как прежде, и Незеласов выиграет время. Вершинина он вызовет к рельсам, к бронепоезду, разгонит его шайки артиллерийским огнем, мужики обвинят своего вожака и выдадут. Главное —

не дать партизанам подобраться к платформам со снарядами. Да, да, они могут их взорвать.

— На платформы со снарядами поставить пулеметы!

— Осмелюсь доложить, господин капитан...

— Обаб, вы понизили меня в чине, ха-ха!

— ...господин полковник, пулеметов у нас мало, и нельзя ослаблять бронепоезд.

— Того более нельзя, чтобы партизаны взорвали поезда со снарядами.

Незеласов с наслаждением наблюдал, как солдаты ставили пулеметы на платформы. Подбежал Обаб.

— Готовы, господин полковник!

— Пулеметы? Где же они готовы?

— Мужики, партизаны.

Солдаты подвели трех мужиков. Один из мужиков, волосатый, бородатый, басистый, похожий на дьякона, бросился в испуге к ногам Незеласова. Двое других держали себя спокойно, и Незеласов сказал, указывая на них Обабу:

— Этих расстрелять, а этому идти со мной.

И он увел с собой бородатого мужика. Поглядев задумчиво вслед капитану, Обаб достал портсигар, взял папироску, постучал ею о крышку и сказал со вздохом мужикам:

— Ох, и надоели вы мне! Которых уже стреляю — не помню.

В купе перед Незеласовым, бестолково хлопая глазами, стоял волосатый и благообразный мужик. Незеласов переспросил:

— Ну, понял?

— Никак нет, ваше благородие.

Вошел, застегивая кобуру, Обаб. Незеласов, с раздражением глядя на мужика, повторил:

— Ты придешь к Вершинину и скажешь: «Во саду ли калина!» Он тебе ответит: «Во саду ли малина!» После этого ты объясни, что Незеласов торопит его. Пусть скорее скажет тебе, где находится Пеклеванов. Понятно?

— Никак нет!

Мужик по-прежнему бестолково хлопал глазами.

— Ты, никак, села Покровского? — расстегивая кобуру, строго спросил Обаб.

— Покровского.

— Меня знаешь?

— Вроде не признаю, ваше благородие.
— Обаб.
— Лавочника Обаба сынок?
— Купца. Так вот пойми, дурья голова. Вершинин мне нас выдал, и я сжег село. Понятно?
— О господи!
— Вершинин — предатель. Понятно?
— Так точно, о господи!
Обаб высунулся в окно и сказал часовому:
— Мужика выпустить на волю. У вас есть привычка выпустить да стрелять вслед. Так скажи, чтоб такого не было.
Бородатый мужик ошалело побежал по перрону. Глядя ему вслед, офицеры, смеясь, переглянулись.
— Правде не верят, — сказал Незеласов, — а ложь всегда убедительна. Конечно, такая ложь не ахти хитрая, но все же интрига.
Он возбужденно потоптался, взял портсигар Обаба, раскрыл его, закрыл, затем схватил бронзового божка, постучал по нему портсигаром. Лицо его горело, он весь дрожал.
— Вершинин, узнав, что его подозревают в предательстве, должен, по-моему, атаковать наиболее важный пункт. Какой же пункт наиболее важен, по его мнению?.. Мукленка! То есть мост через Мукленку. Этот мост он пытался взорвать, ему не удалось, и сейчас он направит туда все свои силы, сам будет там находиться, подтянет артиллерию, захваченную у генерала Сахарова. К счастью, у Вершинина не так много артиллерийских снарядов, и пушки его будут стрелять недолго. Как вы относитесь к моим размышлениям, Обаб?
— Они правильные, господин полковник.
— Тогда командуйте — бронепоезду к мосту через Мукленку.
— А составы со снарядами, господин полковник?
— Следом за нами.
Обаб замялся.
— Что?
— Туман. Опасно. Пожалуй, лучше составы не трогать.
— Оставить их на станции? А вдруг партизаны, упаси господи, перережут сообщение, и мы почему-либо останемся без снарядов? Нам в город без снарядов возвра-

щаться нельзя! Не всякий признает меня диктатором. А со снарядами — всякий. Обаб, опомнитесь. Я представлю вас к «георгию». Вы — поручик Обаб! Капитан! Я понимаю вас, вы предлагаете мне оставить снаряды поблизости от той земли, которая пожалована мне дальневосточным правительством и которую я захватил вдобавок сам. Я говорю об имении генерала Сахарова. Я бы с удовольствием погулял по этой своей земле, но — город есть город, море есть море, и какая слава без моря? Я прорвусь к морю! И всех, отказавшихся мне подчиниться, — к стенке, к стенке!.. Я — диктатор! Я спасаю Россию!.. Я!..

Незеласов схватился за голову, пошатнулся. Обаб подхватил его, усадил на диван. «А он припадочный вдобавок!»

— Сейчас схлынет, господин полковник.

Обаб дал воды. Незеласов, глотая воду, говорил упавшим голосом:

— Есть же, кроме этих вонючих, облупившихся стен, тупых лиц артиллеристов, есть же, кроме водки, разврата, — другой, светлый, спокойный, радостный мир? И если он есть, то где же он? Почему все вокруг меня мрачно, однообразно, серо, страшно, почему даже кровь кажется серой?

Он высунулся в окно.

— Ух, нехорошо! Обаб, видите, китаец сидит?

Снял кольцо.

— Кокаину! — Он закрыл глаза. — Жду, жду... Жду спокойствия, отдыха, хотя бы немного.

На перроне станции, возле корзины с семечками, все еще сидел китаец.

Теплушки подбрасывало, дергало, мотало, но все же они двигались довольно быстро.

Ах, кабы не эти страшные мысли о муже, как было бы все отлично! Ее утешало то, что беженцы врали все время. Наверное, и об убийстве Вершинина тоже соврали.

Особенно усердно врала седенькая длинноносая старушка в широкой шляпке с вуалью. Настасьюшка, чувствуя к старушке возрастающую нежность, глядела на нее ласково, раскрыв рот, а старушка, блестя глазами, разрумянившись, тараторила без умолку. Москву, оказы-

вается, уже давно заняли восставшие военспецы, в Крыму — опять союзники с Врангелем вместе, а Украина снова в руках Петлюры.

Поезд вдруг остановился.

Высокий железнодорожник, распахнув двери, весело сказал беженцам:

— Дальше не пойдем.

— Вершинин?!

— Вершинин не Вершинин, а опять бронепоезд пропускаем.

— Но ведь пропустите же его когда-нибудь?

— Ничего не известно! Кабы только один бронепоезд, а тут еще составы со снарядами. Начнут взрываться, всех разнесут! Велено вам, господа, если хотите в город, идти вон той дорогой.

Долго шли проселком среди бесконечных и мокрых берез. Дождь усиливался. На рассвете они вышли к реке. Старушка в широкой шляпке с вуалью попробовала рукой воду.

— Боже мой, как она холодна!

— Осень, матушка.

— Не могу вброд, Григорий Петрович, — сказала старушка своему брату, который помогал ей нести чемодан. — Да и у тебя ревматизм.

Тогда Настасьюшка, приподняв юбки, вошла в воду.

— Ну, господи, благослови!

Беженцы, подумав, что она знает брод, и боясь, чтобы она не исчезла, дружной толпой, визжа и бранясь пошли за ней.

Вышли на тракт. Рек больше не предвиделось, и беженцы разбрелись. Мужик, везший в город на базар морковь, согласился подвезти Настасьюшку.

— Я тебя через полчаса доставлю в полном порядке,— сказал мужик. — Ты откуда?

— Дальняя, — ответила Настасьюшка.

— Вижу, что дальняя: напугана. Чем дальше живет от города человек, тем он, скажу тебе, напуганней.

И возница, накрывшись армяком, задремал.

Но вот конь шарахнулся, возница проснулся, схватил вожжи.

В тумане мутно вырисовывались здания города. А может быть и не город? Возница, накрывшись армяком,

дремал. Но вот лошадь снова шарахнулась, возница подобрал вожжи, поднял голову и перекрестился.

Из тумана навстречу телеге вышел полуповаленный телеграфный столб, на котором, почти касаясь ногами земли, медленно раскачивался повешенный.

— Ах ты господи!

Настасьюшка соскочила. На белой картонке, свисающей с тощей и длинной шеи, надпись:

«Шпион и партизан!»

Это — тот самый мужик, которого послал Вершинин к Пеклеванову. «Как его зовут-то, владычица?» — смятенно думала Настасьюшка. И никак не могла вспомнить имени и фамилии мужика, и ей было оттого невыносимо страшно.

Глава седьмая

К НАСЫПИ!

К насыпи давно пора подкатить пушки и ударить по бронепоезду, как только он покажется.

Но пушек нет, лошадей, сколько ни отправляешь туда — все мало, артиллеристы, посланные с лошадьми, будто в воду канули. Слава богу, что бронепоезд где-то замешкался!

— Никита Егорыч, а когда пушки пригонят, куда их ставить?

— Все пушки к мосту, к Мукленке!

— Отсюда тоже здорово ударим: место видное.

— Не митинговать — подчиняться!

— Да как же не митинговать, когда — митинг?

И верно, торопились к насыпи, а лишь только она показалась вдали, вслушались — гула нет, вроде и торопиться некуда, то сам по себе начался митинг. Какой-то низенький старикашка спросил, кто больше всех рвется к мужицкой земле — японец, белогвардеец или американец?

— А кто бы то ни было, гони!

— Гони всех, мужики!

— Позвольте, граждане, поинтересоваться, а как с землей в Расее? Под Москвой, скажем?

— А это тебе не Расея?

— Прошу слова, граждане!

— Будя, к насыпи!

— Поговорили, хватит!

— Не давай землю японцу, Никита Егорыч!

— А я и не дам. Но и ты, мир, поддержи. Особенно нонча!

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-ароду-то... Народу-то мильены, товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь, Никита Вершинин орал с пня:

— Главна: не давай-й!.. Придет суда скора армия... советская, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

— Не-е да-а-авай!!

И казалось, вот-вот обрушится это извечно крепкое слово, переломится, и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голосом подтвердил:

— А верю, ведь верна!..

— Потому за нас Питер... ници... пал!.. и все чужие земли! Бояться нечего... Японец — что, японец — легок... Кисея!..

— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.

Густая, потная тысячная толпа топтала его визг:

— Верна-а...

— Не да-а-ай!..

— На-а!..

— О-о-оу-у-у!!

— О-о!!!

Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Само главно в человека поверить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тише сказал:

— Слово должно быть простое, скажем — пашня... Хорошее слово.

— Надоели мне хорошие слова.

— Брешешь. Только говорил и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера надобна, такое племя... Он тебе вершком, стерва, мерить не хочет, а верстой. И пусь, пусь мерят... Ты-то свою меру знаешь... Хе-хе-хе!..

Мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина по плечу. Тело у Вершинина сжималось и горело.

Митинг кончился. Решили, не дожидаясь артиллерии, которая, должно быть, завязла в грязи, идти к насыпи и задерживать врага чем смогут.

И опять, точно дождавшись решения сходки, вылез из приречных болот туман и пополз к мужикам, к дороге.

— Да где ж эта проклятая насыпь? Туман застлал все.

— Виднеется, Никита Егорыч, — сказал Васька Окорок, указывая куда-то вперед, за тальники.

— Ничего не виднеется. И китайца вашего нету.

Вершинин остановился.

— Абрамов, Мятых, Беслов, сюда!

Подбежали к нему трое.

Хлопают сапоги по воде. Идут мимо партизаны. Один вздумал было посвистеть («Ах, шарабан мой, американка...»), Вершинин крикнул ему сердито:

— Тихо! Насвиститесь, когда бронепоезд возьмете. — И он обратился к трем партизанам: — Вы тоже — в город, к Пеклеванову. Вдруг те не дошли... Васька, объясни зачем.

И, поправив винтовку на плече, пошел вперед отрядов.

А вот наконец и железнодорожная насыпь, высоко взнесенная над необозримыми лугами.

Впрочем, лугов не видно, не видно и тайги и гор — все это спряталось в густом тумане.

Впрочем, на верху насыпи туман как будто слабее.

По насыпи, размахивая руками, бежал китаец Син Бин-у.

— Велсынин! Никита Еголыч! Никита Еголыч!

Нет ответа из тумана. Пролетела какая-то птица и скрылась.

Китаец опять бежит по насыпи. Опять зовет Вершинина.

Наконец он слышит далекий голос:

— Китай? Син Бин-у?

— Я! Я!

— Спускайся.

Китаец скатывается по насыпи и бежит к низким кустарникам, откуда окликнул его Вершинин.

— Мотри-ка, мужики, китаец вернулся!

— Взаправду китаец!

— Незеласов не проскочил еще, Син Бин-у? — спросил Вершинин.

— Не плоскосил. Станция капитана Незеласова есть. Шибка блонепоезд свой гони-гони сюда, а его гони нетю.

— Чего?

— Его туман не пускайла. Его толопиться нельзя — его состава сналяда месайла...

— Задерживают, значит, составы со снарядами?

— Ага!

Партизаны обступают китайца, спускаются вместе с ним к подножию насыпи, и Миша-студент начинает объяснять — и самому себе и мужикам — слова китайца:

— В этом нет ничего удивительного, граждане! Полуобразованный человек тупее необразованного. Полуобразованному ничтожный технический факт, который он узнал, кажется неодолимым откровением. Да, машинист бронепоезда... как его фамилия?

— Ники-полов его фамиль ести.

— Никифоров, говоря кратко, педант...

Вершинин останавливает Мишу:

— Гудит! Идет бронепоезд.

— Да что вы, Никита Егорыч, вам почудилось. Тишина. Сумерки опять же приближаются, а в сумерки его взять, бронепоезд то есть, легче.

— Почему — легче?

Миша и сам не знает почему. Вершинин, вздохнув, говорит:

— Надо бы к мосту на Мукленку держать мне направление, а, прямо сказать, трудно. Пушками я его могу задержать, да где они, пушки-то? Стыдобушка! Коней не могу собрать...

— По такой грязи, Никита Егорыч, никакой конь не потащит. Наша земля — жирная, оттого к ней барин и льнет.

Вершинин, сделав несколько шагов вдоль насыпи, остановился.

— Ни гула, ни стука, ни свиста. Не слыхать и не видать. Небось спит капитан Незеласов и об невесте думает... Васька, есть у тебя невеста?

— Нету, Никита Егорыч.

— А у тебя есть, Миша?

— Ну, конечно, есть.

— Тсс...

Все слушают.

— Нет, не слыхать. Что же делать, Никита Егорыч? Лес валить, загораживать путь?

— Обождь! Шестью семь — сорок семь. Опять соврал. Сколько шестью семь, Миша?

— Конечно, сорок два, — ответил, думая о своем, Миша.— Никита Егорыч, а ты напрасно не вслушиваешься в то, что утверждает китаец. В этом имеется большой смысл.

— Какой?

— Инструкция.

— Ну, и что она — инструкция?

— Его инстлукция верит есть, — вставил Син Бин-у.

— По железнодорожной инструкции для товаро-пассажирских поездов данного района, — объяснил Миша, — если на рельсах человек...

Син Бин-у сказал убежденно:

— Его поезда обязательно остановила. Шула, его помосника, мне тоже сказала: обязательно остановить нада!

Вершинин, помолчав, проговорил:

— Чудно́ как-то. Не верится.

— Твоя, Никита Еголыч, холосо стлеляла?

— Умею.

— Селовека на лельса легла. Масиниста голову паловоза высовывай. Его смотлеть нада, сто на лельса лежала. Его ты глаз стлеляй.

— А если бревна поперек рельсов? — спросил Вершинин.

— Размечет снарядами, рельсы повредит.

— Рельсы как-нибудь поправим.

А по тайге, среди гор, верстах в десяти — пятнадцати от того луга, на котором толковали партизаны, — медленно, в тумане, часто гудя, шел бронепоезд.

Машинист Никифоров и его помощник Шурка ды-

мили папиросами. Машинист, часто поглядывая в смотровую щель, говорил:

— Ты, Шурка, дурак. Ты еще не обучен, а я, брат, на земле обучался. Земля, она, ох, учит!

— Обучение, Иван Семеныч, земельное тоже, выходит, по-разному.

— Молчи! Мой отец сто десятин имел да батраков... Потому наследство отняли большевики вне закона. А я закон чту больше бога. Что там, вдали?

Шура прилип к смотровой щели.

— Ну?

— Ничего нету, кроме тумана.

— Ты посматривай.

— Уж будьте покойны, господин машинист.

— Ласков ты нынче, шпана. Не нравится мне это.

— А я нонче со всеми ласков, господин машинист. Господину Обабу щенка подарил.

— Чего?

— Щенка обнаружил на перроне, когда бронепоезд уходил. Думаю — подарю-ка господину офицеру: авось, когда ваканция машиниста освободится, он меня вспомнит.

— Ну, ты не больно языком-то, балда!

— Слушаюсь.

Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам? — спросил Незеласов.

Обаб как-то по-своему ухмыльнулся.

— Живность. В деревне у нас — скотина. Я уезда Барнаульского.

— Зря... да напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Кому здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапорщик Обаб, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

— Ну? — жестко проговорил Обаб.

И, отплескивая чуть заметное наслаждение, полковник проговорил:

— Как таковой враг... революции... выходит, подлежит уничтожению. Уничтожению!

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерунда. Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных, немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо ругался. У солдат были вялые, длинные лица, и полковник брызгал словами:

— Молчать, гниды! Не разговаривать, молчать!..

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках полковника казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скулит у пулеметов, орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам — к востоку, к городу, к морю, к мосту через реку Мукленку.

Ночью стало совсем душно. Духота густыми непреодолимыми волнами рвалась с мрачных, чугунно-темных полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно, жалко ревет.

А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, недоуменно докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзинку, и узловатыми пальцами вырывал хлеб и, если не мог больше его съесть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за ним мутным медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на

теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь — точно заклепывали...

У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся... к черту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце рельсов непонятный и страшный в молчании город.

— Прорвемся, — выхаркивал полковник и бежал к машинисту.

Машинист, лицом чернявый, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Полковник, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

— Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы все-таки...

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

— У красной черты... Видите?

Незеласов глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

— Все мы... да... в паровоз...

Нехорошо пахло углем и маслом.

Вспоминались бунтующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам, крича:

— Стреляй!..

Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулеметов и выпускали во тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Являлся Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он спрашивал одно и то же:

— Обстреливают? Обстреливают?

Полковник приказывал:

— Отставь!

— Уясните, полковник!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Незеласов торопился закурить сигаретку.

— Уйдите... к черту!.. Жрите... все, что хотите... Без вас обойдемся. — И визгливо тянул: — Пра-а-пор-щик!..

— Слушаю, — сказал прапорщик. — Вы что ищете?

— Прорвемся... Я говорю — прорвемся!..

— Ясно. Всего хватает.

Полковник снизил голос:

— Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни чашек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем?..

— Да я их...

Незеласов пошел в свое купе, бормоча на ходу:

— А... Земли здесь вот... за окнами... Как вы... вот пока... она вас... проклинает, а?..

— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.

— Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде — прах... Сегодня мы закопали человека, а завтра... для нас лопата... Да.

— Лечиться надо.

Незеласов подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а?.. Ошибся, оказывается... Ошибку хорошо при смерти... А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня невеста Варенька... И ногти у нее розовые, Обаб...

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут же, не куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло, и когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый живой сверточек, пищавший на полу.

— Глиста!.. А туда же — предчувствует!..

Вот тогда-то Миша снова подошел к Вершинину и сказал:

— Никита Егорыч, прошу выслушать меня еще раз. Мы давно уже с китайцем говорим. — И Миша повторил: — Китаец, будучи на станции, узнал: машинист в

бронепоезде новый, перед тем работал на товаро-пассажирских поездах.

— Да ты быстрей!

— Так вот, по железнодорожной инструкции для товаро-пассажирских поездов, машинист обязан остановить поезд, если он увидит на рельсах какую-нибудь мертвую тушу.

— Это если издалека? А если вблизи?

— Если близко? Он должен поезд разогнать, дабы ее перерезать с безопасностью, а затем поезд остановить и составить акт!

— Акт? Хи-хи! Да, им теперь до актов, жди!

— Нет, он остановит! Машинист у них тупица...

— Да ни в жизнь не остановит!

— Обожди, Васька, — сказал решительно Вершинин. — Слушай, Миша, внимательно меня. А если на рельсах лежит труп? Слушайте и вы, мужики! У них, у бронепоезда, закон старый. Они под старым законом ходят. Ну так вот, по старому закону полагается... что если кто из машинистов труп увидит на рельсах, то должен остановить поезд... И вот... Кто пойдет, товарищи, на рельсы, чтобы... Пущай знает: страху много... Бронепоезд разогнан! А все равно нам подыхать. Но только, по-моему, успеет машинист остановить. А как только остановится, голову высунет посмотреть, — я машинисту тому, как белке, в глаз пулю. А вернее что остановится, не разрезать ему человека. Ну, товарищи...

После молчания мужики заговорили:

— Зарежет!

— А пошто ему не зарезать? Кого ему жалко?

— Товарищи!

— Сам ложись!..

— Сам? Ну, я-то лягу.

— Не пускай Никиту Егорыча!

— А кто же? Кто же, как не я?

Васька Окорок, оттолкнув Вершинина от насыпи, отбросил винтовку...

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок, похожий на туман, но гуще.

— Идет! — сказал Окорок.

Мужики повторили:

— Идет!

— Товарищи! — звенел Окорок. — Остановить надо!..

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.

Кто-то тихо сказал:

— Перережет — и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

— Идет!.. Идет!.. — с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб, мокрые, молча лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

— Товарищи! — закричал Вершинин. — Что же это-о?!

Мужики молчали.

Васька полез на насыпь.

— Куда? — крикнул Вершинин.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к... Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельсов.

Уже дышали, гукая, деревья, и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на него щекой. Песок был теплый и крупный.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудели в лесу рельсы...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогонки нету?.. Горит!..

Палевобородый мужик на четвереньках приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек песок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза — как две алые слезы...

— Не могу-у!.. Душа-а!..

Мужики молчали.

— Все это понятно, Никита Егорыч, — говорил тихо Миша-студент. — Васька не верит в тупость машиниста,

и Син Бин-у верит. Он даже с помощником машиниста сговорился, Никита Егорыч.

— А если набрехал ему этот помощник? Нет, лучше я сам...

Вершинин вскочил. И сразу же раздались обращенные к нему голоса партизан:

— Зарежет!

— Не то страшно, что зарежет, а страшно одному лежать!

— Позволь всем миром лечь, Никита Егорыч!

— Обчество не допустит, — сказал старик партизан Вершинину. — Тебе нельзя. Лучше все ляжем вместе.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх по насыпи.

— Куда? — спросил Вершинин.

Син Бин-у, не оборачиваясь, сказал:

— Сыкуучна-а!.. Васика!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темнело, как осенний лист, желтое лицо. Рельс плакал. Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали — не знал, не видел Син Бин-у...

— Не могу-у!.. Братани-и!.. — выл Васька, отползая вниз.

— Ничего, Васька, — сказал ему Миша-студент. — Тут ведь дело не в трусости, а в отсутствии уверенности в действии машиниста. По-моему...

— Молчи ты! — крикнул Вершинин. — Муку какую народ принимает, а он с объяснениями. Объясняться будем потом, когда выживем.

Слюнявилась трава, слюнявилось небо...

Син Бин-у был один.

Плоская голова китайца пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась...

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

Син Бин-у лег.

И еще потянулась вверх голова его, и еще несколько сотен голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец опять лег.

Корявый палевобородый мужичонка крикнул ему:

— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куда тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син Бин-у вынул револьвер, не поднимая головы, мах-

нул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок...

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный, и злобно-багрово блестели зрачки паровоза. Серой плесенью подернулось небо; как голубое сукно были деревья...

И труп китайца Син Бин-у, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельсов...

Шурка — помощник машиниста — напряженно прилип к смотровой щели. Машинист Никифоров, с раздражением глядя на его круглые, побелевшие от страха щеки, спрашивал:

— Чего видишь? На пути чисто али есть кто?

— Вроде бы конь... али теленок, господин машинист. — Он отрывается от щели и быстро говорит: — Человек! Лежит на рельсах и руками машет. Раненый, должно.

— Прибавь ходу!

— Как прибавь ходу, господин машинист? По инструкции...

— А я тебе, Шурка, говорю, прибавь ходу! А если боишься его перерезать, так я его из пулемета пристрелю...

Машинист Никифоров поднимается по лесенке кверху, где в будке над паровозом — пулемет.

— Не сметь!

Шурка хватает за ремень машиниста. Тот с размаху бьет его по лицу. Шурка отшатнулся, но ремня не выпустил.

Он схватил гаечный ключ и, угрожая им машинисту, повторил:

— Не сметь!

Тупо соображающий машинист наконец обиделся всерьез.

— Убью, мерзавец!

— Останавливай машину!

— Вот я тебе покажу — останавливай! — И ударил его наотмашь.

Шурка, почти в беспамятстве, отброшен к дверям. Но, быстро опомнившись и схватившись руками за голову, он истошно кричит:

— Убили-и!..

—Кого убили? Где убили? — растерянно бормочет машинист.

— Посмотри! Человека зарезал, сволочь!

Машинист Никифоров растерян. Шурка хватает его за ворот, тащит к дверям, с трудом открывает их.

— Смотри!

Выстрел. Другой.

Машинист Никифоров закрывает двери и падает.

Бронепоезд все еще движется.

Шурка тяжело ранен. Однако, собрав последние силы, он подползает к рычагу.

Паровоз дернулся. Замер.

— Крышка, — сказал Обаб. — Крышка, господин полковник. Уж я мужиков знаю.

— Что, что? Чья крышка хлопнула?

— Наша.

— Послушайте, — сказал Незеласов, потянув Обаба за рукав.

Обаб повернулся, поспешно убирая спину, как убирают рваную подкладку платья.

— Стреляют? Партизаны?

— Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но нет мне разве места... среди людей, Обаб?.. Поймите... я письмо хочу... получить. Из дому, ну!..

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаньте!

— Я хочу... получить из дому... А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапорщик!.. — Незеласов стыдливо хихикнул: — А... незаметно этак, бывает... а...

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

— Вы мне по службе, да! А так мне говорить не смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде... невеста!.. — Прапорщик вытянулся, как на параде. — Орудия, может, не чищены? Может, приказать? Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права... — Он замахал руками и, подбирая живот, говорил: — Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки... человек!

— Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый... Ишь, ласки захотел!

— Вы поймите... Обаб.

— Не по службе!

— Я прошу...

Прапорщик закричал:

— Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

— О-о-а-еггты!..

Они, не слушая друг друга, исступленно кричали, до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Полковник устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

— Я думал... вы, Обаб, — камень. А тут — леденец... в жару распустился!

Обаб распахнул окно и, подскочив к полковнику, резко схватил щенка за гривку.

Незеласов повис у него на руке и закричал:

— Не сметь!.. Не сметь бросать!

Щенок завизжал.

— Ну-у!.. — густо и жалобно протянул Обаб. — Пу-у-сти-и!

— Не пущу, я тебе говорю!..

— Пу-усти-и!

— Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирал серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похож на мокрое ползущее пятно.

— Вот бедный, — проговорил Незеласов, и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость; он заплакал.

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой.

— Окапывайся теперь! — сказал им Вершинин. — Бронепоезд остановили, но огня из него жди много.

И мужики побежали окапываться.

Вершинин, чуть сутулясь, шел вместе с Васькой вдоль окопов.

Так он вышел к повороту, откуда виден мост через Мукленку.

— Никита Егорыч, позволь загладить... первым в бронепоезд вступить!

Не отвечая, Вершинин поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив, ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос на запад.

— Чего ты? — спросил Окорок.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, хмуро спросил:

— Будут после нас люди хорошо жить?

— Ну? — отозвался Васька.

— Вот и все.

Васька развел пальцами и сказал с удовольствием:

— Это их дело. Я думаю, хорошо обязаны жить, стервы!

Подбежали мужики — четверо — и закричали в голос:

— Никита Егорыч, коней достали!

— Сичас пушки поволокут!

— Теперь мы им покажем!

Вершинин сказал:

— Кричи, тетеря, да не теперя.

Глава восьмая

АТАКА

Бритый коротконогий человек лег грудью на стол — похоже, что ноги его не держат, — и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совершенно не считается с мнением Совета союзов. Выступление преждевременно.

— В вашем Совете союзов — меньшевики преимущественно, — сказал Пеклеванов, — а нам с их мнением считаться не расчет. Забастовка почти всеобщая? Почти. При чем же тут — преждевременно?

Один из сидевших в углу рабочих сказал желчно:

— Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся! Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать.

— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

— Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

— А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета союзов протестовал:

— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне идут на город, японцы нейтралитетствуют... Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у нас не будет.

— Покажите ему!

— Это демагогия!..

— Прошу слова!

Коротконогий, урвав минуту затишья, тихо сказал Пеклеванову:

— За вами следят. Осторожнее... И матроса Семенова напрасно в уезд командировали.

— А что?

— Взболтанный человек: бог знает, чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.

— Мужиков он знает хорошо, — сказал Пеклеванов.

— Мужиков никто не знает. Человек он воздушный, а воздушность на них, правда, действует. Все же... На митинг поедете?

— Куда?

— В депо. Рабочие хотят вас видеть. А без вас они выступать не хотят. Не верят они словам, человека увидеть хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при поимке, — а видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете восстание и вообще атаку. Опасно, — сказал коротконогий задумчиво.

— Восстание вообще опасная штука. Безопасных восстаний не бывает. Большое спасибо за знакомство с Вершининым. Из него вырос превосходный партизанский вожак.

Отойдя от коротконогого, Пеклеванов отыскал Знобова и сказал ему слегка приглушенно:

— Знобов! Вдруг почему-либо... восстание, всякое бы-

наст... если почему-либо я с Вершининым скоро не встречусь, скажите ему: ревком постановил — только мы восстановим связь с Москвой — Вершинин поедет в первой же дальневосточной делегации к Ленину. Как приятно сказать: Москва, Ленин! По совести говоря, мне тоже очень бы хотелось побывать в Москве...

Когда члены ревкома и представители профсоюзов ушли, Пеклеванов сказал, глядя в окно:

— Конечно, море здесь прекрасно, но все же Москва мне кажется еще прекрасней. Да и что, действительно, прекраснее московской осени? Особенно при открытии театрального сезона... К концу афиши — там, где название типографии, — прилип мокрый осенний лист, ветер свистит и не может его оторвать, ты подходишь...

— В городе очень тревожно, Илья. Опять расклеены афиши. Всюду обещают огромные деньги за тебя...

— Не волнуйся, Маша. Обойдется. Опять дождь идет. У меня горло заложило и третий день насморк. А вот платки носовые китайцы делать не умеют. Не платок, а солнце в океан уходит. Платок должен быть скромный.

— Каждый час ареста жду. Пошла булки покупать, а против нашего дома — японец с корзинкой бумажных цветов. А одет — словно не бумажные цветы, а шелк продает.

— Значит, шпик... Ну-ну... шпиков много, авось не поймают... Ты не волнуйся, Машенька! Сердце у тебя слабое, но ты себя держи.

— Я держу себя, Илья, но, ты знаешь, физически... А у тебя вот на столе важные бумаги и еще револьвер выложил.

Кладя револьвер в карман, Пеклеванов сказал:

— Револьвер бы, действительно, надо спрятать. Но как ты ни слаба физически, Машенька, я тебе должен сказать... Одного нашего товарища...

— Что — одного товарища? Что такое случилось?

— Страшное, бесчеловечное преступление. Мне принес эту весть Знобов. Сергея Лазо японцы сожгли в паровозной топке.

— Боже!..

Прислушиваясь к стуку извозчичьей пролетки, она крикнула:

— А теперь — за тобой?!

— Ничего, ничего. Это — Семенов. Он всегда шикарно ездит, изображает гуляку.

Через кустарник виднелась соломенная шляпа Семенова и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку; фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У нее были красивые губы и очень румяное лицо. Слезы на нем не нужны, неприятно их видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду — арестуют... Бог знает... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех.

— Ждет Семенов.

— Мерзавец он — и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как тесина под ветром: на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Илья! Не ходи!..

Семенов хрипло проговорил с пролетки:

— Купец, Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, скажут.

— На смерть ведь. Не пущу.

Пеклеванов пригладил волосы:

— Придется.

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая... Нельзя же так...

Партизан, посланный Вершининым вдогонку Настасьюшке, нашел ее возле базара. Он сказал, что ищет Пеклеванова с раннего утра, что разговоров о Пеклеванове много, что город бастует, что забастовку ведет Пеклеванов, а где он сам, бог его знает! И добавил:

— Старичок тут один нашелся, богобоязненный, обещал довести. Я пойду, Настасьюшка, а ты жди.

— Подожду, — сказала Настасьюшка. — Я на возу, мне не страшно.

Накрапывал дождь, воздух был мутный, и где-то за набережной мутно било море. Настасьюшка, накрывшись зипуном, зябко дремала.

Прошел японец с цветами и пытливо смотрел на воз, затем — какая-то пожилая женщина в сапогах, с полушубком в руке. Она сунула руку в воз и спросила:

— Чем торгуешь?

— А распродалась, — ответила вяло Настасьюшка.

Быстро, будто во сне, мимо воза в сопровождении партизана, посланного Вершининым, прошла молодая женщина. Она шепнула:

— К Илье Герасимычу вам, Настасьюшка, не пробраться... Следят... Я его жена... Уходите и вы!

И она скрылась в толпе.

Настасьюшка огляделась, соскочила с воза и бросилась к набережной, к морю! Все легче.

В депо Пеклеванову не удалось пробраться. Он выступил на судостроительном и вернулся как раз в то время, когда жена его пришла с базара.

— Что, действительно жена Вершинина в городе? Ты ее видела, Маша?

— Да. Но поопасалась привести. Следом опять японец с корзиной бумажных цветов.

— Тут всюду шпики, — сказал Пеклеванов, думая в то же время о деповских рабочих, среди которых влияние меньшевиков всего заметней, — и, однако, мне надо поскорее в депо.

— Я ужасно волнуюсь за тебя, Илья! По городу вновь расклеены афиши. За твою голову уже обещают не тридцать, а двести пятьдесят тысяч.

— Ого! Пеклеванов поднимается в цене. Значит, дело Пеклеванова расширяется? — И, помолчав, он добавил решительно: — А я верю!

— Во что?

— Помнишь, Семенов говорил, что в городе чувствуется второй большевистский центр?

— Мечтание!

— А мне верится, Маша, право, верится. И вовсе не потому, что одинок, а, так сказать, от избытка силы. Я,

знаешь, учился в Симферополе. У нас там солнечно. Бежишь в гимназию, на душе светло, легко, посмотришь на свою тень, она такая четкая, как будто тушью сделанная, такая уверенная, я бы сказал — достойная своей веры.

— Вершинин — твоя тень, а вовсе не этот мифический второй центр восстания. Зачем он нужен?

— Вдруг с нами неладно? Тогда он берет дело в свои руки!

— Обойдемся и без параллельщиков, — вдруг с несвойственной ей твердостью сказала Маша.

Пеклеванов поглядел на нее внимательно и рассмеялся.

Стемнело. В порту на кораблях загорелись огоньки, а затем, точно отражаясь, замелькали в домах. Сверкнула последний раз заря на куполе собора, прогудел, словно прощаясь с нею, колокол. За окном фанзы послышались осторожные шаги. Пеклеванов, пытливо глядя в окно, повернулся к дверям.

— Ты куда, Илья?

— Да пока в огород.

Из огорода виден был косогор, который спускался к набережной, рядом с ним — песчаные промоины с крошечными домишками, за косогором темнел городской сад. Ветра́ последних дней, прорывавшиеся сквозь туман, сорвали все листья с его деревьев, и он словно опутан весь колючей проволокой.

На обрыве в одной из хибарок распахнулась дверь. Баба в длинном розовом платье вытащила огромный самовар, и он сияет в ее руках, как слиток золота.

— Не отведешь глаз, — сказал Пеклеванов Знобову.

Знобов лежал среди кочанов капусты, глядя в небо.

— Верно, — тихо отозвался он, — звездные небеса нонче редки. А только вы не орите — следят.

Пеклеванов с легким смешком спросил:

— А курить можно?

Отломив лист капусты, Пеклеванов играл им.

— Итак, Илья Герасимыч, прежде всего...

— Прежде всего поднимем деповских рабочих и займем артиллерийские склады...

— А потом — к грузчикам?

— Да, потом — к порту и крепости. Атака.

Некоторое молчание.

— У нас такие ж мысли, Илья Герасимыч, — сказал Знобов, — только опасаемся насчет артиллерийских скла-

дов. Захватим мы пушки, а вдруг Вершинин опоздает со снарядами?

— Не опоздает.

— Привезет! — подтвердил, подползая, Семенов.

Опять небольшое молчание, и Семенов сказал изменившимся голосом:

— Жену Вершинина арестовали, Илья Герасимыч.

— Еще один довод за то, чтобы торопиться с восстанием.

— Послать навстречу нарочных? То есть к Вершинину. Поторопить? Про жену говорить или лучше смолчать?

— Все сказать! Он — мужественный.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами. Пулеметы были горячие, как кровь...

Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не скрывались и не опасались показать свое лицо врагу.

Но те, кто был не ранен, скрывались по-прежнему.

Неподвижные луга, серо-золотистые кустарники, лужи на дорогах, холмы, леса на холмах. И временами казалось, что стреляет только один бронепоезд.

— Или, быть может, партизаны уже доставили сюда орудия?

— Никак нет, господин полковник, орудий у них еще нет, — отвечал Обаб.

— Значит, среди них нет и Пеклеванова?

— Грязища несусветная, дороги непролазны, тут никакой Пеклеванов не поможет. Да вы ему, господин полковник, цену не набивайте: мы люди здесь свои.

— Свои ли?

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.

Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал: «Сами знают!»

И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

«Свои?! Ха-ха! Вот у Вершинина действительно свои, сам-мильен, ха-ха! Кто это сказал? Кажется, мужичонка

партизан перед расстрелом. Хиленький такой, слабый, а как увидал дуло с неизбежной смертью, вдруг озлился и крикнул: «Пуль не хватит, ваше благородие! Вершинин — сам-мильен». Или нет, о мужичонке это Обаб рассказывал?»

— Боже, какая тоска! А у коменданта по вторникам вечеринки. Варя сядет на диван, раскроет книгу... И какую книгу можно читать в эту ночь?!

Да, в эту ночь читать трудно!

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и костры были широкие, величиной с крестьянские избы.

Так по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Полковнику казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, он бежал на середину.

Полковник, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов... того... не жалеть!.. — И, утешая самого себя, кричал: — Я говорю... не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов! — И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой: — Главное, стереотипные фразы... «патронов не жалеть».

Незеласов схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?» Он побежал на середину поезда.

— Не смей без приказания!

Бронепоезд стоял грудью перед пулями, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов: вытирая потные груди, они говорили:

— Прости ты, господи! Да где же мужики-то? Чего ждут?

Действительно, чего ждут, кого?

Пеклеванова?

А при чем тут Пеклеванов?

— Тогда кто же?

Именно, кто?

— Господин полковник! А если нам атаковать?

— Обаб! Вы — человек трезвый. Какими силами мы

атакуем? Да, снаряды у нас есть. А люди? Где наши доблестные белые казаки?

— Разбежались!

— Где союзники? Японцы? Американцы?

— Должно быть, подходят.

— То-то же! «Подходят»!! Откуда? И к кому подходят? Может быть, к своим кораблям, а не к нашему бронепоезду? Мне не с кем переходить в атаку, Обаб!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебегали с места на место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, он кричал:

— Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.

Незеласов замахал рукой.

— Говорил... ни снарядов... ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке.

Полковник опять побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на полковника. Его знакомая широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом.

«Да, жизнь страшновата. Ну, еще бы! Но ведь сам виноват. Сам? Извините. Меня толкали со всех сторон! Кто тебя толкал, милый? Подумай».

— Фу, черт! Заговариваться начал.

— Как, господин полковник?

— Не тебе! Молчать.

Приказывал молчать, а между тем приятно, что с ним разговаривают. Ах, если б в этот поезд хоть одного веселого, нормального человека... Позвольте, да что я — ненормальный?

— Огонь! Снарядов не жалеть!..

Так же, не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражающие костры камни, и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Незеласов чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз:

— А-а-о-е-е-е-и...

— Жду, жду... Страшно поднять веки, голову... Почему? — бормотал осунувшийся Незеласов. — Жить хочется, или боюсь боли, мне еще не известной? Тяжело, тяжело...

Тусклый, почти могильный сумрак. Сверкающий свет орудийного залпа озаряет башню бронепоезда и орудия, возле которых уныло и устало, в полусне стоят артиллеристы. По их движениям видно, что силы их истощились. Возле орудий кучи пустых орудийных патронов.

Незеласов сидел на ящике из-под патронов, серый, как мох. Пытаясь освободиться от давящего мрака ночи, ходит возле орудий прапорщик Обаб, без мундира, в грязной и мокрой рубашке.

— Орудия! Первое, второе — к бою! — бормочет в телефон Незеласов. — Вдоль насыпи! Прицел тридцать пять, трубка тридцать пять. Огонь!

Блеск света. Орудийные выстрелы.

— По кому вы бьете, господин полковник? — спросил Обаб, останавливаясь у смотровой щели. — Там — тьма тьмой.

— Не мешайте! Как дела на паровозе?

Обаб повторил:

— Машинист убит, помощник тяжело ранен.

— Юнкеров!

— Из юнкеров никто не умеет управлять паровозом, господин полковник.

— Чудовищно болит голова. И кажется, не спал целое столетие! А у коменданта крепости сейчас ужинают, затем сядут играть в преферанс. Варя приляжет на диван и будет читать. Ха-ха! Все как всегда.

Положим, не все так, как всегда. Пожалуй, даже далеко не так.

Действительно, гости собираются у домика коменданта Катина, и Сережа-юнкер берется за ручку двери. Но тут все слышат шепот подрядчика Думкова:

— Вершинин согласился выдать Пеклеванова. Верно!

— А сколько заплатили?

— Ведро царских золотых.

— Господа, не унижайте себя мыслями, что вы способны подкупить Вершинина, — слышен голос Вари.

— Позвольте, Варенька, — кричит Думков, — но ведь вы мне сообщили эту новость!

— Глупости! Когда?

— Господа, мы в гостях, сдержите свою нервность, перестаньте ссориться.

Сережа-юнкер раскрывает дверь квартиры полковника Катина и пропускает дам.

Все должно было бы происходить так, как думает, находясь в бронепоезде, Незеласов, — так, да не так.

Прихожая пуста. Надежда Львовна замечает Варе с неудовольствием:

— Мы оказались первыми?

— Вы, Надежда Львовна, вечно торопитесь.

— Ах, оставьте, Варя! Вы вот не забудьте спросить...

— Знаю, знаю.

— Не о Вершинине, голубушка. Вершинин меня совершенно не интересует, а придут ли за нами американские корабли.

Боже мой, как глупа, однако, эта старуха! Беззастенчиво, словно у себя дома, она громко говорит:

— Саша, наверное, накопил у себя в бронепоезде достаточно валюты. Он, может быть, продал пожалованные ему земли. Нам надоела война, мы желаем отдохнуть в Америке!

— Надежда Львовна, тсс...

— А что — «тсс»? Все хотят в Америку — только одни тихо, а другие вслух. Что, думаете, полковник Катин не хочет в Америку? Вы спросите-ка!

Через кабинет из спальни навстречу гостям идет полковник Катин. Расставлены столы с закусками, стоит у дивана стол для преферанса, Варя берет книжку, садится на диван... Все так, да не так.

У коменданта встревоженное и растерянное лицо. Он вдруг поворачивает назад.

Скрипит дверь спальни. Оттуда выходит врач Сотин. На вопросительный взгляд коменданта врач пожимает плечами, кланяется дамам и уходит. Комендант, забыв поздороваться с дамами, догоняет врача. На новый вопросительный взгляд врач отвечает тихо:

— К сожалению, у вашей дочери тиф.

— Верочка-а?!

Комендант возвращается к гостям, смотрит на них невидящим взглядом. Гости понимают, что в доме неладно, и Надежда Львовна говорит первые попавшиеся слова:

— А ведь в городе многие опять укладываются, утверждая, что за нами идут американские пароходы.

Комендант бормочет:

— Простите, это так внезапно... У моей дочери, кажется, тиф.

Ночь, грязь на дорогах действительно непролазная, по пояс. Увязали в этой грязи кони, люди, орудия, лопались постромки, ломались железные оси, колеса.

— И все-таки надбавь, товарищи!

— Подай орудия к Мукленке!

— Снаряды уже там приготовлены, вас ждем, товарищи!

— Меняй лошадей, у этих сил нету, надорвались.

— Бичей сюда, бичом коренника!

— Не видите, ослаб.

— Меняй, говорю, лошадей!

— Торопись, товарищи, торопись! Вдруг да Незеласов подкрепление получит!

— Орудие, главное, торопи!

— Пять верст только до Мукленки осталось!

— Да эти пять будто пять тысяч!

— А ты, Ермил, наддай!

— Наддали, Васька, да завязли. Как там Никита Егорыч?

— Здоров. Он вас торопит.

— Эй-эй, наддай, мужики!

— Плечом наддай, плечом!

— Бревнышки под колеса, бревнышки!

— Все тонет, Васька, в грязи!

— Мужиков, что ли, прислать на помощь?

— И мужиков и коней много, а вот грязь непроходима.

— Тонем, Васька!

— Тащи, мужики, орудия! Поспешай!

— Поспешаем, да непролазно.

— Владычица! Лабезникову ногу придавило!

— Бра-атцы-ы!..

— Владычица, за что же?!

Бронепоезд, ожидая союзников, отстреливался.

— Палй, палй, — пересохшими губами выкрикивал Вершинин, — обождь, и мы тебя подпалим: вон его сколько, мужика-то, прибывает.

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб звонко, а тяжелораненые подпрыгивали на корнях, молча раскрывали воздуху и опавшему листу свои раны. Листы присыхали к крови выпачканных телег.

Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они сворачивали к ней.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему секретарь штаба.

Васька Окорок шепнул боязливо:

— Страшно, Никита Егорыч?

— Чего? — хрипло спросил Вершинин.

— Народу-то темень! А в город опоздаем.

— Тебе что. Отвечать всем миром будем!

Васька после смерти китайца ходил съежившись и глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.

— Тихо идут-то, Никита Егорыч. У меня внутри неладно.

— А ты молчи — и пройдет! Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая-то жизнь, парень, с перьями, веселая.

Васька тихо вздохнул.

— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я царю-то почесь семь лет служил: четыре года на действительной да три на германской.

— Хорошо, мост-то не подняли... — сказал Вершинин.

— Чего? — спросил Васька.

— Как бы повели на город бронепоезд-то?

Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.

— Жалко мне китайца-то! А думаю, в рай он уйдет — за крестьянскую веру пострадал.

— А дурак ты, Васька.

— Чего?

— В бога веруешь.

— А ты нет?

— Никаких!..

— А впрочем, дело твое, Никита Егорыч. Ноне свобода. Только мне без веры нельзя — у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.

— Вери-ители!..

— Пусти ты меня, Никита Егорыч, — постреляю хоть!

— Нельзя. Раз ты штаб, значит, и сиди в штабной квартире.

— Снаряд, слышь!

Задребезжало и с мягким звоном упало стекло.

Вершинин вдруг озлился и стукнул секретаря.

— Сиди! А ночь как придет — пушшай костер палят. А не то слезет с поезда-то Незеласов и в лес удерет. А я поеду ближе к бронепоезду.

Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги, к бронепоезду.

— Не уйдешь!

Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:

— Ну-у!..

Лошаденка напрягла ноги, закрутила хвостом и понесла.

Он хлестнул лошадь по потной спине.

Васька закричал с порога будки:

— Гони! Весь штаб делает смотр войскам! А на полковника етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телега бежала мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали.

Васька зажмурился.

— Высоко берет — вишь, не хватат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!

Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому лицу.

— Не выдавай, товарищи!

— Крой! — орал Васька.

Телега дребезжала, о колеса билась лагушка [1], из-под

---

[1] Небольшое закрытое ведерко для дегтя.

сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

— А дуй, паря, пропадать так пропадать!

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров в темноте стремительно, с грохотом рвались снаряды.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпь и, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд бил в упор.

Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

— Не уйдешь!

— Только бы орудия успеть...

— Успеют!

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков пóтом.

Васька, изгибаясь возле будки, хохотал:

— Не пьешь, стерва! Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали?

— Завтра у них вода выдет! Возьмем! Это обязательно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу идти.

Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше — земля жалела. Сначала падали десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы. Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневик продолжал жевать, не уставая.

Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пашел!.. То-ва-ри-щи!..» — мужики повели атаку.

— Сейчас бы нам орудию...

— Хоть одну!

— А пока попробуем без орудий!

— Потому — надо к сроку! — кричал Васька. — Верно,

Никита Егорыч? Как обещано, так, значит, надо выполнять.

— Надо, Вася, надо!

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела, рвали грудь, пробивая насквозь, застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды; из их потного, мокрого волоса лезли наружу губы:

— О-а-а-а-о-о!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, и не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, отдаваясь у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Васька Окорок встревоженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, богатырь!

— Богатырь, да еще не своротил.

Лицо у Васьки было веселое, и на глазах блестели слезы восторга.

Бронепоезд стрелял.

— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети: — Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой, желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда торопясь куда-то.

Партизаны опять отступили.

На рассвете приехал посланный из городского ревкома, который сообщил, что Пеклеванов начал восстание, что рабочие дерутся здорово, что борьба есть борьба и

что Настасьюшка, жена Вершинина, арестована белыми и брошена в подвал крепости.

Васька Окорок, раненный в грудь, бредил.

Вершинин сидел возле раненого, держа его руку, глядел в его по-прежнему круглое, с бледными веснушками лицо, на его совсем красные — от пота, что ли? — волосы и с тоской говорил:

— А ему все-таки легче, чем, скажем, мне. Ну, через кого столько муки люди принимают, через кого? От кого?

Васька вдруг с трудом открыл глаза и, криво ухмыльнувшись, чуть слышно прошептал:

— А китаец-то верно ведь угадал, Никита Егорыч?.. Насчет машиниста... Как мы его лихо с тобой... ухлопали...

И затем, уже совсем неразборчиво, добавил:

— А он... того... нас... хотел...

И, превозмогая боль, вытолкнул:

— Да только — шиш!

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойницы пулеметы. Были у них робко-торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно-багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову Незеласова. От висков колючим треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал полковник. — Вы что?

— Ваше высокоблагородие, господин...

Незеласов подбегал к задремавшему было солдату и бил его сапогом:

— Эй, скот, не спать!

— Ваше благородие, измучились!

— И воды нету для орудия!

— Орудия раскалились, — повторял Обаб. — Стрелять опасно, господин полковник.

— Я не могу ни спать, ни лежать. В теле огромная, звенящая пустота. О владыка! Первое, второе, третье... все орудия!.. К бою! По насыпи двенадцать — картечь! Огонь!

Залп.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин, и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо. — Мерзавцы!

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было бы похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели атаку.

Через просветы бойниц, среди далеких кустарников, похожих на свалявшуюся желтую шерсть, видно было, как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками — леса́ и всегда неожиданно толстые темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопок торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали его пулеметами. Неустанно, не сравнимо ни с чем, бил по кустарникам пулемет. Полковник Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда было почему-то страшно: через дверки виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и бронзовый божок, заменявший пепельницу. Полковник чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то визжавший щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить у солдат нельзя, такой злобой наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент, и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Полковник бегал среди них, и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышовая трость. Обрывками Незеласову думалось, что он слышит шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело. Какой-то бledноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и полковник, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо... напоить!.. — сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

— Н'ах... н'ах... н'ах...

Другой, с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно полковнику:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

— И что же?

Солдат молчал. Но глаза его молча говорили: «Керосин дорогой, по керенке фунт, а жизнь солдатская — копейка. Почему же это так, господин полковник? Ведь цену-то вы назначаете!»

— Не спать, мерзавцы, не спать! У тебя, солдат, щеки впали от бессонницы, но ты все же не засыпай. Бодрствуй! Атака! Слышишь, атакуют! Партизаны!

— Товарищи, вперед!

Чей это голос? Неужели Вершинина! А может быть, Пеклеванова? Неизвестно. Зато чей отвечает, ясно. Партизанский, да!

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев:

— О-о-у-о-о!..

И тонко-тонко:

— Ой... Ой!..

Солдат со впавшими щеками сказал:

— Причитают... там, в тайге, бабы по ним!.. Не по нам!

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру с кулак.

— Почему видно ему во тьме? — сказал Незеласов. — Там костры. Тут, должно быть, темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?

Костры во тьме. За ними — рев баб. А может быть, сопки ревут?

«Ерунда!.. Сопки горят!..»

«Нет, тоже ерунда. Это горят костры партизан».

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Полковник хотел закричать, но почему-то смолчал и

только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у полковника в городе есть невеста... она теперь...

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от сна...

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды!.. Туды!..

«И какую книгу можно читать в эту ночь?»

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями. Обаб?

Потом забыл и об этом. Многое забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести... тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза — тьма. Ослеп Незеласов.

— Никогда!

— Как, господин полковник?

— Я говорю, Обаб, что — никогда! Позволить нас выкурить, как комаров?! Ха-ха!

Незеласов схватил трубку телефона.

— Алло! Орудия к бою! По насыпи картечью, первое, второе, третье — огонь! Огонь, черт возьми!

Орудия не стреляют.

Обаб вырвал у Незеласова трубку.

— Картечью им в морду, огонь!

— Ха-ха! Спят непробудно. Оказывается, артиллеристы больше любят сон, чем Россию. Ну и черт с ними! Вы проспали Россию — я отдам ее американцам, японцам, тому, кто дороже заплатит! Обаб, тушите свет.

— Господин полковник... — смущенно забормотал Обаб.

— Взгляните-ка мне в глаза, Обаб. Ну конечно, я сумасшедший! Ха-ха!.. Шинель!

Обаб подал ему шинель. Незеласов взял карабин, набил карманы патронами, сунул за пазуху.

— Дверь открывайте неслышно и ровно настолько, чтобы я мог пролезть боком. Счастливо оставаться, Обаб. Я вернусь часа через два или через час и притащу с собой машиниста из состава, который везет снаряды.

— Ах ты, господи! Как же это я не догадался!

Обаб погасил свет. Открывает понемножку дверь.

Незеласов просунул в отверстие голову, плечо. Шепотом:

— Еще немного...

Выстрел из тьмы. Незеласов падает, бормоча:

— Славно, славно...

Обаб отскочил от двери и прижимается к противоположной стене. Нет сил закрыть дверь.

Дверь начинает открываться все шире и шире, словно сама собой.

— Конец, — пробормотал Обаб. — Видно, ни ордена, ни землицы, ни почестей не получить!

— А встретились-таки, прапорщик Обаб, Иван Аристархович, каратель! Ну, выходи, поговори с мужиками: они тебя ждут!

— Иди!

«Вершинин? Он!»

— Опусти наган! Не твоя очередь стрелять, Иван Аристархович, слышишь?

На мгновение затошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногами Незеласов почувствовал траву, и колени подкосились.

Впереди себя увидел полковник бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

Его, полковника Незеласова, мясо...

«Котлеты из свиного мяса... Ресторан «Олимпия»... Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина... Осень... Благодарю тебя, Россия... мир... все славянство... за тишину... Тишина по всей земле...»

— Кро-ой, бей, круши...

Крутится, кружится, крошится крушина...

Бронепоезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал

под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка; прореха, гвоздем разорвало...

Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

Через плечо карабин! Значит, ушел?

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.

Поверил вдруг в спасение. «Жив, жив! Доберусь. Добьюсь». Рассмеялся. «Куда — все равно!»

Вязко пахнул кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул между ветвей, длинных и мокрых. Мокрые от крови?.. Чьей? Не его ли? Нет, Обаба!

Прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе похоже на колеса телеги. Позвольте, он жив тоже?!

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

— Прикажите бронепоезду двигаться, господин полковник?

— Пошел к черту!

Беженка в коричневом манто зашептала в ухо:

— Идут! Идут!..

Незеласов и сам знал, что идут! Атака! Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм. Поднял карабин. Выстрелил. То есть, собственно, хотел...

Одной руки, оказывается, нет. Тогда можно с колена. Но с колена мушки не видать... «Почему не стрелял в поезде, а здесь — вздумал, а?»

Здесь один, а они ползут... Ишь их сколько, бородатые, сволочь! Пули — в землю, а то бы...

Так стрелял торопливо полковник Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны. То есть, собственно, хотел стрелять, но рука не могла поднять карабин.

Отложил карабин. Сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.

Его атака окончилась.

Глава девятая

В СТАРИННОЙ КРЕПОСТИ И ВОЗЛЕ НЕЕ

— Почему ты молчишь, голубушка? Почему? — спросил фон Кюн ласково, но громко: согласно инструкции строго.

Писарь и тюремный врач стояли поодаль у дверей длинной камеры. Фон Кюн, вздохнув, поглядел на них. Они молчали. Чего они пялят глаза? Или он недостаточно строг? Глубоко заложив руки в карманы, фон Кюн прошелся по камере.

Из окна камеры виден краешек моря. Жара, думали, окончилась, а вот целый день теплынь, и словно не было ни тумана, ни холодного ветра, ни дождя. Но к вечеру набережная, мостовые, дома начали так поспешно остужаться, что о тепле все забыли. Пустые консервные банки просвечивают сквозь опалово-прозрачную воду совсем по-осеннему. Полупрозрачные тени удочек колеблются среди стружек на тончайшей пленке нефти, а кто рыбачит — не видно. Впрочем, для того и тюрьма, чтоб людей не было видно!

— Почему же, однако, ты молчишь? Нам же известно, что ты жена Вершинина.

Эх, кабы было известно! Ничего не известно. Просто командование, совсем не доверяя коменданту Катину, вздумало послать на допрос фон Кюна, который, по мнению командования, отличается добросовестностью и не склонен к интригам. Возможно. Но, к сожалению, фон Кюн не верил, что эта крестьянка в ситцевом поношенном платье, с шерстяным серым платком на плечах — жена знаменитого теперь Вершинина. Собственно, зачем ему посылать ее в город? Опасно. Очень опасно. Его имя, как говорится, у всех на устах, и естественно, что на нее обратят чрезвычайное внимание даже те люди, которые никогда и не думали о ней.

Тюремный врач, желчный, опухший и охрипший от пьянства, слегка дотронулся до фон Кюна и показал глазами на дверь.

А за дверьми врач тихо сказал ему:

— Пожалуй, достаточно. Умопомешательство ее, по-моему, кратковременно. Не будем ее запугивать, Михал Михалыч.

Они прошли коридор. Комендант Катин ждал их в той высокой и светлой комнате, которая называлась разводной. Поглядев в унылое и скучающее лицо фон Кюна, пожевав губами, он сказал:

— Итак, данных, что именно эта крестьянка — жена Вершинина, вы, Михал Михалыч, по-видимому, не получили. Кому это пришло в голову?

Фон Кюн ответил сухо, с легким раздражением:

— Командование получило сообщение агентов.

— Сообщение, сообщение! А вам передали, что господин Карантаев повесился?

— Какой господин Карантаев?

— Тот самый. Министр финансов нашего правительства. Я был уже у него на квартире. Лоб остыл и жесткий, как парча покрова, которая уже лежит на нем. Да-с. В официальном уведомлении, конечно, ни слова не будет о самоубийстве. В квартире уже пахнет ладаном, дьячок читает молитву, а в соборе репетируют певчие, и звонарь плюет в руки перед тем, как взяться за веревку колокола.

— Вы меня поразили, полковник.

— Я был поражен не меньше вашего.

— Сообщения агентов, к сожалению, всегда очень разнообразны. Кстати, передайте вашим агентам, что корабли американцев и японцев приближаются к городу, равно как и бронепоезд капитана... то бишь полковника Незеласова. Пусть они распространят. — И, помолчав, добавил с тоской: — А у моей дочери температура уже сорок. Плохо, плохо...

Комендант, расставшись с фон Кюном, опять пожевал губами и, тяжело вздохнув, нехотя пошел в свой домик. В гостиной его ждала Варя. Она сказала, что Вере, кажется, лучше, температура снизилась, дышит она легко, испарины нет.

— Не кризис ли?

— До кризиса далеко, Варенька, очень далеко.

— Вы, полковник, прочитали телеграмму Незеласова относительно Вершинина?

— А зачем вам вмешиваться, Варя, в военные дела?

— Мы должны помогать командованию чем можем. Даже распространением слухов.

— Я должен распространять не слухи, а власть и как представитель власти...

— Какой? — холодно спросила Варя. — Той ли, которая на бумаге, или той, которая существует на самом деле? Власть у того, кто имеет достаточно снарядов. Их у полковника Незеласова много. Вам понятно?

— Ничего не понятно.

— Власть должна быть в руках истинно русских людей. Понятно?

— Нет!

Коменданту Катину все понятно, равно как и то, что ему смертельно надоели перевороты и заговоры. Докуда, Иисусе? И что ему заговоры, когда никто не может заговорить тиф... Боже, какой глупый, пошлый каламбур!

Комендант вскочил, раскрыл окно и высунулся. Жадно дыша, он тупо смотрел на крепостную стену, опять покрытую туманом.

Варя лениво взяла книжку и села на диван. Услышав шелест бумаги, полковник повернулся. Варя не спеша сказала ему:

— Лучший и наиболее добросовестный врач города — Сотин. Только он способен установить, в нормальном ли состоянии эта женщина.

— Какая женщина?

— Та, о которой говорят, что она жена Вершинина. Сотин должен вам помочь.

— Никогда! У Верочки — сорок. Он лечит мою дочь. Никогда! И вообще ваш Незеласов — фразер!

Варя поднялась с дивана и с еще большей холодностью сказала:

— Если мой жених, полковник, фразер, то вы — шкурник. Незеласов вас расстреляет. Помните это.

— Это вы — шкура! Да-с.

Боже мой, как глупо, пошло, как все несносно! Катин побежал следом за Варей.

С крыльца слышен резкий стук колес на мостовой: штабс-капитан Петров, ехавший в город, посадил Варю в коляску. Бухнул соборный колокол. Неужели уже хоронят повесившегося министра? Рановато, пожалуй.

Врач Сотин, поникнув головой и словно затаив дыхание, идет медленно, прислушиваясь к звукам колокола.

— Как наша больная, полковник?

— Плохо. — И вдруг, совсем для себя неожиданно, полковник сказал: — Я попросил бы вас, перед тем как направиться ко мне, зайти туда, осмотреть одну арестованную.

И он указал на тюрьму.

— В тюрьме есть свой врач, полковник.

— Он болен. Кроме того, вряд ли кто другой способен разобраться в этой запутанной истории. У одного важного генерала, в данное время командированного в

Японию, исчезла жена. Предполагают, что ее похитили партизаны и она помешалась там. Предполагаю, что это она...

Сотин опустил голову еще ниже.

— Простите, полковник. Городок наш небольшой, время военное, многое обывателям вроде меня известно.

— Прекрасно. Мне, значит, нечего вам пояснять?

— Да, почти что нечего.

Сотин поднял голову и сказал:

— Но мне вам есть что пояснить. Одно только подозрение, высказанное вами простой крестьянской торговке, что она — жена Вершинина, способно довести ее до умопомешательства. Поймите вы сущность этой жестокости! А вы желаете еще вдобавок, чтобы я «узнавал» у нее...

— Вы лечите мою дочь и злоупотребляете моим уважением к вам.

— Дочь вашу я буду лечить, но в тюрьму я не пойду!

— Я вас арестую.

— В городе тиф, и вы не смеете, не имеете права арестовывать врачей!

— Где ваша дочь?

— Моя дочь у знакомых, за городом.

— Фамилия ваших знакомых? Так-с! Молчите? Не Пеклеванов ли?

Когда Сотин, осмотрев Веру, сказал, что девушке действительно лучше и что у нее не тиф, а лихорадка, полковник Катин, вздохнув, проговорил:

— Чертовски глупо, доктор, но я вынужден вас арестовать. Было бы, впрочем, хуже, если б вас арестовало командование штаба: я по крайней мере вас не расстреляю.

— Не хвалитесь, — сказал с напряженным смешком, кривя губы, Сотин, — а подписывайте приказ об аресте и кликните адъютанта.

— Бушман!

— Вот-вот.

В дверях, перед тем как выйти, Сотин сказал, глядя в холодные, спокойные глаза Катина:

— После того как вы меня арестовали, полковник, я должен сознаться в моей намеренной лжи: у вашей дочери не лихорадка, а подлинный тиф. Придется вам, видно, меня расстреливать.

— Подлец!

— Ну, это еще вопрос.

И, оставшись один, глядя в лицо дочери, которое пылало, комендант спросил сам себя: «А действительно, кто же подлец?»

Пересекая огороды и ища взглядом очертания депо, Пеклеванов говорил Знобову:

— Хитрость, знаете, палка о двух концах. Незеласов распустил слух о Вершинине, который будто бы обещал выдать Пеклеванова. Штаб белых успокоился: Пеклеванов в их руках! Очень хорошо. Почему хорошо? А потому, что от железнодорожного депо к крепости проложены рельсы. Если бы белые ожидали Вершинина на бронепоезде, они разобрали б этот путь, а так как Вершинин теперь друг Незеласова и белые ждут их обоих — рельсы не разберут, и наш бронепоезд подойдет к самой крепости. Дайте еще папироску.

«Благополучно он миновал огороды или...» — думала в те же минуты Маша, жена Пеклеванова, стоя на крыльце и вглядываясь в белесый сумрак восхода. Туман клубился в низкой кирпичной арке ворот, сквозь которую слышен стук морского катера. Катер отходит ровно в шесть. «Ты поняла, Маша, да? Ты понимаешь, что большевик, по приказу партии, должен жертвовать всем, даже жизнью, в любой момент? А ты взяла ключ и говоришь: «Не пущу!» Ты, жена большевика, должна понять...» — «Да, да, понимаю! Бери ключ». — «Что такое? Фу, черт! Я — через окно. Ты его задержи». Кого? По-видимому, того самого, который подходит сейчас с корзиной цветов... это в шесть утра-то?! к крыльцу.

— Что вы?

— Нисиво, — ответил японец.

Он, бросив цветы, ворвался в комнату. Осмотрел и поспешно побежал через огороды.

— Послушайте, а корзинка?

Маша, выхватив револьвер, кинулась за японцем. «Только бы потише, без суматохи...»

— Вот халипы, разъязви их! Ранены, а паровоз ведут.

— Да я-то ведь не ранен, дедушка, — сказал Миша-студент.

— Я про него, — показал старикашка на Ваську Окорока. — Притащился, распоряжается, будто понимает.

— Шурка понимает, а я для веселья.

Шурка, израненный и перевязанный помощник машиниста, сидя в кресле, принесенном из купе Незеласова, наблюдал за Мишей-студентом. Паровоз загудел.

Телефонный звонок. Васька Окорок взял трубку, послушал и ответил:

— Быстрей нельзя, Никита Егорыч. — И, не положив трубки, спросил Мишу-студента: — Или можно, Миша? Понимаешь?

— Я же в техническом обучался. Можно.

— Можно!

Под нависшими скалами, все увеличивая и увеличивая скорость, мчится бронепоезд.

Васька Окорок обогнал лисолицего старикашку и первым вскочил в купе, где еще недавно сидел развалившись капитан или полковник — теперь все равно — Незеласов.

— Ну и рвем, Никита Егорыч! Верст, поди, по сотне в час.

— Слава богу.

— Славишь-то больно невесело.

— Плохо, знать, верую. Да он простит — ми-и-лостивый!

Милостив, да не совсем. Остался на минуту один, и тотчас же вспомнилась жена, ее нежный овал лица, белая шея, смелая бровь и глаза, полузавешенные такими ресницами, каких небось и в раю не встретишь. Хоть бы нашла она Пеклеванова, передала, чтоб на два дня хоть задержал восстание. А вдруг да не поспеешь вовремя?

— Никита Егорыч! Мужики сказывали — тут штаны запасные хранились у этого прапора.

— А и пусть! Штаны не граната — не взорвутся.

— Да мне бы примерить: вроде я его роста.

У дверцы купе лисолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричит:

— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым-голо: огурец!..

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.

Китайский бог на полу заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок.

За насыпью другой бог ползет из сопок, желтый, литыми кольцами звенит...

Жирные травы черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

— О-хо-хо!..

— Конец чертям!..

— Буде-е!..

На паровозе уцепились мужики, словно прилипли к стали горячими, хмельными телами.

Один в красной рубахе кулаком грозит.

— Мы тебе покажем!

Кому? Кто?

Неизвестно!

А грозить всегда надо! Надо!

Красная рубаха, красный бант на серой шинели.

Бант!

О-о-о-о!..

— Тяни, Гаврила-а!..

— А-а-а!..

Бант.

Бронепоезд за № 14-69 под красным флагом. Бант!..

Здесь было колесо — через минуту за две версты, за три! Молчат рельсы, не гудят, напуганы!.. Молчат.

Ага!..

Тра-та-та... Тара-ра...

— Эк его разбирает!

— Постой, а чего через щели — паровозный дым?

— Белые душат дымом, товарищи, бей их!..

— Будя орать-то, дура. Туннель.

— Ого!

— Поглядеть бы туннель-то...

— Ночью?..

— И верно, ночь!

— Светает.

— Товарищи, а ведь за нами — составы со снарядами согласно приказу Пеклеванова. Все как один! Выпить бы ради такого происшествия.

— Мужики, дай ему ведро воды!

— Вам какой: родниковой али озерной, господин?

— Ха-ха!..

Вслед за бронепоездом выскакивают из туннеля составы со снарядами. На крышах вагонов, возле пулеметов, испачканные сажей паровоза партизаны. Они смотрят друг на друга и хохочут...

— Животики надорвем, дьяволы!

— А Никита Егорыч, сказывают, скучный.

— Ну? О жене, поди, затосковал?

— Чего? Теперь ему жен найдется много... Ты какое имеешь право — в морду?

— А такое, что, перед тем как брехать, оглядывайся. Закрой рот, а то еще смажу!.. Я никого не боюсь, я за правду, на меня сам бог рукой махнул.

— О-о!..

— Ну вас, грит!..

— О-о!..

Литографированный Колчак в клозете, на полу. Приказы на полу, газеты на полу...

Люди пола не замечают, ходят — не чувствуют...

— А-а-а!

14-69 — под красным флагом...

— Ага!

Огромный, важный, по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий: о-о-о!..

— В Америке — забастовка со дня на день!

— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..

— Изучили!..

— В Англии, товарищи!

Вставай, проклятьем заклейменный...

— О-о-о!..

Бронепоезд выскакивает из туннеля и мчится вдоль моря.

Ах, шарабан мой...

В купе Вершинин, Васька и еще несколько партизан играют в карты, в «носы». Выиграл Васька.

— А ну, подставляй нос, Никита Егорыч.

— Ой, испугал! — смеется нехотя Вершинин.

Бронепоезд засвистел, остановился.

Песня прервалась.

— Что там? Кто? — спрашивает Вершинин.

Вбегает Миша.

— Нарочный, Никита Егорыч, от Пеклеванова. Восстание — вовсю...

Вершинин закрывает глаза.

— Опоздали?!

— Ревком, товарищи, имея задачей...

— Знаем!..

— Буде... Сам орать хочу!..

Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка!..

На койке — Вершинин; дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит — от дыхания его тяжело в купе, хоть двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий.

— Миша! Студент! Шурка! Вы — кто? Машинисты составов со снарядами? Слушайте. Либо мы через пять часов — живы, либо всем нам — конец! Так неужели ж не покажем? Пускай паровозы — в куски, но чтоб довезти. Хватай по дороге уголь, дрова, разваливай дома, но чтоб быть в городе! Страну спасаем, поняли?

— Мы понимаем, Никита Егорыч.

— Доставить!

— И всем составам идти в линию, как к причастью.

— Ха-ха!

— Смеяться будем в городе, в крепости.

Эх, шарабан мой, американка...
. . . .
Табак скурился,
Правитель скрылся...

За дверями кто-то плачет пьяно:

— Китайца-то... сволочи, Син Бин-у — убили... Я им за китайца пятерым брюхо вспорю, за китайца... Сволочи...

— Ну их к... Собаки...

— Я их... за китайца-то!..

Вершинин выглянул: лисолицый старикашка причитает. Никогда он особенной любви к Син Бин-у не чувствовал, а тут вдруг всплыло. Да, многое всплывает в эту ночь. Какой лукавый, какой нежный взгляд из-под полуопущенных теплых ресниц!

— О-о-о! Иой!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну!.. Сказку!

Рев жирный у этих людей, — они в стальных одеж-

дах, радуются им, что ли, гнутся стальные листья, содрогается огромный паровоз, и тьма масляным гулом расползается:

— У-о-у-а... У-у-у!..

Бронепоезд 14-69!

— Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкале небось и на Оби — знают теперь наш бронепоезд.

— Ага!..

Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева...

— Ишь, сука!

— Не мешай.

Слушают все жадно. Мало им, что сами сказку свершают, нет, подавай еще!

Станция. Прохладный ветер дует по перрону от бронепоезда. Луна невелика, к тому же прикрыта облаками, и лучи ее никак не могут пробить насквозь облака, и оттого на станции сумрачно, вязко, как-то печально. В разбитых рамах жужжат мухи, в пустом буфете холодно, гулко, а вся площадь перед станцией — в кострах. За кострами на выжженных улицах — палатки незнакомого вида. О, японцы!

— Переговоры хочет, Никита Егорыч.

— Давай сюда его.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно быть, было весело, холодновато и страшновато.

Вершинин пошел навстречу.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова:

— Мий — нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука.

И сказал Вершинин:

— Нитралитет — это ладно, а только много вас?

— Двасать тысись... — сказал японец.

— А нас — мильен, сволочь ты! — сказал ему Васька Окорок, показывая почему-то на свою рану.

— Обожди, Васька, не торопись, — проговорил Вершинин и, повернувшись к японцу, сказал: — Мы ваши двадцать тысяч не потрогаем, а только есть среди вас ротмистр Рыбаков, вы его нам выдайте. Иначе нейтралитет кончен. Как?

— Нетю Рыбаков, — ответил японец.

— Это — ваша воля. Нету, ну нету. И нейтралитета, значит, нету.

— Нетю. Нас двасать тысисв, да!

Японец, круто повернувшись по-военному, весь какой-то ненужный и чужой, ушел.

Вершинин, тоже круто повернувшись, повторил слова Васьки:

— А нас — мильен, сволочь ты.

И в ладонь свою зло плюнул.

— Еще руку трясет, стерва!

— Одно остается: повесить их всех!

— Хватануть из всех наших пушек!

Голоса партизан поднимались:

— Приказывай атаку, Никита Егорыч!

— Пали!

Вдруг Вершинин, весь замирая от восторга, указал в конец перрона:

— Узнаёте?

— Рыбаков?!

— Отдали ротмистра!

— Никита Егорыч, — слышалось в конце перрона, — карателя ведем!

— Ну, поговорим. Э, обожди!

Плачущего, с девичьим розовым личиком, вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу:

— Не ной!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и, подскочив, как на ученье, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

— Мы — нейтлалитетны.

— Верю. Отправляйтесь-ка вы лучше всего к себе на острова.

— Пликаз микадо.

— Тоже правильно! Прощенья просим, торопимся.

— Прощайте, господин командующий, — ответил японский офицер, улыбаясь какой-то странной, жалобной улыбкой.

«Чего это он? Неужели мы их так пуганули? Даже и самому не верится. Нет, он просто хворый», — подумал Вершинин, идя в канцелярию бронепоезда.

Толстому писарю он сказал:

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял; да и кто поймет?

— Чего?

Вершинин постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то сказать что-то...

— Запиши... — проговорил он с усилием.

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком начал:

— «Приказ. По постановлению...»

— Не надо приказа! Запиши: «Раз дали слово — через пять часов — сами через свой труп перешагнем, а в городе будем! Ты только подержись, Илья Герасимыч!» Верно?

— Куда верней! — согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик со следами кнопок и закапанный фиолетовыми чернилами.

Так слова Вершинина и не были записаны, как, впрочем, и многое другое, что случилось в эти удивительные дни.

Мимо депо — по-прежнему со своим узелком — уныло шагал старик Филонов. Слесарь Лиханцев преградил ему дорогу.

— Филонов, тебя в депо. Почетное дело!

— Какой мне почет? От кого? — печально спросил Филонов. — Сыну принес нынче шаньги — не пускают. Куда там к коменданту: в крепость даже не допустили.

Лиханцев быстро подвел Филонова к гудку депо:

— Ясно?

— Чего?

— Филонов! Тебе, как более всех обиженному белогвардейцами, депо поручило гудеть. Восстание!

Филонов отрицательно покачал головой.

— Не буду гудеть. Сам Пеклеванов приди, я все равно скажу — не буду.

— Очумел!

— Вы очумели, а не я! У меня в крепости сын. Будете брать крепость — интервенты сына моего расстреляют. Что вам, мово сына не жалко?

— На самом деле нельзя ему гудеть, убьют сына его!

Толпа рабочих шумит и сочувственно и с негодованием:

— Нельзя ему!

— Гуди, Филонов! Соображай все-таки!

— Гуди, старик! Что поделаешь: война.

Филонов, схватив валяющийся на полу тяжелый молот, подошел вплотную к гудку, загородил его собой, поднял молот и хрипло сказал:

— И сам не буду, и вам не дам!

Старый железнодорожник Васин достал револьвер:

— Мы с тобой, Филонов, рядом двадцать лет работали, ни разу не ссорились, — я первый и сказал, чтоб тебя позвали к гудку, а ты?.. Отказываешься?

— Сам Пеклеванов придет, и перед ним откажусь!

Ну, наконец-то огороды и пустыри кончились! Пересекли торопливо железнодорожную линию, подлезли под какую-то платформу, посмотрели с гневом и возмущением на убитую кем-то старуху, которая лежала на рельсах, уткнувшись растрепанной седой головой в длинную ковровую подушку. «Кто она? — подумал грустно Пеклеванов. — В чем она может быть виновата? Чья шальная пуля сразила ее? И скоро ли будут наказаны все эти преступники? Моего негодования мало, я прямо задыхаюсь от него... Нужен, действительно, параллельный центр...» Мысли, как видите, были у него довольно беспорядочными, и, чтобы беседой привести их в порядок, он обратился к Знобову:

— А что слышно о параллельном центре?

— Илья Герасимыч, я не понимаю.

— Это я говорил о параллельном... Семенов.

Депо было совсем близко.

— Вот мы и дома, — сказал Знобов. — Слава богу, все, кажись, благополучно.

Из-за угла — действительно из-за угла — раздался невыносимо громкий выстрел. Знобов, мгновенно повернувшись, выстрелил. Вывалился японец, быстро, почти стремительно, словно его вытолкнули. Но упал он не от выстрела Знобова: с револьвером из-за угла выбежала Маша.

— Я опоздала?..

— Ну что ты, Маша! И зачем ты сюда?

— Ты ранен, Илья?

— Да, кажется, меня слегка задело, — сказал с виноватой улыбкой Пеклеванов. — Поддержите меня, Семенов. Я еще вполне смогу сказать заготовленное... Прошу вас, побыстрее открывайте митинг, и мне — первому... Вообще, депо должно начать восстание...

— Не буду гудеть!

Через двери депо на носилках несут умершего Пеклеванова.

Филонов оторопело глядит в лицо Пеклеванова. Молот падает у него из рук, Филонов, ощупывая тело, кричит на все депо:

— Убили! Убили Пеклеванова!

Над депо и станцией проносится гудок.

Рабочие, стреляя и бросая гранаты, пробиваются по железнодорожным путям к артиллерийским складам.

— Пеклеванова убили!

— Товарищи, они хотели нас запугать...

— Да не те им подвернулись!

— Юнкера!

— Где?

— К бою приготовиться, товарищи!

Ворвались в склады. Когда выбили юнкеров и те убежали в крепость, — с удивлением переглянулись:

— Постой, ребята, что-то неладно!

— А что, Знобов?

— Как же это, утекая, они складов не взорвали?

— Перепугались!

— Юнкера-то?

— Я все могу объяснить, товарищи! — завопил Семенов. — Снарядов-то в складах нету! Выходит, их генерал Сахаров действительно все увез.

— Ну и бандиты ж!
— Белогвардия, одним словом.
— Знобов, Знобов, сюда!
— Бегу.
— Снарядов нету, Знобов!
— Знаю. Вершинин доставит.
— Вершинина и не слышно и не видно.

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть — наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли печально рабочие.

— Вершинин?

— Он.

Сердце замерло. С тоской поглядел Вершинин в бледно-серое морщинистое лицо рабочего:

— Чей будешь?

— Филонов. Убили Пеклеванова-то, Никита Егорыч. В депо он лежит, жена его с ним тама... А ты в депо или на крепость? Сын у меня там арестованный...

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок, с усталыми, узкими глазами.

— Нича нету?..

— Ставь пулемету...

— Машину давай, чернай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфет первого класса разорванное красное знамя.

— Грозно ты меня встретил, Илья Герасимыч! — скороговоркой прошептал Вершинин, подходя к телу Пеклеванова. — А мы тебе многие земли навоевали...

Быстро подошел отряд вооруженных карабинами рабочих. Кто-то приземистый, плечистый, в очках, с длинными волосами, низким басом спросил:

— Товарищ Вершинин, прикажете к крепости?

— Откуда?

— Лесопильный завод, склады, а также восставшая часть присоединилась. А сам я — параллельный центр...

— Как?

Действительно, странное слово! Даже раздавленная горем Маша, жена Пеклеванова, подняла глаза и взглянула на приземистого с удивлением. «Параллельный центр? Значит, он в самом деле существовал?» Но, вновь захваченная бурей своего горя, она забыла о параллельном центре. Она сказала только Вершинину:

— Может быть, в крепости она?

— Кто?

Он понял ее. Она говорила о Настасьюшке. «Не в этой ли телеге? Да нет, солдаты всё...»

На телеге привезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, конвойные хохотали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул подряд несколько раз кодаком.

— Этот, фотограф-то, откуда?

— Американец. Они только что нейтралитет, как японцы, объявили.

— Ну, тогда пускай.

— Восстание, восстание!

— Пеклеванов с Вершининым!..

— Э, глупости, не мешайте спать: всю ночь разрабатывали план обороны совместно с американцами...

— Они объявили нейтралитет!

— Ну, знаете, вы совсем спятили, голубчик.

Да, в штабе генерала Спасского ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу — опять бумаги, машинки испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану, где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое, и, не пробежав половины лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатистей насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежащего у лестницы трупа генерала. Солдатик в голубых обмотках и бутсах стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него английская бомба — было приказано: «В случае чего, крой туда бомбу — черт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко. За дверью часто, неразборчиво бормотали, словно молились...

Солдатик устало думал: «А ведь когда бомбу бросить, отскочит от окна или не отскочит?..»

Солдатик писал в свободное время стихи, но свободного времени было так мало, что он с войны принес лишь десяток стихотворений, каждое по шестнадцати строк.

Со стены крепости полковник Катин глядел в бинокль на город. Передавая бинокль адъютанту Бушману, он спросил:

— Белый флаг, кажется? Сдаются, Бушман?

— Естественно, господин полковник. Если у нас нет снарядов, то у них — подавно. Кроме того, по-видимому, приближается Незеласов.

Полковник в ярости ударил кулаком о кулак:

— Снарядов мне, снарядов! Я бы им показал белый флаг!

И, понизив голос, он сказал:

— А температура у моей дочери все повышается и повышается...

Короткое молчание. Адъютант спросил:

— Какие приказания относительно белого флага?

Они спустились в молчании со стены.

— Какие приказания? Поговорите с ними, Бушман. Обещайте жизнь.

— Жизнь, господин полковник?

— Даже господь бог не всегда исполняет свои обещания, что же делать нам, грешным?

Через площадь, на которой лежат трупы убитых, по железнодорожной колее, направляясь к крепости, шли с белым флагом Васька Окорок и матрос Семенов.

Навстречу им — Бушман, адъютант полковника Катина, и три юнкера.

— Партизаны?

— Так точно, — смеясь, ответил Васька, — сводные отряды Вершинина...

— ...и восставший рабочий класс, — добавил Семенов, смело и весело глядя прямо в глаза Бушмана. — Мы это дело умеем, господин офицер.

Перед домом коменданта — строй офицеров и юнкеров. Вдоль строя шел, сутулясь, полковник Катин, заложив руки за спину, и говорил в землю:

— Красные предложили нам сдаться, угрожая в противном случае артиллерийским обстрелом. По-видимому, хвастовство. Но, к сожалению, мы не можем ответить им тем же, потому что никто нам не поверит. Высшее командование предало нас и убежало. Союзники на помощь не идут. У нас так мало ружейных патронов, что я не могу расстрелять арестованных. Мне, к сожалению, придется их сжечь. Кстати, нужно проверить... Прошу подождать, господа. У нас еще есть полчаса.

Полковник оставил строй. Лицо его бледно, глаза — заплаканы. У него очень больна дочь.

Он вошел в тюрьму. Юнкера забили коридоры тюрьмы стружками, щепой, соломой и досками.

— Керосином полить!

— Полито, господин полковник.

— Одолжите мне, пожалуйста, спичку, — сказал полковник. — Я не курю.

Он зажег солому, которая мгновенно вспыхнула.

Пламя занялось так быстро, что полковник отшатнулся.

— А моя дочь по-прежнему в бреду, — пробормотал он, возвращаясь к строю.

Офицеры курят. Кто-то командует: «Смирно!» Офицеры бросают окурки. Полковник Катин продолжает свою речь:

— Господа, у нас есть орудия, но нет снарядов. У восставших, кажется, то же самое. Остаются — штыки. Однако штыковой перевес на их стороне. Итак... — Помолчав, он сказал в землю: — Осталось только — или сдаться, или застрелиться. Те, кто желает сдаться, — два шага вперед.

Все офицеры и юнкера, кроме пятерых офицеров, делают два шага вперед. Полковник закрывает глаза рукой, и желающие сдаться идут к воротам крепости. Юнкера-крестоносцы срывают на ходу нашитые на грудь белые кресты.

Бушман, адъютант полковника, разворачивает трехцветное знамя. Полковник говорит упавшим голосом:

— Капитан Колесин!

— Слушаю!

— Капитан, вам — первая пуля.

Колесин стреляется, падает.

— Штабс-капитан Григорьев! Штабс-капитан Петров! Фон Кюн!..

Три офицера стреляются одновременно.

Полковник смотрит на адъютанта. Тот расстегивает кобуру.

— Подождите секунду.

Катин думает немножко, затем говорит:

— Запишите принятую вами только что радиограмму. — И он диктует адъютанту, который пишет: — «Японские и американские корабли в составе... в составе шестнадцати вымпелов, груженные снарядами и орудиями, идут к порту. Они находятся в двенадцати километрах. Предлагаем спокойно ждать помощи. Принял поручик Бушман». Год, день, час, минута!

Он показывает часы адъютанту.

— А теперь, поручик, возьмите принятую радиограмму в левую руку. Правая у вас будет свободна. До свидания!

Поручик Бушман стреляется. Полковник берет трехцветный флаг, бросает его на трупы офицеров, достает револьвер и говорит сам себе:

— Полковник Катин! Вам — последняя пуля. Слушаюсь!

И стреляется.

По рельсам через крепостные ворота медленно входит в крепость состав со снарядами. Опять туман клубится над морем.

Партизаны тащат снаряды к крепостным орудиям.

— Заряжай, артиллеристы! — слышится голос Вершинина.

А над орудиями, на холме, высоко поставлены носилки с телом Пеклеванова. Здесь — Маша, Настасьюшка, Знобов, Семенов, Хмаренко, врач Сотин.

Снизу на холм тяжело поднимается Вершинин.

Он останавливается перед телом Пеклеванова, снимает шапку. Миша-студент говорит, подавая ему депешу, продиктованную недавно полковником Катиным:

— Корабли интервентов приближаются, Никита Егорыч!

Васька Окорок подводит телеграфистов, которые, глядя на депешу, говорят:

— Такой радиотелеграммы мы не принимали!

— Наоборот, есть сообщение, что корабли интервентов, узнав о занятии крепости партизанами, повернули в море!

— Туман, Никита Егорыч, ничего не разберешь.

И Васька добавляет:

— Возле берега еще кое-что видно, Никита Егорыч. Гляди-ка, беженцы на катера грузятся. Прикажи пальнуть?

— А почему не пальнуть? Па...

Вершинин готов уже отдать команду, но вдруг, вспомнив, говорит Ваське:

— Нет. Пеклеванов не велел стрелять по беженцам. Пускай плывут! Беженец, брат, лучше любой вши панику разносит.

Он берет у Васьки бинокль.

Грузчики тащат снаряды к крепостным орудиям.

— Никита Егорыч, отстреляемся! Ты уж моим устам верь, Никита Егорыч.

— Верю. Твои уста, Васька, как раз те, которыми мед пьют. Приготовить орудия к бою!

— Орудия, к бою! Первое, второе...

— Третье, четвертое... — перебрасывается команда.

И под эту команду туманная полоса отодвигается от берега, освобождая порт.

Видны катера, которые везут беженцев в море, — и все.

Туман уходит. Горизонт чист.

И, вглядываясь в этот горизонт, партизаны ликуют:

— Ого! Ушли, Никита Егорыч!

— Никита Егорыч, а туман крейсера антервентов-то рассосал!

— Вижу, — говорит Вершинин, доставая платок. — Благодать, — говорит он с трудом пересохшими губами.

Бессмысленно-радостным взглядом он рассматривает платок, затем выпускает его из рук — и вытирает мокрый лоб рукавом.

— Благодать-то какая! Дайте все-таки, ребята, залп, в воздух, для радости!

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая томила город жара: теплый туман; и такой здесь бывает. И, как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

В бухте, легко и свободно покачиваясь на зеленовато-синей воде, молчали суда «союзников».

В прихожей штаба тонко и разливчато пела канарейка, и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернильницу и хотел позвать кого-то...

Залп! Выстрел был гулкий, огромный и тяжелый, потрясающий все тело.

Вернулись партизаны:

— Антервенты, товарищ секретарь?

Секретарь положил телефонную трубку и сказал, смеясь:

— Не, это наши палят. Для радости.

— И верно! Повеселело на сердце сразу.

— А как же!

И секретарь стал доканчивать письмо: он писал жене, сообщая, что вроде враг разбит окончательно, что есть потери, но — война! и что Никита Егорыч, повторяя слово «благодать», которое ему в последнее время очень полюбилось, сказал, что, пожалуй, можно еще успеть вспахать и посеять озимые: «Благодать!»

— И верно, благодать!

— А что, товарищ секретарь ревштаба, верно — на послезавтра парад?

— Распоряжение имеется.

Вперемешку с рабочими шли мужики.

Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубахах — приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох волосом. Блестели округленные, привыкшие к камню глаза.

Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны, сказывают, из налимьих шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие рыбами волосы...

И еще — шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще — тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива святой Ольги...

И еще, и еще — равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным, как у усталого стада, шагом...

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровянились потрескавшиеся губы, и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер.

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышиному, оглядывающий манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, в голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходивших людей и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде, и это раздражало солдатика — он был поэт, и ему страстно хотелось запомнить все удивительное и высокое, что произошло в эти дни.

1921—1956

ПОДКОВА

I

Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные и тяжелые, — низко обламывались облака над городом. Невнятные гулы шли по деревянным тротуарам: между досок их — мокрая, седая осенняя трава. Люди в узких деревянных щелях домов; слышен шепот:

— Через Сусловицу перешли...

— Сначала коммуну бить... начнут...

— Говорят, всех прощают, только масштабы их признавай...

— Какие масштабы?

— Господи, а мы-то при чем?..

В этот вечер, когда калечили облака желтые — пахнущие углем и серой — снаряды; когда солнце в маслянистой крови, как незарубцованная рана, уездный кузнец Василий в горне варил картошку. Был он подслеповат — не от кузнечной, а от портняжной работы; от болезни глаз и в кузнецы пошел.

Кузница была под горой — «на подоле»; ниже — город; выше, на горе, — кладбище. Почему кладбище на горе, а не город — неизвестно. Живым и так весело, а мертвецу с горы лучше видно: может быть, так думали?

Подручный Ерошка — кузнец всех подручных Ерошками звал — качал мехи. Голосенко у него какой-то подтянутый, словно пищали мехи или скрипела сухая кожа. Грызя полусырую картошку, махал он тонкой, как ремень, рукой и спрашивал:

— А обозы белу муку скоро повезут? Утикают...

— Муки белой не полагается, муку белую едят белые, а нам надо исть муку черную.

Кузнец погнул в пальцах изржавевший жестяной обручишко, изорвал его в куски и бросил в угол. Обошел вдоль стен, выглянул, вдохнул сладковатой сырости и захлопнул торопливо дверь.

— В городе-то — тьма, даже в тюрьме огня нету. Ты картошку не проследи, уплывет... Белые, поди, сегодня придут, надо б домой идти. Пущай здесь убивают, одна могила, да и та хоть своя, а?.. Всех трудящихся чересчур, говорят, убивают. Возьмут нас, Ерошка, да и повесят вот тут, в станке на перекладинах, где коней куем.

— А за ноги вешают? У которых шея, поди, тонкая, не выдержит, дяденька?

— Проси — повесят за ноги.

— А на том свете в рай попадем?

Василий оттянул котелок, щепочкой попробовал картошку. Седоватая бороденка отсырела и запахла табаком. Ему захотелось курить, он поскоблил в карманах.

— А на этом свете в рай хочешь?

— Хочу.

— Давай табаку, дорогу расскажу.

Ерошка выпустил ремень меха и сказал медленно:

— Я некурящий.

Подумал и, подхватывая ремень, кашлянул тихонько.

— У нас, дяденька, парнишки порешили в бога не верить.

— Ишь!

— Большевики в бога не верют... Кипит!..

— Кипит. Доставай.

В крестах, на горе, ухнуло и посыпало мелким треском.

— Бонба, — сказал боязливо Ерошка.

— Ешь, пока картофель горяча.

А сам кузнец не стал есть. Разломил, понюхал: пахнуло сыростью. Отложил. Поднялся и вдруг, ссутулясь, накрыл корчагой угли в горне. Ерошка зачавкал медленнее:

— Темно, дяденька.

Василий стоял у дверей. Ржала где-то далеко лошадь; по дороге неустанно шел ветер. У станка для ковки, подле кузницы, свистела, как бич, веревка... Кузнецу стало хо-

лодно, он вспомнил, что у воротника рубахи нет пуговиц. Тоненько пискнул в углу Ерошка:

— Дяденька, темно... Пойдем в город... тут крысы...

Обстрел, должно быть, кончился. Щели дверей расширились

Запах угля отяжелел.

Здесь, от станка для ковки, глухо и медленно позвал голос:

— Хозяин!

II

Ерошка для чего-то задергал ремень мехов; метнулась зола в очаге. Василий хотел было промолчать, но туго потер загривок и хрипло крикнул:

— Чего ты-ы?..

— Хозя-яин... — протяжно и густо позвал голос.

В распахнутую дверь сразу, под бороду и на потную грудь, хлестнуло холодом.

У станка, фыркая и звеня уздой, — лошадь. Выше ее — темный, широкий голос:

— Подковы есть?

Звякнуло стремя, мягко осела земля под пятой.

— Кузнец?

Василий порылся в карманах, сплюнул и, ленью голоса стараясь преодолеть дрожь, сказал:

— Покурить нету?

— Огня давай. — Потом, расстегивая одежду должно быть, медленнее добавил: — Коня куй.

— Откуда ты?

— Куй.

Человек стоял поодаль; дыхание у него было медленное. Тонко, прерывисто запахло кислым хлебом.

«Крестьянин», — подумал радостно Василий и, стукнув кулаком по бревну станка, твердо выговорил:

— Ерошка, дуй уголь.

Василий подошел к станку.

— За ночную работу берем вчетверо. От ночной работы у меня глаз сочится, оттого ремесло переменил. Опять, кто ночью кует? Лошади спать надо. Каков размер копыта?

Так же, словно роняя грузный мешок, повторил тот:

— Куй.

Огонь в горне поднялся, и отблеск переломился в си-

ней луже за дверью. Огромное и теплое лежало копыто перед Василием, как темное блюдо. Волос от копыта шел длинный, жесткий и седоватый, пахнущий прелой соломой. Ерошка, стукая пяткой по ящику, тащил подковы. И вот, перекидывая железо, набивая ладонь едкой ржавчиной, стал выбирать Василий подкову. Одна за другой, в связках, в одиночку, старые, стертые, блестящие и совсем шершавые, и новые, еще пахнущие огнем, ложились подковы на кочковатую ладонь и звякали, падая обратно в ящик. Не то! От старых битюгов, давно, еще до войны, возивших барские клади, уцелело шесть пар, валялись они в углу. Ерошка вытащил их, свистнул и подкинул угля в горн — чтобы было светло. И эти — не то! Лежали они, словно кольца, на ладони.

Человек, сошедший с лошади, звякнул чем-то позади станка. Василий обернулся и поглядел на него.

Тоненькой ниточкой на огромном куске солдатского сукна блеснула винтовка. Ушастая, островерхая шапка с пятиконечной звездой оседала на широкий лоб.

Василий поспешно спросил:

— Какой губернии?

— Я-то?.. Муромской.

Василий обежал кузницу; запнулся за подвернувшийся обруч, откинул его в угол. Подбросил для чего-то угля в горн, махая над углем куском железа, крикнул:

— Нету подходящих подков! Нету!

Звякнула тяжелыми кольцами узда.

— По коню куй.

Человек, сошедший с коня, огромным грузным шагом отошел куда-то в темень, и оттуда раздалось:

— Куй.

Раскаляя железо, Василий над искрами его хотел было охнуть, пожаловаться, а засвистел, заскрежетал молотом:

— И-их!.. И-их!.. Ирошка-а!

И Ерошка вился худеньким телом: тоже под искрами, под молотом рвал мехи, в горн надавливал воздух, потел, попискивал:

— Их, дяденька-а! Их...

И только тогда, когда подкова лежала, как темновато-алая ржаная булка, крикнул Василий:

— Туда, что ль, на них?..

— Прямо! Куй.

— Кую! И-их!.. Пря-ямо?

— Прямо.

— И-их!..

Лошадь дышала тепло, прямо в затылок Василию. Человек в островерхой шапке так и не показывал лица.

Шлепая, разрезая грязь, прошел в гору обоз.

Хотел Василий пожаловаться, рассказывать долго и правильно, чего он, кузнец Василий, хочет. Конь, словно лопатами, откидывал подкованными копытами звонкую пахучую грязь. Седло под рукой Василия — теплое, ласковое.

Он сказал, указывая на гору:

— Город-то надо сюда перенести.

Из тьмы опять, как грузные пласты земли, последний раз упало:

— Перенесем. Обожди.

1922

ЛИТЕРА «Т»

Иван Семеныч Панкратов любил беззаботно повторять, что и умрет-то он, стоя за реалом, и что труп его вынесут из типографии, как букву вынимают из набора: лбом к стенам, а не к потолку. Приятели по работе уважали его за эту беззаботность, бодрость, веселую седину и за те пять морщин, которые, как шрамы, пересекали его розовое лицо и говорили, что человек с такими морщинами видел много ветров и много солнца.

Давно уж Иван Семеныч стал замечать, что зрение его слабнет, мир тускнеет: исчезают веселые облака, рано наступает серый вечер. С табличного набора его перевели на афиши, но он делал много ошибок. Перед ним извинились, поручили ему раздавать оригиналы и разбирать. Но и тут Иван Семеныч не упал духом, он только заявил, что, видно, от старости руки трясутся, а про глаза умолчал. В жизни он, казалось, о многом молчал.

За такую беззаботность его, за душевную красоту приятели, жалеючи, перед тем как Иван Семеныч начинал разбор, подкладывали в клеточки касс темные бумажки. Иван Семеныч разберет заданный урок, а приятели утром велят выгрести буквы, бумажки возьмут — и снова переберут его работу, потому что, по слепоте своей, Иван Семеныч буквы путал и кидал не в те клеточки, где им надлежит быть: кинет литеру «к» в свою клеточку, а она рядом упадет — в «л». Вновь поступающих рабочих Иван Семеныч опасался: к новому лицу привыкнуть трудно, лицо как бы раплывается в синей мгле...

В день, когда начинается рассказ, на работу первый раз вышел накладчик Мишка Благовещенский. Паренек

это был молодой, лет шестнадцати, дошлый. За свою короткую жизнь беспризорника он успел уже объехать всю Россию, побывал и в столицах. Мишка работать явился злым, к тому же в городе поговаривали, что со стороны пустыни ведут наступление басмачи с атамановцами и что руководит наступлением атаман Кашимиров — офицер, прославившийся своей жестокостью, — а Мишка был трус, хвастался трусостью, и поэтому никто его трусости не верил. Пришел он в типографию рано утром. Мальчишка подручный уже собирал перепутанный разбор Ивана Семеныча; мальчишка пожаловался на свою унизительную участь. Мишка встретил Ивана Семеныча язвительным смехом. У Ивана Семеныча была легкая, уверенная походка, он остановился на пороге; белое крыло седины поднялось выше косяка дверей.

Тогда метранпаж Ершов отозвал Мишку за машину, поднес к его носу пропитанный скипидаром кулак и свел коротенькие сердитые брови. Мишка смолк. Иван Семеныч понял, что Мишке не дали говорить.

Был пасмурный, низкий день. Две недели уже шли дожди. Из подпочвы сквозь песок выступили глины с отвратительным затхлым запахом. Медленно по течению Аму-Дарьи к городишку П. спускался пароход «Волна революции». На пароходе находились две роты красноармейцев, полевые орудия и снаряды. Пароход шел на помощь, потому что действительно из пустыни на городок шли басмачи. Спускался же он медленно оттого, что река Аму-Дарья, текущая среди песчаной пустыни, часто меняет русло, на ней много перекатов, мелей, течение ее стремительное, опасное, к тому же бандиты уничтожили на перекатах бакены, да и бакенщиков давно не осталось на свете. Ночью пароход бросал якорь, и каждую ночь поднималась брань: солдаты требовали, чтоб пароход все-таки шел!.. Да и верно, спать было более опасно, чем идти. Каюки басмачей не слышны: в камышах шелестит ветер... Пароход тушил огни; матросы проверяли затворы. Наконец солдатам сообщили, что до городка остается каких-нибудь верст десять — пятнадцать. Но начался крупный дождь, небо потемнело. Буро-желтые песчаные холмы окружали стремительные воды Аму-Дарьи.

На одном из холмов виднелось огромное голое дерево, украшенное гнездом ворона. Матросы высадились на берег, взобрались на холм. Ворон не пускал матросов на де-

рево, налетал несколько раз (подле дерева валялись щиты молодых черепах: воронята, видимо, питались ими). Сверкнула молния — и тогда осторожный матрос выстрелил в ворона, и гром заглушил выстрел. Бесконечная голубовато-бурая равнина, покрытая гравием, расстилалась перед ними. Еще дальше виднелись фиолетовые холмы: ничто не напоминало о городе. На душе у команды было смутно. Долго спорили они тихими голосами — и все же решили кинуть якорь. И тогда гнилые запахи подпочв дохнули на них с берега. Туго натянувшаяся якорная цепь дрожала на мелких и злых волнах. Река, мутно-желтая, тяжелая и холодная, стремительно неслась мимо...

В городе ревком уже давно ожидал парохода, уже второй день пристань была украшена мелкими красными флажками (они уже успели полинять, и свирепый дождь частью оборвал их). Половину городка населяли казаки, и ревком опасался, что многие из них могут перейти на сторону басмачей и атамановцев, и (в то время как остальное население было мобилизовано) боялся призывать казаков к защите города. Казаки, несмотря на дождь и слякоть, ходили увешанные оружием, с песнями и гармониками, привезенными с фронта, — и все это еще более увеличивало беспокойство. И сидящие в окопах, за городом, перед лицом пустыни, больше всего смотрели на город, тоскливо слушая его. В пустыне было темно и сыро.

Дальше, десятка за два верст, среди холмов, связав вершины нескольких кустарников, укрыв их попонами и чепраками, спали басмачи; атаман и генерал Кашимиров был среди них. Вот они прошли почти через Кызыл-Кумы; город уже был неподалеку, а за ним Аму-Дарья, и за нею благословенная, благоуханная Хива! Все ж и басмачи и атаман Кашимиров верили в силу города! Наконец они поймали киргиза, бродячего певца-уянчи, пробиравшегося из Хивы в Бухару, и певец сказал им, что русские третий день уже отводят Аму-Дарью в сторону, что у русских непередаваемая даже в песне сила, что это великие богатыри; здесь атаман Кашимиров выстрелил певцу в рот. И тогда басмачи решили, что певец-уянчи подослан, шпион; сверкнули мокрые укрючины; звякнули стремена. Басмачи понеслись на город.

А город действительно под дождем, в грязи и слякоти, третий день рыл канал. Пароход «Волна революции», кинувший якорь в пятнадцати верстах от города,

вдруг ночью пошатнуло. Команда спросонья открыла было огонь. Плеск воды прекратился. И дождливым утром солдаты увидели, что река отошла в сторону на сто саженей. Пароход неуклюже торчал в тине. Увязая по колено в грязи, матросы стащили лодку в реку. Коряги, тинистые и черные, торчали округ. Громадные рыбы, не успевшие скрыться, тускло трепетали под дождем в крошечных лужах. Матросы гребли к городу. И вот тогда ревком объявил добавочную мобилизацию, конфисковал лопаты и кирки.

Неумело выстроившиеся отряды направились рыть канал, дабы пропустить воду к пароходу. Моросил дождь, и небо было низкое, серенькое...

В типографии было холодно, шрифты слиплись, потому что смывать краску было нечем: ни скипидару, ни керосину. Краска застыла; валики машины прыгали по шрифту не прилипая. Рабочих увели рыть канал, остались только Иван Семеныч да Мишка.

И по-прежнему Иван Семеныч бодро ходил среди реалов, заложив за спину руки, покашливая и жалея, что некому рассказать пришедшие ему в голову занятные истории. Мишка, дабы его не мобилизовали, расковырял гвоздем ногу на подъеме, хромал, злился и резал узкие ленточки бумаги, чтобы ими переклеить крест-накрест окна: стекла тогда от бомбардировки не лопаются. Иван Семеныч побродил-побродил, посмотрел на стекла и сказал, что давно пора бы вымыть — больно уж тусклы! Мишка огрызнулся: стекла мыли только утром, да и дождь их плохо моет, что ли! А старик все беззаботно смотрел в сторону, в окна, которых почти не видел. Вдруг в дверях типографии показался военком города Тулумбаев.

Тулумбаев, сутулый и решительный человек, держа в руках аккуратно переписанный лист бумаги, сказал, что, по полученным сведениям, басмачи и атамановцы под предводительством генерала Кашимирова наступают на город со стороны пустыни и будут у окопов не позднее как через полтора — два часа. Ревком заявляет рабочим типографии: в их руках судьба города. В казачьем клубе объявлен митинг, но казаки не придут, если по городу не расклеить воззваний, в которых приводится текст телеграммы из центра, уравнивающей в правах на луга и покосы казаков и туркмен. К пароходу, за рабочими, не

успеть; да и некому ехать — надо говорить, действовать! Тулумбаев передал оригинал воззвания старику.

— Когда явиться за напечатанными воззваниями? — спросил он.

И старик ответил ему:

— Через сорок минут!

Военком пожал ему руку, дотронулся до козырька и, щеголяя решительностью своих движений, быстро вышел. В окно все еще сыпал мелкий дождь, было тихо, но в городе уже началась суматоха: не знали, куда тащить пулеметы — то ли к исполкому, то ли в окопы за город. Поперек улиц протягивали проволоку.

Иван Семеныч стоял с оригиналом в руках и видел перед собой твердое серое полотно с ровными строчками. Шея непонятно ныла, и остро кололо в висках, так остро, что трудно было повернуться. Мишка мотался перед ним и жалобно и злобно — уже сам страшась своих выкриков — стучал каблуками. Он кричал, что не хочет из-за такого старого черта, всегда притворявшегося наборщиком, — не хочет быть расстрелянным! Ему жаль, он страдает оттого, что не вздумал вовремя хоть сколько-нибудь подучиться набирать, хоть бы кассу немного знал! Мишка, задыхаясь от злости, схватил Ивана Семеныча за руку: кисть была длинная и неимоверно тяжелая. Мишка подвел старика к кассе, обежал кругом реала напротив, облокотился на выпачканное краской дерево, упал на него грудью и опять завопил:

— Расстреляют из-за тебя! Свои же расстреляют. Набирай!

Бумага сухо свертывалась. Строки стыли, исчезали. И тогда Иван Семеныч вдруг вспомнил, как недавно умершая старуха, уже перед самой кончиной, глядя на него жалобно, сказала, что «ты вот, Иван Семеныч, как овод: летишь по-птичью, кричишь по-бычью», а что дальше... слезы показались у нее на глазах. Тогда эти слезы сильно удивили Ивана Семеныча, и он их понял так, что старухе не хочется помирать, жалко расставаться с жизнью. И вот теперь, держа в руках оригинал, текста которого он не видел, он понял, как долгие годы он обманывал себя и как его обманывали и жалели. Понял многие разговоры, понял, почему так мало всегда было разбору и почему наборщики говорили, что мало работы и что он, Иван Семеныч, может отдохнуть, может идти. Иван Семеныч уходил,

гулял по городу и думал: какая у него легкая и достойная старость. А выходит, его, старого болтуна и хвастуна, держали неизвестно за что в типографии, работали за него, кормили его... А теперь из-за его беспомощности, из-за его... Сердце его устало рванулось. Неужели ж городу из-за него погибать?!

Мишка все еще орал:

— Набирай, набирай!.. — Ругательства его были неистощимы.

Иван Семеныч неистово дернул кассу: третью по счету сверху. Реал пошатнулся. Он выключил верстатку на десять квадратов; выбросил кассу на реал (несколько квадратов выпало). Он сразу схватил букву «Т», — так начинались все воззвания, и ему показалось, что взял он не букву «Т», а другую, перед ней или рядом с ней. Он взглянул на литеру. Литера была холодная, тяжелая и тусклая, как бы совершенно сбитая, стертая. Он беспомощно взглянул в окно, — и окно, казалось, было стертое, в розовой мерцающей паутине. Он поднес литеру близко к глазам. Неясный и неразборчивый овал буквы блестел в его гладких, туманных и как бы помолодевших пальцах. Но какая это буква — нельзя было ничего разобрать. Ничего!.. Верстатка затряслась в руке.

Ничего?.. Значит, ничем и никак он, старый наборщик, рабочий, не может помочь рабочему классу и беднейшим крестьянам, вставшим на защиту социалистической революции?.. И неужели он, старый рабочий, не способен собрать свои силы так, чтобы увидеть буквы? Неужели в эти минуты, когда решается судьба многих советских людей, он ничего не способен сделать? Неужели воля его так уж ослабла?.. Не может этого быть — и не будет!

Мысль его лихорадочно работала. Он почувствовал легкий озноб в пальцах ног. Голова горела. Горло пересохло. Он сделает, сделает свое дело, он добьется, он заставит себя увидеть буквы!..

Мозг его, казалось, запылал. Необычайная радость творческого напряжения вдруг выпрямила его. Слезы покатились из глаз, и слезы эти словно унесли с собой тот туман, который окутывал его глаза. Он видел отчетливо и кассу и шрифты... «Товарищи!» — вот первое слово, которое он наберет самым крупным шрифтом.

Литера из ладони опять вернулась в его пальцы, теперь уже упругие, и, разглядывая эти пальцы, он вспом-

нил, что давно не видал морщин на них. Но до морщин ли ему теперь! Ведь когда он плохо видел, он взял из кассы не литеру «Т», а литеру «С», лежащую в соседнем отделении. Он кинул литеру «С» обратно и сказал вслух:

— Ошибка, — и твердыми пальцами, описывая полукруг перед верстаткой, принес литеру «Т», за ней «О», за ней «В» и так далее...

Тогда накладчик Мишка медленно отошел от реала, боязливо оглянулся, зачем-то пригладил волосы и начал приготовлять марзаны для заключения набора в раму. Рама вставляется вместе с набором в машину — и можно печатать. Раму он сначала выбрал самую новую, а затем осмелел, ехидно подмигнул самому себе — дескать, знаю, старик-то лодырь, как ловко всех обводил! И взял раму самую грязную и заржавленную. Иван Семеныч, все еще чувствуя необычайную свою радость и даже мучаясь от этого (грудь слегка покалывало и болели виски), поспешно выставлял одну верстатку за другой. Ему показалось, что он пропустил слово; он проверил, перечел — все было в порядке. Он опять стал набирать, и опять казалось, что слово, теперь уже какое-то необычайно важное слово, пропущено. Он сплюнул, досадливо завязал шнурком набор, кинул его на талер и схватился за рукоятку, чтобы повернуть машину и чтобы валики накатали на буквы краску. Руки его были мокры от пота; пар шел от лица.

— Крути! — закричал Мишка, кладя на барабан под зубцы лист обойной бумаги (воззвания печатались на обоях).

Иван Семеныч увидел оттиск набора. Сколько лет он не видал оттисков своего набора? Ему некогда было вспоминать. Мишка визжал:

— Читай корректуру, дядя!

И он увидел опечатку: вместо слово «смертельная» стояло «смиртельная», он схватил шило, дабы выдернуть букву из набора, заменить ее другой, но здесь острие шила исчезло из его глаз, затем он потерял рукоятку, пальцы его пошли в туман, рука исчезла. Он выронил шило и, крепко схватившись за рукоятку машины, огляделся. Типография скрылась. Мутно-багровый туман был его миром. Он сказал:

— Накладывай, Мишка.

Мишка свистнул, приказал ему крутить. Вскоре прибежал за воззваниями солдат, их отдали все — семьдесят

штук, себе забыли оставить. А через полчаса казаки наполнили окопы. Пулеметы обратили дула свои к пустыне. Басмачи отступили. А еще через пять часов пароход вышел прорытым каналом в Аму-Дарью. Весь город встречал пароход. Вывели встречать и Ивана Семеныча, под руки (он и сам не заметил как и зачем). Казаки стройно и, должно быть, с некоторой хвастливостью кричали пароходу «ура!». Все еще шел дождь, и мелкие капли падали на лицо Ивана Семеныча. Кто-то спросил его:

— Видишь, пароходище-то какой громадный?

И он ответил:

— Вижу, — хотя перед ним стлалась бесконечная туманная пелена и посреди ее блестящий крошечный кружок — солнце.

1927

ПРО ДВУХ АРГАМАКОВ

С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Пожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно стряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.

Великое ли диво — пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга — больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.

Старуху одну, в зеленом казакине, полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.

Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков. И к вечеру уже, когда и колоколенки и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.

— Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно

по всему Яику. Ильбо от Разина — сказывают, великий он колдун был, — ильбо от чего другого прадед наш, Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов — уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный двуэтажный и под железной крышей.

Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два — Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветает, что солома, а Митьша — черный, чисто кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем как Егорше в лагеря идти, «сам»-то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал — лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше — Игреньку.

И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» — «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.

Сколько раз казацкую жизнь спасали кони — я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два «георгия».

Осенью пустили их, ильбо самовольно приехали — не знаю уж. Подойти к ним тогда было — чисто сердце отрывалось. Ходят по двору, один — вправо, а другой — влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу».

И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу. «Утиши, господи, их сердца», — молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире — боле. Я уж говорю Митьше: «Разделить вас ильбо что?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит: «Все народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошенный?

Тут еще одна беда — Егорова молодуха собою краса-

вица была: лицо — чисто молоко, сама — высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, что ли, — только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня: «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он разор всему нашему роду, в большевики пошел». Мы тогда большевиков-то не знали.

Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла наведнись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление — по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».

Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянул.

Только не вышло у них, что ли, — не знаю. Вернулся Митьша — прямо на полати в валенках залез. А тут, немного погодя, и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слазь с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»

Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полено и брата-то — господи, родного брата! — по голове, и бежать! Ладно, у того кыргызский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом, через минуту, что ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».

У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься. матушка. Буду я народным героем!»

И за дверь — тихонечко.

Я как только очнулась немного — за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой — у моей жены?»

Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивца и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший — где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.

Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот

доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку те казачки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу — след, так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А генеральские казачки-то — шашки наголо, да на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Хотел было Егор приказ отдать отступить, потому видит — не одолеть ему генеральских казаков.

Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супрстивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали, вишь, конь коня, Серко — Игреньку.

Закинул Егор голову, да и спросил громко: «Брат, Митьша, ты?..» — «Я, — отвечает тот, — я!»

Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.

Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит, за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались.

А Егор револьвер вынул, подходит к коню Серко. У самого слезы на глазах. Ведь конь — тварь бессловесная, ее винить в чем?.. И говорит Егор тому коню: «Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!»

И убил коня.

...Сердце-то у меня с того времени будто полынью поросло. Все-то времечко на нем горечь горькая.

1923

ВСТРЕЧА

Мы на холме, и вот в долине перед нами развалины стен Каракорума. Его черная тень некогда лежала над всей Средней Азией, а теперь камни его домов не имеют четкой тени своей, способствовавшей некогда сравнению, что тени его домов подобны чепраку седла. Они овиты жалкими монгольскими травами. Сыто смотрит на травы моя лошадь.

Некогда. Желтоскулый и с узкими, словно это была рана в сердце, глазами монгол скакал от ворот с перстнем Чингиса направо — через Иртыш и Обь к океану, налево — через Волгу к польским лесам, и еще за узорными коврами — в Персию. Теперь — тени тишины.

Желтовато-синий росистый вечер ползет к моим стременам, и кажется — громадная собака лижет подъем моего сапога.

— Барамыс. Поехали? — спрашивает Докай. — Дальше?

— Барамыс, — соглашаюсь я. — Дальше.

Но кони наши продолжают стоять неподвижно.

Их уши насторожены, и мне кажется, что сердце моего коня своим биением колышет мое стремя. Я склоняюсь к луке седла и вглядываюсь в кустарник. Может, там торопится к своему логову волк или заглянул с Балхаша джулбарс — тигр. Мягкая тишина над кустарниками, будто все вокруг окутано шерстью, и низкое небо, как скатавшаяся шерсть джабага — овцы. Конь неслышно поднимает копыто, опять вздрагивает, и вдруг резкий свист трепещет над тропой.

Огонь смолевой щепы широко вспыхивает на одном из камней. На мгновение огромный камень приобретает очертания дома.

— Кто? — кричим мы. — Кто там? Кто идет?..

Свист повторяется, он наполнен какой-то седой хрипотой. Я вдруг вспоминаю его: так глухой ночью разбежавшееся стадо призывает пастух. Он уже знает, что стадо не вернется. Это свист отчаяния, а не призыва. Одни лишь огорченные собаки трутся у ног. Пуста теплая, умятая тушами земля, ветер неслышно уносит клочки шерсти — остатки его стада.

Я молчу. Конь храпит.

Дрожит на камне горящая щепа. Ее оранжевый пламень густеет. Наконец она тухнет. Я кричу опять:

— Кто-о?..

— Обожди, апа... — шепчет мне Докай. — Тохта... Обожди.

Мы ждем.

Кустарники вдруг начинают шипеть.

Нет, это шаги. Они тяжелы, и мне вспоминается железная нога строителя Каракорума. Они медленны. Дыхание идущего таково, будто он дышит железными легкими.

Конь мой пятится, когда широкая, почти ползущая по земле серая фигура показывается из кустарников.

— Ты кто? — хрипло спрашивает он меня. — Ты кызыл-урус?

— Да, — отвечаю я, поднимая ружье, — да, кызыл-урус (что на языке пустыни значит красный русский).

— Тогда я буду говорить и целовать твое стремя, — хрипит вышедший из кустарников.

— Говори.

Опять вспыхивает щепа, и вместе с запахом смолы я явственно слышу запах трупа. И я тороплю, и конь, мотающий уздой, тоже торопит.

— Говори, подошедший ночью.

— Я говорю тебе, сидящий на кауром коне, и слова мои верны, как то, что некогда здесь вместо каракорумской полыни кузнецы умели ковать сабли лучше кузнецов белого царя, которого вы, кызыл-урус, зарезали. Значит, так нужно, и мне не жалко его. Я кузнец, и в джатаках подле поселков у меня есть горн, и род мой, быть может, идет от кузнецов Каракорума. Я имею стадо в пять рогатых голов, две лошади и указанное, по преда-

нию, для бедняка число баранов. Восемь лет платил я за жену калым и платил бы, если б было нужно, еще восемьдесят ради одной встречи восхода на кошме моей юрты за чиевой перегородкой. Ее походка легче иноходцев всей Гоби, а пальцы ее, доящие кобылиц, колыхали вымя легче, чем ветер колышет ковыль, и такое колыхание было у меня на сердце, когда она подавала мне чашку, наполненную до краев айраном. Я — хороший хозяин, но, беря чашку, я плескал на кошму айран, молоко. Ты бы, посмотрев на выплеснутые капли, вылизал их языком, потому что вы не привыкли, русские, любить. Ваша любовь похожа на молодую лошадь, не умеющую держаться на скачках. Я не хотел быть баем, богачом; жена не хотела быть ханшей, и все-таки вчера вечером к лощине Аи-Той пришли баи и урусы-казаки с парчовыми плечами. Они вырезали мое стадо, и думаю, кызыл-урус, им, должно быть, не хватило крови, и они на голой земле, растоптав мою жену, вырезали ее груди. Они не нашли ее сердца, потому что оно, страдая за мои стада и меня, высохло в тот вечер и было, наверно, не крупнее пылинки! Я не мог принести вам своих зарезанных овец и коров, они поедены. Я принес показать вам свою жену... Я нес ее на своих руках двадцать верст от лощины Аи-Той, чтоб ты обменял ее труп на верную винтовку...

Киргиз сдернул грязное одеяло, покрывавшее труп. Скатилась черная капля смолы и сипло зашипела. Рот у женщины был распорот, и щека проткнута саблей.

— Ее звали Кызымиль, — сказал киргиз, сметая ногтем упавший на рану жены уголь. — Она плюнула старшине в бороду, когда тот, опившись кумыса, полез ей за ворот.

Он вдруг упал на колени и схватил мое стремя. Губы его вытолкнули из стремени мой сапог.

— Давай, урус, винтовку. Я двадцать верст нес на себе Кызымиль, она тяжелая, — я ее хорошо любил и хорошо кормил. Давай! Едем?

— Едем.

Тропа несет меня к кострам моих друзей. Костры будто покрыты росой. Тропа мокра от росы, как повода узды моего коня.

1925

О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

ПРИ БОРОДИНЕ

Двадцать пятого августа, накануне Бородинского сражения, неподалеку от флешей — укреплений, получивших позднее название «Багратионовых», на плоском холме, поросшем вялым и редким ольховником, встретились братья Тучковы: командир третьего резервного корпуса генерал-майор Тучков-первый и шеф Ревельского полка генерал-майор Тучков-четвертый.

Всего братьев Тучковых было четверо, и все они вышли в генералы. На войне и в семье жили дружно; в походе и дома старались чаще встречаться. И надо бы им всем четверым встретиться перед этой великой битвой, да не пришлось: третий брат, израненный в жестоком бою под Витебском, полонен французами, а Тучков-второй лежал в лазарете, мучимый изнурительной лихорадкой.

Когда братья соскочили с коней, они обнялись и прослезились: каждый из них вспомнил о брате и поклялся в душе отомстить за него. Вслух же стали выспрашивать — какое кому дело поручено в предстоящем сражении.

Тучков-четвертый — красивый, стройный, волоокий мужчина в мундире темно-зеленого цвета, нервно проводя рукой по лбу, который он увеличивал, подбривая верхние волосы, сказал:

— Я, Вихрик, клятвенно могу поднять руку: лучшего дела себе и не желал — полк защищает флеши. С нами бог и Багратион! А ты куда назначен, Вихрик?

Братья в семейном кругу называли друг друга именами, оставшимися с детства. «Вихриком» прозвали в детстве старшего брата — за его жгучую неукротимую

стремительность. «Выг» — осталось за четвертым; он в детстве, совсем маленьким, увидав месяц, сказал: «Она — выгнутая назад», — и это показалось забавным, стали это повторять, фраза сократилась, и теперь уже плохо помнили, что значит это слово.

— Поздравляю, Выгушка. Флеши — дюжее назначение! Будете вы на них стоять, как иллюминированная картинка, — вдруг с легким раздражением проговорил Тучков-первый. — А я вчера получил специальное распоряжение главнокомандующего князя Кутузова: вывести третий мой корпус к Старой Смолянке, с тем чтобы обрушить его на неприятельский фланг и тыл, когда французы истратят последние резервы на левом фланге армии Багратиона.

— Прекрасно, Вихрик.

— Прекрасно? — дыхание, короткое, гневное, подняло широкие плечи генерала. — Нет, не прекрасно! Прекрасно молоко, а не известковая вода. Ты можешь говорить, что я смотрю ограниченно, — говори! Но какой же я секурс, какое у меня войско, когда ко мне, накануне битвы, в корпус на четыре тысячи регулярного войска добавили семь тысяч иррегулярного?! Ополченцев! Вооруженных одними пиками! Понимаю — московское ополчение, несут крест... Нет, сударь, это вам не иллюминация, это...

— Ты, Вихрик, всегда горячишься.

— А что же, мне бледным и почтительным быть, когда они с пиками и пики расставлены по всей дуге градусного круга? Гришка, дьявол! Подтяни подпругу! — свирепым голосом, с потемневшими глазами закричал он кавалеристу, державшему его коня.

Александр Алексеевич с удовольствием смотрел на некрасивое, но пышущее силой, свежее и надменное лицо брата.

Гневная вспышка улеглась. Тучков-первый, по обыкновению бодрый, смешливый, выдумщик, развеселился. Багровость с его лица еще не сошла, но он уже хохотал над тем, что его человек с испугу так затянул брюхо коня, что тот еле дышит. Затем он обратился к Александру Алексеевичу и стал рассказывать, как приехавший вчера управляющий имением попал под французские ядра и расплакался с испугу.

— У этого на всю жизнь след от войны останется, ха-ха!

Он прислонился спиной к седлу, конь пошатнулся. Генерал громко вздохнул, и по лицу его можно было понять, что он уже придумал, как приспособить московских ратников и их пики к бою. И видно было, что выдумка эта ему очень нравится и что она будет очень неожиданна и очень страшна для французов.

— Выгушка, а ты письмо домой с управляющим пошлешь? — спросил он. — Быстро доставит, ха-ха! Посмотрел бы ты на его рожу — лопатой испуга не снять!

Александр Алексеевич молча передал письмо. На адресе стояло имя жены его, Маргариты Михайловны. Прочтя адрес и взвесив на руке тяжелое письмо, Тучков-первый опять побагровел, но теперь уже по другой причине. Он очень любил свою семью, хотел бы писать им длинно, подробно, ласково, а письма получались слово в слово — приказ по полку. Это раздражало его, и он завидовал своему брату, письма которого всегда были образцом эпистолярного слога. Чтобы избавиться от этих глупых и унижающих мыслей, Тучков-первый поспешно спрятал письмо брата и опять заговорил о рекрутах, теперь уже снисходительно: он-то ведь знает, как поступить со своими рекрутами, со своими ополченцами! Ему показалось, что Александр Алексеевич невнимательно слушает его.

— Разве у тебя мало рекрутов? — спросил он. — Прислали? Сто? Двести? Каковы! Перед самым боем изволили прислать укомплектование! И они осмеливаются считать своим законным правом заботу о России! У, подлецы! Я бы не только на их имущество, я бы на них самих наложил полное запрещение...

Александр Алексеевич слушал плохо, но, чтобы не обидеть брата, заискивающе улыбался. Подобно другим офицерам армии, Александр Алексеевич боялся прихода в часть рекрутов: как бы хорошо ни были они обучены, они могут разжидить если не воинский строй, то воинский дух — деятельную и беспредельную ненависть к наполеоновским мародерам, к этой жадной и беспощадной ораве грабителей. Обычно боязнь эта оказывалась неосновательной — рекруты быстро пропитывались духом армии, воспитанной в борьбе с Наполеоном, и через неделю-другую рекрута не отличишь от старого служилого. А все же стоит появиться толпе рекрутов, как офицер смущенно заерзает, покраснеет и начнет кричать беспричинно на

приближенных, как кричал сейчас на человека, державшего повод, Тучков-первый... Но не о рекрутах думал Александр Алексеевич...

Правда, думы начались с рекрутов. Сегодня на рассвете в его полк, так же как и в другие части, пришло укомплектование, разумеется не такое значительное, как укомплектование корпуса Тучкова-первого. Пришли сотни полторы здоровых, высоких и, видимо, решительных крестьянских парней. Александр Алексеевич осмотрел их и остался ими доволен. Лицо одного рыжего парня с толстыми щеками и широкой грудью показалось ему знакомым. Александр Алексеевич спросил имя и фамилию рекрута. Гулким голосом, хотя и чуть пришепетывая, рекрут прокричал:

— Степан Карьин, ваше превосходительство!

— Во втором взводе у вас, Иван Петрович, — обратился генерал к поручику Максимову, — никак есть Карьин? Да этот и лицом схож?

— Марк Карьин тебе кто будет? — спросил поручик у рекрута.

С неподвижным лицом, тем же гулким голосом рекрут сказал:

— Отец, ваше превосходительство!

— Позвать сюда унтер-офицера Марка Карьина, — приказал генерал.

Вытирая на ходу руки о штаны, синеватый от испуга, прибежал и вытянулся перед генералом унтер-офицер Марк Карьин. Лицо его действительно походило на рыжее и мясистое лицо Степана, но война сильно выщелочила его: оно и суше и решительнее. Превосходное лицо солдата! При виде этого лица генерал вспомнил Суворова, которого ему удалось видеть однажды в детстве, вспомнил его голос, режущий воздух, как хлыст с кусочком свинца на конце, и с несвойственной ему резкостью в голосе сказал:

— Унтер-офицер Карьин! Рекрута Степана Карьина возьмешь в свой взвод!

Поручик Максимов скомандовал рекруту: «Вперед — марш!» — и рекрут Степан Карьин пошел за своим отцом. Генерал тоже повернулся и пошел в свою палатку. На барабане перед ним лежали листы бумаги; в бисерном футляре — чернильница, в граненом голубом стакан-

чике — перья... А письмо не писалось! Вернее сказать, писалось, но писалось не то.

Привязалась почему-то длинная и нелепая фраза: «Она так прекрасна, что даже непролазно сонные будочники смотрели ей вслед по улице, удивленно качая головой, пока она не скроется из глаз», причем фраза эта звучала в голове то по-французски, то по-русски. Он знал, что никакие раскрасавицы не проймут будочников. Да и что ему будочники? А фраза между тем стучала и стучала в мозг, как молоточек. «Будочники, будочники... — думал он, с улыбкой вынимая и кладя перо в граненый голубой стаканчик. — Будочники...» Он боялся думать о любви — и думал о любви.

Ему тридцать шесть лет, а Маргарите Михайловне тридцать один. В эти годы у других людей от любви остается, как при сожжении чего-либо растительного, дым, сажа, вода... А тут получился недожог, остался уголь — и уголь тот еще в огне! Он и так и по-другому поворачивал в сердце этот тлеющий сладостно и горько уголь; ему страстно хотелось рассказать жене об этом томлении, которое при виде ее прекрасного лица вспыхивает огнем. И ему страшно было сознаться, что он не мог выразить этого. Оттого сейчас любовь его к Маргарите казалась ему обманом, который он тщательно скрывал от себя самого. Он давал думам волю, надеясь, что найдет те слова, которые надо положить на бумагу, а вместо того вдруг перед глазами вставало поле, холмы, поросшие березой и ольховником, недоделанные укрепления, поле, где решается вопрос жизни России, где разрядятся чувства, наполнявшие людей наших, чувства, обостренные отступлением... Бородинское поле!

Боясь показаться нескромным, а если украсит себя в предстоящей битве, то и чванливым, Александр Алексеевич, однако, писал слова о родине и россах — и слова эти словно бы определяли границы его мышления, его чувств. Прикованный мыслью к Бородинскому полю, он замирал и не находил слов, которые вместе с этим говорили бы о любви его к Маргарите.

Тут ему вспомнились лица Карьиных, отца и сына, оба рыжие, мясистые, грубые, земляные.

Вот этим легко! Они в передней чувств не толкутся. Ушел — и с глаз вон. Встретились — и не велика важность. Смотрите, как, почти не взглянув друг на друга, они по-

шли во взвод унтер-офицера Карьина, не выразив ни печали, ни радости. Да, таким легко — у них на все чувства один замок: два поворота ключом — закрыл, два поворота — открыл... Да, им легко!

...А им вовсе не было легко. Степан Карьин пришел из семьи в четыре работника: такой семье в такую войну — все понимали — ставки не миновать, и быть в той ставке Степану. Степан понимал это и сам сказал: «Лоб!» И уходить все же куда как трудно! В полях уборка, на руках — молодая желанная жена, на которую смотрел, задерживая дыхание, да и женился к тому же недавно — весной.

И немного прошло времени, как расстались, немного промаршировал под барабанный бой и команду «Сомкнись!», а какая тоска, какая мука и в какое долготерпение надо погрузиться, чтобы не думать о ней, о жене!

Они с отцом сидели на краю небольшого, с высокой отавой лужка. Позади, в березнячке, расположился Ревельский полк, за березнячком меньше чем в полуверсте находились флеши. Приближался вечер. Отец, хмурясь, нетерпеливо, с преувеличенным вниманием расспрашивал о деревне. Сын нескончаемо подробно, кротким голосом, отвечал ему. Отец пугал его. При отце Степан сам себе казался мешковатым, скучным и неповоротливым, хотя на самом деле он знал всю подноготную тяжелого кремневого ружья, которое выдали ему, все «экзерцисы», и даже отмечен был при стрельбе плутонгами [1].

И отцу Степан казался неуклюжим, пустым: этот и мушки на дуле не разглядит, а ведь грудь подходящая, как раз такая, какая требуется для военной работы! Марк Карьин вздыхал, и ему казалось, что генерал, отправляя сына в его, Марка, взвод, тем самым намекал, что и он, генерал, видит в сыне его неладное, требующее исправления. Марк присматривался, с какой бы стороны приступить к исправлению, исправлению немедленному, так как назавтра великий бой и опытные солдаты уже моют рубахи, обряжают себя.

— Ну, хватит! — сказал решительно Марк. — Жить им в деревне долговечно, а нам к неприятелю быть долгорукими. Ты, Степан, слушай отца! Порох нам ноне выдадут хороший, мушкетный, пули льют в нашем полку тоже хорошо, на снаряженье не пожалуешься. А бою быть лютому, чую. А ты как, чуешь?

---

[1] Плутонгами назывались тогда взводы.

— И-и, что ж, — сказал вяло Степан. — Побьемся, раз лезет.

— Ружье в нашем полку крепкое, отдает так, что человек может развалиться али язык сам себе откусит. Так ты, перед тем как огонь дать, вперед наклоняйся, слышишь? Откусываешь патрон — думай, чтоб порох губами не замочить. Теперь дальше. Сыпешь ты часть заряда на полку — следи, чтобы пороху лишнего на землю не просыпалось. Отдачи не бойся, порох береги. Понял? — Он остро посмотрел на сына. Сын смотрел вокруг себя, как бы ища ружье: он хотел этим выразить свое внимание отцу. Отец же подумал другое, нехорошее, и голос его погрустнел, а речь стала торопливая: — Быстро высыпай порох в канал, прибивай пыжом! Ночь, вижу, будет сырая — ишь, понизу-то туман крадется. Я тебе дам промасленную тряпку, ты ружье укутай, оно тебе завтра жизнь спасет. Слышишь, дурья голова?

— Слышу, — сказал Степан, глядя в небо.

Высоко в переливающемся, как закаленная сталь, небе летели журавли. «К ней, в ее сторону», — подумал Степан, и ему почему-то вспомнились большие висячие уши дворняжки, которая всегда выбегала к ней навстречу. Жена поднимала крутые плечи и смеялась. Расшитые подплечики ее рубашки дрожали... Степан не удержался и сказал в небо, как в детстве, когда желали журавлям, чтобы они вернулись:

— Колесом дорога!

— Ты чего? — строгим голосом спросил отец.

Степан забормотал:

— Бабка Ворониха говорит: раз журавли к третьему спасу летят — быть ранним морозам, а нет — так зима позже...

Отец молчал. От журавлей мысль Степана опять вернулась к дворняжке с висячими ушами, от дворняжки — к подойнику, который так легко умела носить жена, от подойника — к ее пальцам, которых вдоволь не расцелуешь... Он покраснел и сказал:

— Да, я тебе никак не успел сказать: Бурешка-то наша полегла!..

— Говорил ты уж... — хмуро пробормотал отец.

Степан пытался удержать себя, но других слов не находилось. Ему виделась эта Бурешка, тонкомордая корова

с белым пятном на лбу, чудились пиликающие звуки молока, падающего в подойник... и маячили руки. Он говорил и говорил про корову: какая она удойная, какие у нее крепкие и сильные телята, — за сотню верст кругом знали про Буренушку! И надо же такой золотой, царской корове пасть перед самым его уходом! Плохо теперь будет хозяйству, совсем плохо! Когда он уходил из дому, дурной запах почудился ему, затхлость какая-то... Не к добру!

Марк смотрел в печальное лицо сына и думал: «Какой это солдат? Оскорбился, что корова сдохла! Убыток, верно, большой. Да ведь нынче вся Расея требует подпоры! На что выдумал жаловаться!» Но Марк знал, что сын у него безугомонный и что тут одним криком дела не поправишь. А злой крик уже подступал к горлу... Марк удержал себя, даже закрыл рот рукою. Он встал и, не говоря ни слова сыну, с крайне тяжелым чувством огорчения направился к генералу. После долгих переговоров — денщик был одного села с Марком — денщик согласился пойти в палатку. Генерал сидел в палатке на турецком ковре. Перед ним стоял барабан; на барабане — графинчик с водкой и два огурца. Графинчик был не почат, огурцы не надкусаны. Александр Алексеевич только что вернулся со свидания с братом. На душе его было грустно. Он отправил письмо, так и не выразив всех чувств, которые, он знал, надо было выразить! К чему тогда образование, множество прочитанных книг, к чему виденные заморские страны, встречи с умными людьми?.. Он с радостью услышал о приходе унтер-офицера Карьина. Этот грубый, колючий и искристый, как снег, солдат, глядишь, избавит его от мучительного томления. Хотя солдат был брит и опрятен, генералу он показался косматым и свирепым, как рысь. Александр Алексеевич сказал ласковым голосом:

— Говори, служивый, не бойся. Кто обидел?

— В нашем полку, ваше превосходительство, кто службу обидит, — высоким и неприятно заискивающим голосом начал Марк Карьин. — Вот сын приехал, ваше превосходительство. Спасибо, что заметили, обозначили. — И без того вытянутый, он вытянулся еще больше и проговорил отчетливо, с расстановкой: — А сын-то, ваше превосходительство, печалится. За дён пять, как ему рекрутом идтить, пади у нас Бурешка, корова. И хорошая была

корова! А пала. Теперь в хозяйстве урон, беда. Он и тоскует...

— Еще бы не беда, — холодным голосом сказал Александр Алексеевич. — Корова в хозяйстве у мужика много значит.

— У, господи, — забыв о ранжире, взмахнул Марк руками. — Еще бы да не много, ваше превосходительство. Вот я и говорю: «Степушка, ты не беспокойсь, ты смири сердце, у тебя все вернется». Так оно и есть!

— Что — так оно и есть? — еще более холодным голосом спросил Александр Алексеевич.

— Да я говорю: его превосходительство подумает. Он пишет домой-то почесть каждый день, вот и напишет матушке барыне Маргарите Михайловне: «Так, мол, и так, у того унтер-офицера Карьина и у того рядового Степана, сына его, подохла коровенка, так ты выдай телушку хоть. Из тех породных, что халадскими зовутся...» Ведь наше-то село рядом, ваше прево...

Александр Алексеевич отвернулся. Через подвернутый край палатки видны были купы деревьев — тьма словно обрезала их ветви — и за деревьями аметистовое мигание костров, которое бывает всегда после заката, в сырой вечер. Сырость преуменьшала зарево, видневшееся в стороне Семеновского оврага, там, где расположен корпус Тучкова-первого. Зарево разгоралось, и чудилось даже потрескивание, выделялись отдельные предметы — то конь, то журавль колодца, то колокольня какой-то белой церкви... Так рассказчик, развивая свою мысль, добавляет то или иное описание, подробность... Вот хотя бы рассказ об этой корове.

Вздрагивая от сырости, генерал сказал:

— Ладно, ладно, служба! Я завтра же напишу Маргарите Михайловне: получите корову. Иди, служивый, иди отдохни! Завтра — бой!

Солдат сделал быстро «кругом» и скрылся за полосой света от костра, который денщик уже развел возле палатки. Зарево у Семеновского оврага, возле Старой Смолянки, исчезло, будто его отдернули, как занавес. Со стороны французского лагеря доносились мотивы знакомых песен. На душе было печально. Тоже гриффоны! Пришли в чужую страну и поют. Или они думают, что завтра им предстоит праздник, а не русский бой?..

Генерал попробовал прилечь. Но сон не шел в голову. Он покинул палатку. Отовсюду несло кашей. Кашевары с большими ложками у больших котлов, приподнявшись на цыпочки и щурясь от дыма, брали пробу. Генерал невольно подумал, что вот сейчас унтер-офицер Марк Карьин и его сын Степан сидят у костра, ждут ужина и, наверное, говорят о корове. Внезапно, с каким-то томлением, генерал подумал: «Нет, не может того быть!.. Чтобы суворовские солдаты!..» И, накинув плащ, он пошел направо, в лесок, где была расположена рота поручика Максимова.

Полк жил своей обычной, несколько торопливой предночной жизнью. Поужинавшие солдаты крестились в сторону восхода. Другие укладывались спать, положив рядом с изголовьем чистые белые рубахи. Некоторые из солдат спали на спине, раскинув руки, как крестьяне после работы. Старые, поглядывая в сторону пылавших неприятельских костров, рассказывали об итальянском походе в Альпах. Тягости не чувствовалось, наоборот, — видна была на лицах хорошая, предбоевая важность. Увидав плащ генерала, солдаты охотно вставали и отдавали честь. Им было приятно, что вот они укладываются спать и некоторые уже спят, а генерал ходит среди них, беспокоится. Откуда-то прорвался ветер, захватил лапами деревья и потряс их: ветви закачались на фоне колеблющихся костров. Генерал увидел унтер-офицера Марка Карьина. Зажав коленями сапог, он с напряжением в лице доканчивал шов... И опять генерал подумал, хотя лицо Карьина, казалось, говорило другое: «Не может быть, чтобы суворовские солдаты!..»

Услышав голос генерала, Марк Карьин вскочил, держа в руке судорожно скомканное голенище. Генерал ласково сказал:

— Сиди, сиди, служба! — и, помолчав, добавил: — Что же, передал ты своему сыну о корове?

Рядом с унтер-офицером генерал разглядел голову его сына. Теперь, при свете костра, лицо сына казалось менее грубым. Глаза его блестели совсем особенно, каким-то жемчужным блеском, и странны были его руки — не помужичьи гибкие, мраморно-белые. «Нет, не о корове он думает», — сказал сам себе генерал и перевел взор на отца. Широкий, упругий, настоящий суворовский солдат стоял перед ним! «Нет, и этот думает не о корове. То

есть думает обо всех коровах, которые пасутся на всей нашей земле, и о всех пастухах ее, и о всех, кто возделывает землю и собирает плоды!»

Александр Алексеевич почувствовал себя хорошо и рассмеялся неизвестно чему. Солдаты, которых незаметно скопилось возле костра уже много, тоже рассмеялись. Тогда генерал достал трубку, закурил от костра и сказал Степану:

— Вот что, молодой служивый. Я узнал, что твоя семья потеряла отличную корову. Я помогу достать другую, не хуже. Я знаю, что ты сейчас не о корове думаешь, и унтер-офицер Карьин думает не о корове. Но и корова — ничего, сгодится, верно?

Отец и сын в голос, зычно ответили:

— Так точно, ваше превосходительство, покорнейше благодарим!..

Но другое чувствовалось за этим ответом. Не о корове думы Марка Карьина! Утвердившись на мысли, что сын его действительно способен думать перед боем только о корове, старый солдат пришел за помощью к генералу. И как приятно понять, почему нахмурены сейчас эти старые, поседевшие в боях брови и почему сдвинуты эти крепкие ноги. И как приятно понять молодого солдата, еще не совсем оторвавшегося от дома, еще наполненного мыслями о красавице жене, но уже готового к бою, уже понимающего смысл и необходимость боя. Генерал сказал:

— Степан, я буду писать домой, напишу, чтобы Маргарита Михайловна почаще заезжала к твоим и писала мне о жене твоей. А потом тебе ответ передам. Спокойной ночи, братцы!

И он, четко топая сапогами, ушел. Он шел и протяжно зевал, словно исполнил какую-то большую и приятную работу. Ему хотелось крепко выспаться перед боем, но он не лег. Придя в палатку, он сел у барабана и взял перо. Сначала не писалось. Он бессмысленно глядел на влажную и пахучую темноту ночи. Костер потух. На светло-графитном небе, словно крупицы пороха, пробились звезды. Слабый ветерок чуть шевелит полу палатки, будто скребется кто-то... И вдруг в сердце словно ворвалось что-то огромное, свежее и душисто-серебряное. Очарованный этим почти нечеловеческим чувством, сознавая, что оно приходит в жизни единожды, Александр Алексеевич стал быстро писать своей жене. Уже слова

не казались ему пустыми и тусклыми; крупные и словно ярко-пунцовые фразы ложились на шероховатую, чуть влажную от вечерней сырости бумагу. Он писал о любви к ней, о любви к своему дому, к своей матери, братьям, селу, России. Ради этой горделивой и святой любви он и его солдаты — если потребует бог, родина, полководец — положат свои жизни. И вы все, оставшиеся жить, поймете это и будете жить так, как необходимо богу, родине, полководцу!

Он писал и не чувствовал, что всхлипывает, что все лицо его мокро от хороших и горячих слез...

— Проворней заряжай! — кричал унтер-офицер Марк Карьин, поминутно угрюмо поглядывая на сына, как тот «саржирует» — заряжает.

Степан саржировал хорошо, и понемногу лицо Марка Иваныча стало светлеть, и ему было легко, словно опадала опухоль. Он оборачивался к поручику Максимову. Поручик то и дело командовал барабанщикам: «сбор», «унтер-офицерам — на линию», «вперед равняйся—марш», «батальный огонь», «сомкнись», «не кланяйся ядрам, ребята...»

Шел бой. Было Бородино.

Полк равнялся, выходил. За частоколом флешей дымила пыль. Сквозь нее шли французы. Передний, высоко поднимая ногу под барабанный бой, нес на палке сверкающую штуку, похожую на круглое долото. Поглядев на эту штуку, поручик Максимов поставил рожок с порохом, оглядел затравки у пистолета и подсыпал на полку пороху. А затем поручик, так же высоко задирая ногу, как французский знаменосец, шел впереди своей роты. И была схватка — рукопашная, русская!

Но и враги крепки. Французы начали атаки, как только после обильной росы обсохла трава, часов в семь. К одиннадцати утра сделали уже восемь атак. Генерал Компан водил войска в атаку дважды. На второй раз свалили генерала русские. Взамен Наполеон послал генерал-адъютанта Раппа. Свалили и Раппа! Наполеон приказал маршалу Даву вести войска на флеши. Даву повел, ворвался во флеши... Багратион приказывает контратаковать!

Поручик Максимов приказал роте строиться, вести батальный огонь. Поглядел на полк... прекрасный полк!

С горящими глазами стоит у знамени Тучков-четвертый, и лицо у него такое, точно ниспослана ему высочайшая благодать. Вот генерал смотрит — через все роты — в лицо унтер-офицера Карьина: таков ли? И генерал улыбается: таков! Вперед, ребята, за отечество!

— Ура-а!..

Французы тяжко падают в размягченную и грязную землю. Их топчут неудержимые кони, колеса орудий, артиллерийских повозок. Их лица теряют выражение развязной удали, и беспокойное раздумье, а то и разочарование появляется на них. Французы выбиты из флешей. Маршал Даву контужен и упал вместе с лошадью. На смену ему, в буйной и пестрой одежде, на идущем размашистым шагом породистом коне приближается король неаполитанский — Мюрат. Поодаль атаку короля поддерживает маршал Ней. Таков приказ императора Наполеона. Низенький, в низкой шляпе, он наклоняется вперед и, поглаживая себе колени, покашливая и усмехаясь, вглядывается в бой... Странный бой! Странны русские! Тревожит их упорство, оглушительны их батареи. Что за постылая страна?!

Одиннадцать утра.

Снова на флеши идут двадцать шесть тысяч французов, знающих свое дело, наторевших в победах. Они идут звучным, как песня, шагом; златозвонно колеблются над полками императорские орлы, залихватски бесшабашно гремят барабаны. Король Мюрат и маршал Ней ведут войска. Виват, виват, виват!..

Против этих двадцати шести тысяч стоит восемнадцать тысяч русских — и все! Резервов нет. Отступать нельзя. Надо стоять. И стоят Марки и Степаны Карьины, стоят и падают, падают и поднимаются, наспех перевязывают раны, идут врукопашную. Пораженный картечью, смертельно ранен Багратион. Контужен начальник его штаба Сен-При.

Портупей-прапорщик Тоськин держит полковое знамя. Он моргает и время от времени, когда над полком летит ядро, мнет рукою лицо. Полк, осыпаемый картечью, стоит без выстрела, держа ружья под курок. Впереди полка прославленная рота поручика Максимова, а впереди роты — унтер-офицер Марк Иванович Карьин и его сын Степан.

Генерал-майор Тучков-четвертый в кожаном картузе и темно-зеленом спенсере с черным воротником и золотыми погончиками ждет, слегка покачиваясь от напряжения и легкого опьянения боем. Он счастлив, как никогда. Все окружающее — войска, ядра, облака в высоком и узорном небе, выстрелы и даже смерть кажутся ему веселыми, воздушными и вкрадчиво сладкими. Он вглядывается в приближающихся французов, видит скачущего короля Мюрата и чувствует, что всего его охватывает грозная злоба. И все, кто окружает его — он знает это, — тоже охвачены этой злобой. Еще три, пять минут, и они ринутся!..

И ему мерещится белая фуражка брата и его лохматая, как жнивье, бурка, которую он носит всегда во время боя. Он выстроил каре гренадер, свой любимый Павловский полк, и тоже шагает вперед. Он выходит из оврага, что перед Утицей, и проходит развалины сгоревшей деревни. На улице мечется голосистая белая курочка, а у забора, в крапиве, лежит мертвый мальчик... Вперед, за отечество!..

— Вперед, за отечество! — крикнул Александр Алексеевич, выхватывая у портупей-прапорщика Тоськина полковое знамя. Тоськин, зная, что так надо, тем не менее без охоты отдает знамя, а отдав, выхватывает тесак и шагает плечо в плечо со своим генералом. Барабанщики бьют марш-поход. Полк идет навстречу французам. Впереди — рота поручика Максимова, и в этой роте, со знаменем в руке, генерал-майор Тучков-четвертый, а налево, через пять шагов, Марк Карьин — унтер-офицер и его сын Степан — рядовой...

Было тихо и совсем почти стемнело, когда к безлюдным флешам, покрытым трупами, подъехал верхом на коне человек небольшого роста, в сером до колен сюртуке и низкой треугольной шляпе. Он поглядел на траверс — поперечную насыпь в укреплении. В траверсе, вместо русских, лежали мертвые французы. Небольшой человек в сером с трудом нашел среди них нескольких русских солдат и двух офицеров, один из которых был, по-видимому, генерал. Обратили его внимание также и лица двух солдат — рыжих, спокойно величавых, похожих друг на друга. Это были Марк и Степан Карьины, а мертвый генерал — Тучков-четвертый. Пуля навылет убила его.

Мертвые очи генерала смотрели не на человека в сером, хотя он и был императором, а на юг, где, возле Утицы, должен был стоять корпус Тучкова-первого, брата его. Мертвые очи не видели, что и Тучков-первый ранен смертельно. Не знал генерал Тучков-четвертый, что мать его, проливаючи неудержимые слезы, ослепнет от слез и горя; что прекрасная Маргарита Михайловна пострижется в монахини и построит монастырь над тем местом, где погиб муж ее. Не знал он... Да и зачем ему было знать?!

Из-за укрепления показались санитары. Они осторожно, зная, что возле укрепления остановился император, несли смертельно раненного гренадера, из тех, которых вел Мюрат. Гренадера, перед своей смертью, ранил Марк Карьин — и очень обрадовался тому, как ловко работает он, старик, и сын его рядом. Чтобы утешить гренадера перед смертью и чтобы побольше было записано в истории красивых и звонких слов, человек в сером громко спросил:

— Сколько взято пленных?

Умирающий гренадер, словно сквозь сон, услышал вопрос императора и подумал, что вопрос этот обращен к нему. Умирающему незачем выслуживаться, он имеет право говорить правду, а кроме того, умирающий видел, что русские своей обороной разбили то непобедимое и блестящее, что было его, гренадера, жизнью. Вот почему гренадер из последних сил сказал:

— Ваше величество, они не сдаются живыми.

— Eh bien! Nous les tuerons! [1] — быстро ответил Наполеон, и было в его голосе такое, что ему самому, если б он пожелал прислушаться, могло показаться страшным.

Одно короткое, чрезвычайно тоскливое мгновение сказало ему, что существует не только Аустерлиц, но и Бородино; что отсюда, с этого дня, он вынужден будет повернуть и политику свою и, что горше всего, стратегию: всегда нападающий, он перейдет к обороне... Но он не остановился на этом мгновении, а, сделав сияющее и праздничное лицо, стал смотреть поверх укреплений на

---

[1] Превосходно! Мы их уничтожим! *(франц.)*

восток — туда, где, по его мнению, его ждали всемирная корона и всемирное раболепие.

Восток был в летучей, мерцающей дымке, где-то переходящей в глубокую тьму. Во тьме этой незыблемо и стародавно с голубоватым блещущим отливом светились огни. Это были костры русской армии, фронта которой так и не удалось прорвать Наполеону при Бородине.

1943

БЛИЗ СТАРОЙ СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГИ

В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.

Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнущей ванилью, закрывали какую-то деревню.

— Горки?

— Горки, — недовольным голосом отозвался кучер. «Ахти, батюшки, — думает он. — Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император небось уже скачет по Москве». Даже карета митрополита, темно-бронзовая, блестящая, похожая на садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их.

Тарантасы, туго набитые купечеством. Скрипучие дрожки, пахнущие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые солнцем до дна толстые офицерские баулы со спящими на них неимоверно пьяными денщиками. Прямоволосые монахи и пышноволосые дьяконы, покрывающие своими нахальными голосами трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колониальных товаров. Кирасиры на раздутых и надменных конях. Уланы на «стёпистых» — колесом шеи... Дальние помещики с крикливо-напыщенными голосами. Кухонные мужики. Плетенки с птицей, не зарезанной еще и по этому поводу радующейся: гогочущей, кукарекающей... Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи... И надо всем этим пыль, пахнущая ванилью, — должно быть, оттого, что по дороге, перед проездом государя, разбро-

сали множество еловых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни — вслед за зрителями идет стопятидесятитысячная масса войск, бывших при открытии Бородинского обелиска.

Утомленный, чувствуя жестокую, возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властностью, приказал кучеру свернуть на Псарево и проселком выехать к холмам, на старую Смоленскую дорогу, в том месте, где, позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад стояли в ожидании боя полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.

Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а более того — еще раз увидать былые места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят шесть... И двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в новеньком ополченском мундире, жавшем под мышками, стоял в кустарниках: «Ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело...»

Он смотрел на хуторок, мимо которого катилась коляска, и ему за жнивьем представлялись клубы сизого дыма, словно тысячи огромных кулаков, неизвестно кому грозящих... Земля содрогалась и была шершава, как шагреневая кожа. Ах, какой был тогда косматый и грубый день! Видишь его туманно, будто сквозь прокоптелое стекло, и тем не менее сердце болит по-прежнему.

Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутином, сложились строфы «Певца во стане русских воинов», поелику «защитой бо града единый был Гектор». Здесь — защищая Москву — родились эти слова, что в тысячах списков разнеслись по всей России. Хорошей болью болело сердце, когда писались эти строки, воспевающие беспредельную решимость биться за родину, отчизну, землю, семью...

Длинный кухонный обоз, видимо принадлежащий какому-то генералу, важному и родовитому, громыхая, выходил на проселок из кустов. А там, в кустах, на полянке, лакеи доедали остатки обеда, хохоча над каким-то дурачком, который плясал перед ними, высоко вскидывая ступни, широкие, растоптанные, с отдельно торчащими пальцами, так что они походили на птичьи лапы. Василий Андреевич видел и пляску, и лакеев, и даже кусок гусиного крыла во рту лакея — и не видел ничего.

Ему представлялась его семья, мать... дивная, какая-то вся прозрачная турчанка с длинными заостренными ресницами над древними, медленно разгорающимися глазами. Как она попала сюда с лучезарного Босфора в прохладно душистую Тульскую губернию? Ах, не нужно думать! Жизнь — это пропасть слез и страданий. Помещик Бунин прижил с нею ребенка. Много лет спустя этого ребенка и мать взяли в семью помещика — все же мать должна была стоя выслушивать приказания барыни. И сын этой турчанки, лицо которой всегда казалось иззябшим, стоя выслушивал приказания жизни:

Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! Счастье к бытию меня не приучало,
Мой юношеский цвет без запаха отцвел...

Вспоминается ему пугливый и тревожный дом Протасовых в Белеве. Поседелые от пыли и равнодушные окна, за которыми даже лазурь неба кажется серой; и мечтательная Маша Протасова с росистыми мерцающими глазами. Он преподает ей русский язык — такой лунно-нежной и ласковой. В 1812 году он у Е. А. Протасовой — крутой и незыблемой женщины с мрачными буклями над кремнистым и презрительным лбом — просит руки старшей дочери Маши. Гордо сжав губы, ему отказывают. Он уезжает в Москву. Ополчение, «Певец во стане...» и жаркий тиф, от которого остались в памяти трепещущие коралловые пятна далеких островов в неизвестном море... Еще раз он просит руки Маши. Еще раз ему отказывают... Маша выходит за профессора Мейера, а любовь по-прежнему наполняет его, так что никакие тряски дорог, никакие придворные ступени — а он поднимался по лестницам дворцов не только России, но и всей Европы — не вытеснили его любви.

...Он услышал тягучий голос кучера:

— Василий Андреич, прикажешь у кустов ждать али на дорогу выехать да стегануть, покамест войско-то не догнало? Вон их сколько! Ведь их пропускать — к утру в Можайске не будешь!

На западе в сизоватых тенях вечера колебалось теплое и пурпурное облако пыли. Слышался мерный шаг пехоты. Трепетно скользил беглый блеск штыков. Обрывисто замирала песня, будто и в этом поле тесно ей, беспредельной, самозабвенной, русской... Василию Андрее-

вичу приятно было ощущать рукой узорчатую ветвь кустарника, смотреть на стадо, в зыбкой голубовато-зеленоватой дымке поднимающееся по косогору, приятно было чувствовать себя сумрачным, седым и таинственно тоскующим. Он хотел сказать: «Постоим, пропустим войско», — да не успел. Он вздрогнул от раздавшегося возле самого плеча женского голоса:

— Барин, батюшка! А то не тучковский полк идет?

— Какой — тучковский? Нет в армии такого!

В мохнатом малиновом луче заходящего солнца он разглядел в кустах старуху, одетую в длинный крестьянский зипун с широкого, должно быть чужого плеча, сильно потрепанный по краям. Старуха, стоя спиной к солнцу, торопливо запахивала рваные полы, за спиной ее колыхалась котомка. Голос у нее был испуганный, молящий, а лицо с крылатыми седыми бровями являло следы былой красоты. Надо полагать, то была богомолка, которой до гробовой доски ходить по монастырям да купеческим прихожим... Не нравились эти серые лица Василию Андреевичу.

— Иди, иди, старуха, — сказал безжизненным голосом кучер. — Иди, вот тебе кусок... Иди. Говорят тебе — нет такого полка. Чего тебе лезть?

— Иду, иду, батюшка, — торопливо отозвалась старуха, — и не надобно мне твоего куска, иду. А только сделай божеску милость... уныло у меня на душе... Земля вон, и та сотряслась, да и замерла, отдыхает, а я не могу. Ты мне скажи: не тучковские ли солдаты идут? Тьма тьмущая войска идет, где мне разобрать, старой да грешной, где разобрать, и так будто под колоколом, такой шум... весь день тучковский полк ищу...

«Какой тучковский? — подумал Василий Андреевич, глядя на мутно-мраморное лицо старухи — Ах, да! Не тех ли двух братьев Тучковых, что пали при Бородине? Сегодня, кстати, при открытии обелиска показывали инокиню Марию — вдову Тучкова, что постриглась после смерти мужа... Как она постарела, однако! Да разве имение Тучковых здесь?.. И полк Тучкова — какой же! Путает что-то старуха».

Он опять обратил глаза к стаду. Было в стаде что-то стерновски-трогательное. А его коляска — разве не коляска в Кале, и он сам не Йорк, и эта старуха не напоми-

нает отца Лоренцо? Ему захотелось поговорить со старухой. Указывая на стадо, он сказал:

— Хороший скот, матушка. Тучковых?

— Не-не, батюшка,— торопливо заговорила старуха.— Зворыкиных будет скот, Зворыкиных. Тучковых здесь нетути. Тучково войско идет, мне бы на его посмотреть, батюшка... да вот хожу весь день, и все народ попадается жоской, будто кора на нем медная, прости, господи... А стадо, батюшка, зворыкинское, они крупный скот держат, у них, сказывают, бык пятьдесят пудов весу...

— Эка, бабка, хватила! — сказал кучер, покачивая плечом отлично пахнущую свежей кожей, розовато-сизую от вечернего солнца коляску. — В пятьдесят пудов каркадил бывает, а ты — бык. Быку настоящий вес — от силы двадцать пуд, а ты — полсотни. Откормила, ха!

Старуха Агриппина Карьина встала сегодня раным-рано, когда пухлая синева лежала еще по всей земле. Бесшумно ступая, вышла она на крыльцо избы и посмотрела на небо — каков-то нонче день? Вчера Илья, второй ее сын, — старший жил в Москве — отпустил ее с трудом. Да и как отпустишь? Хлеба, несмотря на долговременную засуху, густы, большеколосны; сжать их сжали, надо молотить поскорее, пока не ударили дожди, а они, судя по всем приметам, близко. Илья, жадный и спорый на работу, молотит с утра до ночи, цеп его стучит, высоким и крылатым говором выговаривая: «урожай, урожай», и непонятно ему, зачем стремится мать к Бородинскому полю. Верно, был случай: полегли на том Бородинском отец его Марк Иваныч и брат Степан, но ведь было это двадцать семь лет тому назад! «Панакидку» отслужить? Почему же не отслужить? Зачем только сейчас, когда такое горячее время, когда весь ты от работы в липком поту, как в меду? Вот отвезем тяжелые возы с зерном, засыплем его... привезем домой белесоватые мешки муки, испечем пироги — вот тогда можно и «панакидку»! Непонятно было Илье желание матери, и долго он ворчал, прежде чем отпустил ее. Старуха пустилась на все хитрости — и недужится-то ей, и помолиться-то ей надо в Спасском монастыре, и свечечку-то о здравии внучка, что кашляет, надо поставить...

И вот перед нею тонкое и сырое жнивье. Восток уже рыхл и разноцветен. Подвязав полы зипуна, опустив пониже котомку, где плещется в крынке с узким горлышком молоко, перекатываются четыре яйца, краюха хлеба, заветные два рубля — «на полную панакидку», старуха торопливо идет проселком. Путь дальний. От ее деревни лишь до Спасского шесть верст, а от монастыря до Бородина еще считают чуть ли не десять.

На сердце у старухи и легко и тоскливо. Впрочем, тоска какая-то бессильная, и старуха думает, что вот отслужит «панакидку», даст попу и дьякону установленное, услышит благодарность, и ей сразу легче станет. Поп и дьякон, разумеется, за такие большие деньги, какие она предложит им, выслушают всю ее повесть. А как хочется рассказать эту повесть! Деревня знает страдания старухи давно — из слова в слово — о том, как служил много лет в «Ревельском» Марк Иваныч, и как пошел француз, и как приказали собирать тех, кто понеугомонней, чтобы направить их в тот же «Ревельский», против французов. А кто будет безугомонней Степана Карьина? Хвощевы? Лобовы? Жилины? Мискалевы? Нет такого парня, как Степан Карьин! Он сам сказал: «Лоб! Иду, матушка, прости». И день был, как сейчас она помнит, солнечный, разве-разве набежит влажное облачко, и не из облачка упала голубая слеза, а из ее глаз. Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце — мать! И пошла она провожать его, как вечно водится, за околицу, как провожали на татарина, на печенега, на половца. Тусклым взором смотрела она ему вслед; прогрета солнцем земля под ее ногами, а кажется ледяной. Рухнула она безгласно на землю, только лишь скрылся за пригорочком Степан, что шел к своему отцу на подмогу... Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце. Понимаю — земля зовет, знаю — надо, а на душе холодно и немо... Выслушают ее поп и голосистый дьякон, вытрут бороды, закапанные воском свечей, и скажут: «Многие грехи тебе простятся, мать, многие, понеже муж и сын твой пали на поле бранном». И тогда скажет она: «Ох, батюшка, грехи мои тяжки!» И станет ее поп выспрашивать о грехах, и вспомнит она, как молодой любила плясать, как ела на Петровках мясное, как однажды обсчитала дьячка на три копейки и недодала творогу в «пасхальное»... И скажет поп: «Про-

щаются, мать, тебе грехи твои!» — и станет у ней на душе легко-легко...

Солнце поднялось, когда она подошла к Спасскому. Привратница, с неподвижно мягким лицом и искристыми глазами, сказала ей, что весь причт и все монахини уже ушли на Бородинское, а вот ей горе — сиди у пустой обители да считай галок, которые от орудийных залпов понесутся. Старуха горестно всплеснула руками. Как же так? Ведь ей обязательно надо уговориться с отцом Николаем насчет «панакидки», на том самом, на Бородинском, по убиенным воинам: Марку и сыну ее Степану. Два рубля припасено. Она достала эти две засаленные, шелковисто холодные бумажки и показала привратнице. Привратница соболезнующе покачала неподвижным лицом и пояснила, где старуха может найти отца Николая, — не очень, впрочем, убежденная, что его найдешь.

Старуха потопталась, и так как разговаривать ей с привратницей было некогда, то, положив на скамью четыре яйца рядом с привратницей, от которой шел тонкий запах серы и ладана, спросила: «А где же инокиня Мария?» Инокиня Мария, бывшая прежде женой генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова-четвертого, погибшего вместе с мужем и сыном старухи, тоже, оказывается, раным-рано, сильно волнуясь, уехала на Бородинское. Еще бы не волноваться?! Сказывают, государь пожелал ее видеть, приказав ей встать чуть ли не у самого изголовья гроба с прахом Багратиона, который будет выставлен у подножия обелиска.

Услышав эту весть, старуха безропотно перекрестилась и пошла к Бородинскому.

Тупая, тяжкая, огненно-неодолимая жара стлалась над нею. Серая пыль поднималась на дороге, люто загораживая от нее людей. Старуха в мертвящей тоске-кручине не замечала ни жары, ни пыли, ни шумной толпы, переполняющей дороги. Она шла и шла. Полы зипуна бились по ее тощим ногам. Ласковая напряженность светилась на ее лице. Она подходила к тарантасам, каретам, бричкам, дрожкам, а то и к отдельным прохожим, спрашивая, где тут найти отца Николая, чтобы заказать «панакидку». Холодно-равнодушные смотрели на нее люди, отвечая либо кичливым пожатием плеч, либо глумливым хохотом.

А солнце поднималось все выше и выше. Томителен

и зловещ был для старухи всюду проникающий блеск его. Она со страхом поглядывала вверх.

Наконец она увидала Бородино. Испугала ее строгая линия солдат в томительно торжественном блеске штыков. Все же, переборов свою робость, подошла она к усатому, расшитому серебром солдату и спросила опять-таки об отце Николае. Солдат сказал ей, что того отца Николая теперь шесть лет искать — не найдешь, так как попы сюда съехались со всей земли, и даже есть афонские! Он зевнул и предложил ей отойти в сторону.

Она и пошла в сторону, прямо по жнивью, к тому месту, где среди поля виднелся колючий купол обелиска.

Не попала она к обелиску.

Зажатая телегами, на которых лежало угощение для «отставных», некогда участвовавших в битве, собравшихся из разных мест на праздник, она видела расписанный ржаво-красными кругами задок телеги, неистово толстый круп лошади и лютые от жары морды лошадей вокруг. Оглушенная залпами орудий, криками «ура», топотом конских копыт, от которых дымилась земля, старуха, схватившись черными руками за телегу, замерла неподвижно.

В телеге спал какой-то парень с глупым лицом, похожий на тетерева и такой же краснобровый. Старуха не видела его. Гремучий и звонкий праздник несся возле нее — она не слышала его, не видела.

Не видела она памятник бородинский, у подножия которого стоял гроб Багратиона, покрытый пышным парчовым покровом. Не видела императора в яркой одежде; не видела ни разноцветных посланников, ни высоких хоругвей, зыбко блещущих золотом, ни крестов, вздрагивающих в руках священников и епископов, необыкновенно обрадованных тем, что они поют перед царем и полуторастатысячным войском. Не видела она прекрасных грузинских княгинь, что стояли возле своих мужей, сияющих белоснежной одеждой и звучным оружием. Не слышала размеренно-радостного пения клира, ни того, как митрополит, пухлый и высокий старик, приблизился к алтарю. Не видела густых колонн войск, амфитеатром поднимающихся одна над другой. Не видела инвалидов бородинских, и не видела она инокини Марии, которая действительно стояла неподалеку от гроба, скромно опустив некогда великолепные очи, ныне окруженные зловещими темными пятнами приближающейся смерти. Не видела и

отца Николая — да и где увидеть его среди тысячи монахов и священников!

— Великой державе российской... — провозглашает первосвятитель.

— Ура-а!.. — отвечает полуторастатысячное войско.

И за всем этим грохотом, пением, сверканием штыков, хоругвей, знамен — одинокая старуха, ухватившись за грядку телеги, смотрела в небо, видела там поднимающиеся после залпов тучи неистового дыма, видела, тряслась от испуга и все же мало-помалу стала чему-то радоваться. Вот бы только найти попа, отслужить «панакидку» да рассказать ему об убиенном Марке и сыне его Степане...

Но попа не нашлось. Весь день ходила старуха по полю. Только освободится поп, только он снимет епитрахиль, только устремится к нему старуха, ан уже подскочил какой-нибудь купец или чиновник и заказывает сразу несколько панихид, что служить попу до самого завтрашнего утра! Бежит старуха к другому, а подле того стоит важный степной барин и утробистым голосом перечисляет всех героев, которым он желает заказать «вечную память». Нет старухе попа. От беготни и суеты скисло молоко в узкошеей крынке, вылила его старуха, пробралась к ключу-родничку, но еле успела наполнить крынку, как подъехали молодые чиновники и отогнали старуху. Шум, грохот, крики... нет места старухе, некому рассказать о своем горе!..

И вот, к вечеру уже, вышла она к старой Смоленской дороге, где неподалеку, говорят, пал генерал Тучков-четвертый и с ним воины русские, а среди тех воинов пали ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный, с нежным лицом, — Степушка. Стоит старуха в кустах. Ноги усталые дрожат, хочется пить. Достала она крынку с водой, заткнутую мокрой тряпкой, отдающей молоком, взяла краюху, подумала, что целый день не ела, и видит — качается громоздкая коляска, бархатное сиденье кучера, кучер седой, почтенный, и на скользкой, в клеточку, бледно-зеленой коже сидит господин с широкими и ласковыми глазами и смотрит на дорогу. Попало в голову старухе: не сын ли погиб у него в тучковском полку? Не тучковских ли солдат ждет он? И не остановятся ли возвращающиеся с праздника солдаты? И она расскажет, как умерли и как жили ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный

Степушка. Да разве для нее, для старухи, остановятся солдаты. А он небось сильный барин...

Вот и спросила у барина старуха о том тучковском полку. Но барин, надо полагать, был из дальних — скотовод, что ли? Посмотрел он на стадо и спросил: не тучковское ли? И подумалось тогда старухе: «Поговорю с ним о коровках, а там, слово за слово, с коровок перебросимся на Бородино, человек он, видно, степенный, не торопится уезжать.. все ему расскажу, все...» Сказала старуха, обращаясь к кучеру, который бранил ее за пятидесятипудового быка, что есть у Зворыкиных:

— И, батюшка, ведь барский скот особый. Вот возьми нас, мужиков. Куда бы, глядишь, иметь нам скотину? А есть! Есть, батюшка. Перед самым Бородинским сражением пала у нас корова. Бурешкой звали. И давала та корова, не поверишь, в один удой ведро с четвертью молока.

— Такие коровы бывают, — сказал кучер. — А про быка...

— Подожди ты насчет быка, — быстро заговорила старуха. — Ты слушай, батюшка, насчет коровенки. Муж-то мой, Марк Иваныч, стоял на самом Бородинском, в полку Тучковом... и сын, Степушка, направился к нему. А перед самым тем уходом Бурешка-то и пади. Ох, и парень был Степушка, десятерых один кормил бы! Ух, хозяйственный парень! Ему завтра в тот бородинский поход, а тут Бурешка и пади... Господи, горя-то было!..

Василий Андреевич перевел свой взор с мягко уходящего во мглу силуэта старухи на запад, где громоздились облака, кудреватостью своих украшений напоминая капители коринфского ордена. Он уже забыл о стаде, которое скрылось за косогором, и разговор старухи казался ему переполненным околичностями. Он думал: «Ее муж и ее сын стояли на Бородинском поле, может быть, их даже ранило, а она — из всего Бородина помнит только, что незадолго перед боем у них пала корова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества? Обелиск? Величие инокини Марии? Гроб Багратиона?.. Но что-то ей понятно, — продолжал думать Василий Андреевич, чувствовавший, что духота уменьшилась и ему легче, — иначе разве бы стала

она искать этот тучковский полк, которого на самом деле не существует? Но как уловить ее мысли, как понять ее?»

Однако он попробовал. Он стал расспрашивать ее о корове, для того чтобы старуха рассказала ему другое — как и что чувствовали на Бородинском поле ее муж и сын. Старуха, найдя в его вопросе подтверждение своим предположениям, еще старательнее стала вспоминать уже совсем скучные подробности о Бурешке, подробности, которых она не вспоминала лет двадцать пять. Говорила к тому же она торопясь и оттого повторялась.

Василий Андреевич стоял перед ней растерянно. Что делать? Как ей помочь? Как разуверить ее, что нет тучковского полка в армии, да и надо ли ее разуверять? Может быть, дать денег? Василий Андреевич достал было кошелек, да спросил:

— Что с твоими-то сталось при Бородинском, бабушка?

— При Бородинском-то? — спросила старуха, звучно разъединяя губы. — С моими-то, батюшка, о-о-ох! — Она всхлипнула, сначала тихо, затем громче и наконец опустилась на землю, необузданно и с каким-то скрипом рыдая. — О-о-о-и-и! — рыдала она, желая сказать, что вот ничего-то ей не вымолвить, потому что грешна она, ох как грешна.

И, понимая, что молчаливое расставание будет самым лучшим, Василий Андреевич тихо влез в экипаж и шепотом приказал ехать. Кони, словно понимая его шепот, как бы на цыпочках спустили экипаж к Старой Смолянке. Экипаж неслышно скрылся в пухлой и нежной мгле вечера.

Старуха продолжала рыдать. Правда, рыдания ее стали мягче, хотя по-прежнему шли от всей глубины сердца.

От дороги послышались шаги. Старуха разглядела фигуру солдата, видимо отставшего от части. Через плечо его болтались сапоги с короткими голенищами.

— Ну и жарища! — сказал он хрипло. — Да и ноги стер к тому же. Вот и отстал. Где тут речка? У тебя попить нету, бабка?

Старуха сказала, что речка далеко, и, хотя ей самой очень хотелось пить, она тем не менее предложила солдату свою крынку с узким горлышком. Солдат жадно схватил крынку и припал к ней. Старуха смотрела на крынку, глотая сухую слюну, и чем выше поднималась

крынка в руках солдата, тем сильнее ей хотелось пить. И все? Да. Говорить с солдатом не хотелось, а тем более выспрашивать про тучковский полк. Зачем? Она только что высказалась, выплакалась до дна... И она внимательно разглядывала свою крынку, которая, словно подсмеиваясь, вздрагивала в руках солдата.

Солдат выпил воду, вытряхнул капли на траву, теплую и так жаждущую дождя, поправил сапоги и сказал:

— Вот и спасибо, бабка. Коров, что ли, пасешь? Паси, паси!..

Она ответила:

— Да за что спасибо, родной? Тебе спасибо, что не побрезговал.

И они разошлись. Солдат пустился догонять свой полк, а старуха вышла на старую Смоленскую дорогу и пошла по ней. Дорога слабо, голубовато отсвечивала. Росы не было, — а то хоть собирай по капле, так хочется пить! А до воды, до ржавого болотца на взлете, до мочажины — верст, пожалуй, пять, да и то небось пересохло. Устало, вязко ступая по дорожной пыли, старуха шла домой.

1943

СОДЕРЖАНИЕ

Всеволод Вячеславович Иванов

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Редактор *Куркина М. Ф.*
Художник *Голицын А. К.*
Технический редактор *Буковская Н. А.*
Корректор *Канторович Г. А.*

Сдано в набор 27.6.60 г. Подписано к печати 19.10.60 г.
Г-63800.
Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$ — $13^1/_2$ печ. л. = 22,14 усл. печ. л. 22,445 уч.-изд. л.
Военное издательство Министерства обороны Союза ССР
Москва, Центр, Тверской бульвар, 18
Изд. № 12/2437 Зак. 454

1-я типография
Военного издательства Министерства обороны Союза ССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Цена 8 р. 20 к.

с 1.1.1961 г. — 82 коп.